

МАРКИЗ ДЕ САД



Елена
Морозова



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation



Произведения маркиза де Сада всегда воспринимались неоднозначно, вызывая у читателей то ужас, то восхищение, его сочинения проделали головокружительный взлет от томиков, читаемых украдкой, до солидных академических изданий. XVIII век считал его непристойным писателем, автором гнусных порнографических романов, названных «эталонем безобразия», XIX век снисходительно отнес его сочинения к области литературных курьезов, но век XX, радикально изменив отношение к маркизу, отвел ему достойное место в литературе эпохи Просвещения. Серьезная исследовательская работа автора данной книги дает объективную оценку этому безусловно неординарному человеку, споры о котором не утихают в мировом литературоведении и по сей день.

- [Елена Морозова](#)
 - [Жизнеописание несчастливца](#)
 - [Глава I.](#)
 - [Глава II.](#)
 - [Глава III.](#)
 - [Глава IV.](#)
 - [Глава V.](#)
 - [Глава VI.](#)
 - [Глава VII.](#)
 - [Глава VIII.](#)
 - [Глава IX.](#)
 - [Глава X.](#)
 - [ПОСЛЕСЛОВИЕ](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ДОНАСЬЕНА АЛЬФОНСА ФРАНСУА, МАРКИЗА ДЕ САДА](#)
 - [ЛИТЕРАТУРА](#)

- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
-

Елена Морозова
МАРКИЗ ДЕ САД

Жизнь®
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

Основана в 1890 году
Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году
М. Горьким



ВЫПУСК

1224

(1024)

Жизнеописание несчастливое человека *(Вместо предисловия)*

Донасьен Альфонс Франсуа де Сад, французский писатель и философ, родился в знатной семье, получил блестящее воспитание, отличился на военной службе. Он мог продолжить военную карьеру, получить придворную должность, приумножить доходность своих земель и рачительно распорядиться приданым жены. Мог эмигрировать во время революции. Мог быть счастливым в семейной жизни. Он стал маркизом де Садам, «божественным» маркизом, героем скандальной хроники и автором «ужасных», «адских», «омерзительных» (отрицательные эпитеты можно продолжать до бесконечности) романов. Решил не заметить революции, потом попытался приспособиться к ней и, увлекшись, едва не пал ее жертвой. Внимавший только собственным желаниям и страстям, провел в заключении почти тридцать лет и придумал замкнутый мир либертенов, породивший вселенскую философию зла.

Имя его так или иначе известно всем — от него был образован термин «садизм», и имя писателя, пожелавшего разрушить все человеческие идеалы и заменить их своим образом мыслей, приобрело нарицательный характер. В его романах, наполненных описаниями эротических «отклонений», как называл свои фантазии сам де Сад, исследуется феномен, названный по имени автора. Но клинические рамки понятия «садизм» давно размылись, и сейчас этот термин, превосходно прижившийся в русском языке, звучит и когда сильный с видимым удовольствием и без всяких на то причин издевается над слабым, и когда речь заходит о черном юморе.

Как справедливо подчеркнуто, сексуальные фантазмы маркиза, выплеснутые им на бумагу, не имеют никакого отношения к медицине. Тем не менее, открыв любой из «непристойных» романов де Сада, будь то «Сто двадцать дней Содома», «Новая Жюстина», «Преуспевания порока» или «Философия в будуаре», невольно ловишь себя на мысли: в самом деле, не случилось ли у автора помрачение рассудка? А может, он просто смеется над своими читателями, предлагая им бесконечные описания сексуальных извращений, перемежающиеся длинными назидательными пассажами, в которых его герои-либертены убеждают друг друга в том, что зло заложено в самой природе, а потому любое преступление является исполнением

законов природы? И читателю, предположившему, что перед ним беллетристический, художественный роман, любое из этих сочинений может показаться на удивление скучным. Ибо помимо приумножения числа жертв, истребленных либертенами ради удовлетворения своих страстей, и перечисления способов убийства все тех же несчастных бессловесных жертв в упомянутых сочинениях, в сущности, не происходит ничего. И происходить не может, так как описания непристойностей являются своеобразными иллюстрациями основного текста, а именно рассуждений героев, из которых, страница за страницей, складывается единый объемный трактат, излагающий принципы садической философии. «Безнравственные» сочинения де Сада — это прежде всего философские труды, созданные интеллектуалом эпохи Просвещения, когда атеизм и механистический взгляд на человека были нормой и все признавали власть разума над чувствами; де Сада, как и многих его современников, интересовали страсти, а не жизненное правдоподобие. Обилие философии лишило романы Сада собственно романности, а непристойные описания затмили философский аспект его сочинений, и они надолго остались непонятыми. Хотя, наверно, каждое время понимает труды маркиза по-своему, ведь чем дальше в Историю уходит от нас автор, тем больше мы приписываем ему наших собственных мыслей, наших постоянно меняющихся представлений о мире.

После прочтения «ужасных» романов де Сада у многих возникает вопрос: что за человек был их автор? Почему решил поднять на щит зло, объявить преступление единственной нормой поведения? Связать преступление с сексуальным желанием? Почему решил отринуть Бога, а вместе с ним и мораль, и нравственные нормы? Что водило его пером: озлобленность, месть, ярость или холодный расчет? А может быть, желание посмеяться над читателем, который воспримет его умозаключения всерьез? Попытается отыскать тропинку сквозь тщательно сконструированные дебри преступлений?

С какой бы стороны ни подошли мы к сочинениям де Сада, образ автора вырисовывается неоднозначный. Почти половину жизни, точнее двадцать восемь лет, маркиз провел в заключении, куда его отправили не за свободомыслие, а за разврат, богохульство и нанесение телесных повреждений публичным женщинам. При Старом порядке^[1] нравы в среде французской аристократии царили не пуританские, и де Сад, принадлежавший к старинному аристократическому семейству юга Франции, не усматривал в своем поведении ничего, что заслуживало бы столь сурового наказания. В самом деле, если бы во времена де Сада

полиция давала ход каждому делу о безнравственном поведении аристократов, то к началу Французской революции большая часть дворян сидела бы в тюрьмах. Поэтому общество закрыло бы глаза и на проделки маркиза, если бы его похождения не сопровождались надругательствами над предметами культа и оскорбительными речами в адрес церкви и ее учения. Хотя форма антиклерикального протеста маркиза больше напоминала злостное хулиганство, нежели проявление свободомыслия.

«Вечный узник», де Сад вписался в ставший расхожим образ проклятого писателя, гения, творившего вопреки постоянно преследующим его несчастьям. В этом сложившемся стереотипе писательский труд связан с бесконечным преодолением препятствий, сам писатель несчастен в личной жизни, не понят обществом, а созданные им шедевры никто не ценит. На первый взгляд маркиз де Сад стереотипу вполне соответствовал: почти половину сочинений написал в тюрьме, женился из-за денег, при всех режимах оказывался за решеткой, вел постоянные войны с тюремщиками, тщетно добивался признания как драматург и отчаянно отрекался от «жесточких» романов, посмертно снискавших ему мировую славу и предугаданное им бессмертие.

Но в реальной жизни люди редко укладываются в схему, не укладывался в нее и де Сад. Непризнанный, а вернее, печально признанный при жизни «литератор», как стал называть себя маркиз после отмены дворянских титулов, был необычайно противоречивой личностью, впитавшей в себя и пороки, и достоинства своего времени. А в силу своего характера обращал себе во вред даже свои достоинства. Энциклопедически образованный, он соединял экскурсы философа и эрудита с описаниями самого разнузданного разврата, вызывал негодование критиков-литераторов, а затем раздраженно отвечал, что не имеет отношения к автору «этих мерзостей». И обуреваемый жаждой литературной славы, вновь создавал очередное сочинение о царстве зла и преступления. Всю жизнь увлекался театром, но профессионально заняться им смог только в лечебнице для душевнобольных, добивался известности как драматург, но снискал ее как режиссер-постановщик. Владел обширными землями, тремя замками, но вечно нуждался. Имел любящую жену, но, сам того не замечая, сделал все, чтобы оттолкнуть ее, и она подала на развод. Питал иллюзии о неприступности своего замка, но был арестован именно в нем. Всюду видел «врагов», в словесных баталиях всегда нападал первым, не задумываясь оскорблял противника, а затем восклицал: «Как я несчастлив!»

Любитель, поклонник и знаток театра, он неудачно выступал на

театральной сцене и не слишком блистательно — на сцене своей собственной жизни. Вынужденный в пятьдесят лет искать себе амплуа в новом, революционном мире, отменявшем старые порядки, а заодно и людей, эти порядки поддерживавших, маркиз попытался сыграть роль «гражданина» Луи Сада из рода «почтенных земледельцев». Сначала ему это удалось, и он даже выбился в первый состав, сочиняя на заказ революционные речи, но полное неприятие чьих-либо убеждений, кроме своих собственных, не позволили ему с должной убедительностью исполнить роль санюлота, и он очутился за решеткой. Капризный, высокомерный, обидчивый, вспыльчивый, всю жизнь лелеявший собственные сексуальные проблемы, он был вечно раздраем двумя взаимоисключающими желаниями — затвориться в четырех стенах собственного мира и купаться в лучах общественного признания.

Де Сад не мог примириться с окружавшими его устоями и от этого чувствовал себя несчастным. Он не был бунтарем против какого-либо определенного порядка, он был против порядка вообще, против всего, что так или иначе препятствовало осуществлению его желаний. А так как многие его желания реализовать было невозможно, постоянное недовольство делало характер его еще более желчным и раздражительным. Не получая желаемого признания, он уходил в себя и страничка за страничкой строил свой собственный мир, где наслаждение сливалось с властью посредством преступления.

До революции жизнь де Сада была драмой несчастного человека в обществе наслаждения. Во время революции жизнь его стала драмой затворника, попавшего в страшный вихрь истории. Жизнь несчастного господина де Сада сравнима с пьесой для одного актера, этим же актером и сочиненной. Автор писал, а актер исполнял, и ни один не обращал внимания на пристрастия зрительного зала, а потому оскорбленная публика освистывала его и забрасывала гнилыми помидорами.

Эпоха Просвещения искала причины возникновения зла и пути борьбы с ним. Де Сад возвел зло в абсолют, продемонстрировал, как восславленный просветителями разум без труда превращал преступление в наслаждение, а свобода не сочеталась ни с равенством, ни с братством, а, наоборот, швыряла людей в бездну одиночества. В период, когда закладывались основы современного миропорядка, де Сад писал о том, что абстрактные институты, выработанные ради счастья всего человечества, с легкостью оборачивались против каждой личности в отдельности, ибо каждый человек неповторим, каждый наделен одному ему присущими страстями. Правда, у де Сада только преступные страсти считаются

естественными, «правильными», а приверженность к добродетелям оказывается «неправильной» и терпит крах. В эпоху грандиозных потрясений, вызванных Французской революцией, наверное, только человек, полностью погруженный в собственный внутренний мир, живущий, согласно созданному де Садом термину, в полном «изолизме», мог поставить такой масштабный теоретический эксперимент по распространению зла, царящего в природе, на венец ее творения — человека. Впрочем, согласно де Саду, в глазах Природы человек значил не более, чем «домашняя муха или таракан». Но эти утверждения нисколько не соответствовали мироощущению самого маркиза, всегда утверждавшего свою уникальность и приходившего в ярость оттого, что никто не хотел этого понять и принять. И это неприятие не добавляло ему счастья.

Многие биографы маркиза, среди которых прежде всего следует назвать имена Мориса Эна, Жильбера Лели, Жан-Жака Повера и Мориса Левера, сделали достоянием общества богатейший документальный материал, относящийся к жизни де Сада: письма, записные книжки, дневники. Появившихся в научном мире новых источников оказалось достаточно, чтобы разрушить предвзятое впечатление о писателе, царившее не одно десятилетие после его смерти. «Это имя известно всем, но никто не осмеливается произнести его, рука дрожит, выводя его на бумаге, а звук его отдается в ушах мрачным ударом колокола» — фраза, написанная Жюлем Жаненом в 1834 году, давно уже вызывает снисходительную улыбку. И все же мы еще долго будем пытаться понять, отчего Донасьен Альфонс Франсуа де Сад сделал делом своей жизни построение величайшей «башни Зла».

Глава I.

БЕЗМЯТЕЖНОЕ ДЕТСТВО

1740 год. Теплым майским днем по аллее, обсаженной с обеих сторон цветущими апельсиновыми деревьями, источавшими пьянящий аромат, медленно шла миловидная темноволосая дама. Пышное платье с кринолином скрывало ее формы, однако тяжелая походка свидетельствовала о том, что женщине вскоре предстоит родить. Аллея была проложена в большом саду, примыкавшем к дворцу Конде, одному из красивейших особняков Парижа, а даму, ожидавшую ребенка, звали Мари-Элеонор де Сад, урожденная де Майе де Карман. Она состояла в штате принцессы Каролины-Шарлотты де Бурбон-Конде, урожденной Гессен-Рейнфельдской, а супругом ее был граф де Сад, конфидент Луи-Анри де Бурбона, принца Конде. С домом Бурбон-Конде Мари-Элеонор была связана кровными узами — она состояла в дальнем родстве с Клер-Клеманс де Майе де Брезе, племянницей кардинала Ришелье, ставшей супругой Великого Конде, прославленного полководца, участника фронды. Нынешний принц Конде скончался в январе, оставив двадцатишестилетнюю вдову с четырехлетним сыном на попечении родственников своего могущественного клана, а своего конфидента без покровителя. Так что престижные связи жены для графа де Сада становились особенно полезными. Собственно, именно из-за этих связей семь лет назад граф де Сад предложил Мари-Элеонор руку и сердце.

Быстро выяснилось, что сердце свое граф де Сад жене отдавать не собирался, ибо еще до сватовства оно было занято юной Каролиной-Шарлоттой, супругой принца Конде, покровителя графа. Чтобы получить возможность беспрепятственно видаться с принцессой, надо было получить доступ в ее дом. И де Сад, которому было уже за тридцать, стремительно сделал предложение знатной бесприданнице мадемуазель де Майе, придворной даме принцессы. 13 ноября 1733 года в часовне дворца Конде в торжественной обстановке состоялась церемония бракосочетания, в результате которой молодожен вместе с знатным родством получил право проживать в квартире супруги, находившейся во дворце его возлюбленной принцессы, которая очень скоро уступила настойчивым желаниям обаятельного поклонника. И все бы складывалось как нельзя лучше, если бы только его собственная жена не была ревнива и не пыталась

препятствовать его встречам с Каролиной-Шарлоттой...

Сейчас жгучая ревность осталась в прошлом. Теперь Мари-Элеонор волновали только предстоящие роды. Три года назад она уже родила дочь, названную Каролиной-Лор, но та не прожила и двух лет. А древнему роду де Сад очень нужен наследник, о чем ей до беременности нередко напоминала свекровь Луиза-Альдонса. Хотя для Мари-Элеонор эти напоминания были лишними: будучи не менее знатной, чем супруг, она прекрасно понимала необходимость иметь наследника. И несмотря на все обиды в глубине души по-прежнему любила своего ветреного мужа, которому принцесса год назад дала отставку. Но граф де Сад — придворный, а при дворе супружеская верность не в моде, поэтому графиня де Сад была уверена, что супруг уже нашел утешение в объятиях очередной светской красавицы или жрицы продажной любви. Мари-Элеонор знала, что муж ее посещает злчные места; но знала ли она, что он не пренебрегает и однополый любовью? Во всяком случае, не секрет, что для многих дворян этот «философский грех» представлял аристократическую причуду, игру, возбуждавшую вдвойне еще и оттого, что она была запрещена. Но, несмотря на запреты, тем, кто имел громкое имя или знатного покровителя, никакие кары не грозили. Впрочем, граф вряд ли стал бы рассказывать жене, как в молодости он был задержан полицией нравов за попытку нанять в саду Тюильри мальчика для развлечений, тем более что задержание последствий не имело...

...Мы не знаем, о чем думала графиня де Сад накануне рождения Донасьена, можем только предполагать — чтобы задаться вопросом: с какими чувствами ожидали родители появление наследника? В те времена не было точных способов определения пола будущего ребенка, а знатные аристократы всегда желали иметь сына, чтобы было кому передать родовое имя. Поэтому Донасьен, несомненно, был желанным ребенком. Но стал ли он от этого еще и ребенком любимым? Кажется, на этот вопрос нельзя ответить однозначно. Культ детства еще впереди, но отношение к бездетности как к небесной каре уже позади. Галантное XVIII столетие воспринимает детей как помеху наслаждению, составляющему смысл жизни дворянского сословия. Новорожденного ребенка обычно отправляют кормилице в деревню, потом в коллеж (или монастырь, если это девочка), и в родительский дом он возвращается уже вполне сформировавшимся молодым человеком. А там пора подумать и о женитьбе (замужестве). Вступать в брак молодому человеку разрешалось с тринадцати, а девушке — с двенадцати лет. Как только юноша вступал в брак, он считался совершеннолетним (для холостяков официальное совершеннолетие

наступало в двадцать пять лет) и мог распоряжаться не только собой, но и своим состоянием. Так что на отношения «отцы и дети» времени практически не оставалось. Тем более что дети, воспитанные «в людях», не всегда с готовностью признавали тех, кто произвел их на свет. Например, известный философ Д'Аламбер (1717—1783), родной сын мадам де Тансен и шевалье Детуша, отданный с первых дней жизни на воспитание кормилице, став взрослым, отказался признать мадам де Тансен своей матерью.

Согласно имеющимся сведениям, мать Донасьена, Мари-Элеонор, отличалась безупречным поведением. Она была моложе супруга на десять лет и, вероятно, вступила в брак вскоре после выхода из монастыря, как это часто бывало в те времена, и искренне привязалась к мужу. Поэтому, несмотря на вольные нравы века, его измена чуть ли не в первую брачную ночь не могла не оставить тяжелого осадка в ее душе. Длительное по тем временам отсутствие детей, а затем скорая смерть дочери также не прошли для нее бесследно. И вполне возможно, что душевные переживания матери отразились и на маленьком Донасьене. Интересно, какая погода стояла 2 июня 1740 года, когда он появился на свет? Хочется думать, что все же теплая и солнечная.

Превратности судьбы настигли Донасьена уже на второй день после рождения, когда его понесли крестить в церковь святого Сульпиция (в этом приходе находился дворец Конде). Крестным отцом его стал дед со стороны матери, Донасьен де Майе, маркиз де Карман, а крестной матерью — Луиза-Альдонса д'Астуо де Мюр, бабушка с отцовской стороны. Но ни тот, ни другая на церемонию не прибыли, а прислали своих заместителей. Отец новорожденного был занят, мать еще не оправилась после родов, и вместо родителей на церемонии присутствовали их слуги. Вероятно, именно поэтому мальчик был назван вовсе не так, как предполагали назвать его родители. Первое имя — Донасьен было единодушно выбрано семьей. Вторым именем граф хотел сделать старинное провансальское имя Альдонс, а третьим — Луи, в честь своего покровителя Луи-Анри де Бурбона. Но имя Альдонс в столице было неизвестно, и кюре, не расслышав, записал «Альфонс». Какое имя было выбрано третьим, забыли все и записали наугад — «Франсуа». Получилось Донасьен Альфонс Франсуа. Впоследствии мальчик узнал об этой путанице в именах — интересно, от кого? Из записей отца, которые Донасьен старательно хранил, классифицировал и иногда даже правил? Или из рассказов слуг? А может быть, ему поведали об этом мать или отец? Но как бы там ни было, это происшествие произвело на него такое сильное впечатление, что всю

сознательную жизнь де Сад пытался исправить ошибку равнодушных слуг. По утверждению Ж.-Ж. Повера, именем Альфонс он не называл себя никогда, а протест против «неправильных» имен выражал спонтанно, не думая о последствиях. Например, в своем брачном контракте он назвал себя Луи Альдонс Донасьен де Сад. Во время революции Сад, отбросив компрометирующую частицу «де», подписывался непопулярным в те времена «королевским» именем Луи — гражданин Луи Сад. Разные имена под официальными бумагами повлекли за собой крупные неприятности. Попав в эмигрантские списки под именем Альдонс Донасьен, он был занесен в список кандидатов на вычеркивание под именем Луи. Однако доказать, что гражданин, именуемый в свидетельстве о рождении Донасьен Альфонс Франсуа де Сад, и гражданин Альдонс Донасьен де Сад, который вдобавок еще и Луи Сад, — одно лицо, оказалось практически невозможным.

Маленького Донасьена воспитывали во дворце Конде, и хотя он наверняка находился на попечении кормилицы, мать его была рядом, а не за тридевять земель. Но впоследствии положение изменилось. То ли добровольно, то ли в силу обстоятельств Мари-Элеонор была отстранена от воспитания сына, и мальчик оказался всецело на попечении отца и родственников с отцовской стороны. Роль отца и семьи в жизни и становлении юного Донасьена долгое время оставалась в неведении, и только архивные исследования, и прежде всего труд Мориса Левера, опубликовавшего два толстенных тома семейной переписки, позволили разглядеть «хвост» загадочной кометы по имени Донасьен Альфонс Франсуа де Сад, которой было суждено засверкать на небосклоне французской литературы.

В XII веке семья де Сад обосновалась в Провансе. Этимология родового имени *Sade* (Сад) восходит к старофранцузскому прилагательному *sade* (от латинского *apidum* — вкусный, сочный), означавшему «приятный», «кроткий», «очаровательный». Постепенно слово исчезло из употребления, в современном языке сохранилось только его производное — *maussade* (*malsade*, XIV в.), означающее «неприятный», «хмурый», «унылый». Де Сады, принадлежавшие к почтенному сословию негоциантов, занимались торговлей коноплей, но уже в XIII веке получили дворянский титул и стали одним из аристократических семейств города Авиньона. В Авиньоне, как и в Италии, благодаря специальной папской булле, признавшей торговлю благородным занятием, достойным дворянина, любой коммерсант мог получить дворянство — разумеется, уплатив при этом кругленькую сумму: своего рода налог на титул. Де Сады

участвовали в крестовых походах, заключали выгодные браки, занимали важные должности в местных органах управления. Согласно семейному преданию, истинность которого и по настоящее время подвергается сомнению, некий Юг де Сад в 1325 году заключил брак с прекрасной Лор де Нов, музой великого итальянского поэта Франческо Петрарки, посвятившего Лауре^[2] свои сонеты. В апреле 1348 года Лор умерла от чумы, успев за время супружества родить одиннадцать детей. Легендарная Лаура, Лор де Сад стала покровительницей рода де Садов, и в ее честь в каждом поколении одной из дочерей в семье де Сад давали имя Лор.

Еще одна известная женщина в роду — Шарлотта де Бон, внучка Жирара де Сада, ставшая фавориткой Екатерины Медичи. По словам аристократа и литератора XVI века Брантома, она оказала королеве множество бесценных услуг, в том числе и интимных. Первый муж Шарлотты, барон де Сов, занимал высокие посты при Карле IX и Генрихе III. Мадам де Сов, отличавшаяся необычайной красотой, стала любовницей молодого Генриха Наваррского, будущего короля Генриха IV. После смерти барона де Сов Шарлотта в 1584 году второй раз вышла замуж за маркиза де Нуармугье и скончалась в 1617 году. Авантюры этой дамы вполне достойны пера ее потомка. Возможно, знакомясь с разысканиями аббата де Сада в области генеалогии, Донасьен узнал про Шарлотту, запомнил и передал некоторые черты дальней родственницы своему главному женскому персонажу — Жюльетте.

В начале XVIII века семья де Сад сосредоточила в своих руках немало земельных угодий, наиболее крупные из которых были расположены в Сомане, Мазане и Ла-Косте; имелась также солидная недвижимость в Авиньоне и Арле. Постоянно проживая в провинции, де Сады в основном занимались накоплением богатств. Первым расточителем и одновременно первым из де Садов, отправившимся делать карьеру в Париж, стал старший сын Гаспара Франсуа де Сада и Луизы-Альдонсы д'Астуо — граф Жан Батист Франсуа Жозеф де Сад, рожденный в 1702 году, отец Донасьена Альфонса Франсуа.

К расточителям семейного достояния можно причислить также и младшего сына Гаспара де Сада — Жака Франсуа Поля Альдонса, аббата де Сада. Несмотря на принятие сана, аббат де Сад был равнодушен к женскому полу и, наезжая в Париж, посещал веселые дома, где однажды даже был задержан полицией. Получив от старшего брата в пожизненное пользование земли и замок в Сомане, он собрал там обширную библиотеку, создал кабинет редкостей и с наслаждением предавался ученым занятиям — составлял генеалогию рода де Сад. Именно аббат де Сад собрал и

соединил в толстые тетради документы, подтверждавшие права и привилегии дома де Сад, а также давность их дворянских титулов. Эта работа очень пригодилась Донасьену при поступлении в элитный кавалерийский полк, когда от него потребовали представить доказательства наличия у него четырех поколений знатных предков. Во время революции семейные архивы, хранившиеся в замке Ла-Кост, были разодраны в клочья, сохранилась только их опись, сделанная аббатом де Садом, а также отдельные листочки, которые Донасьену удалось спасти во время своей поездки в Прованс в 1797 году. Трудом всей жизни аббата стало трехтомное сочинение под названием «Жизнеописание Франческо Петрарки, составленное на основании извлечений из его собственных сочинений и сочинений современных ему авторов, с заметками и рассуждениями, а также документальными подтверждениями», где аббат не только не подвергает сомнению семейное предание, но и приводит множество доказательств его правдивости.

Средний брат, Ришар Жан Луи де Сад, стал рыцарем, а затем командором Мальтийского ордена и великим приором Тулузы. В отличие от братьев он слыл человеком рассудительным и высоконравственным, а потому, когда Донасьен был заключен в тюрьму, семейный совет назначил командора опекуном жены и детей его беспутного племянника.

Помимо двух дядюшек у Донасьена было пять тетушек, четверо из которых ушли в монастырь, а пятая, Анриетта Виктуар, вышла замуж за графа Жозефа Игнаса де Вильнев-Мартиньян. В тяжелую минуту тетушки — Габриэль-Лор, аббатиса монастыря святого Лаврентия в Авиньоне, монахини Анн-Мари-Лукрес, Габриэль-Элеонор и Маргарита-Фелисите — поддерживали племянника письмами, исполненными любви и утешения, а иногда — укора и сожаления. Монастырские затворницы не имели практически ничего, зато тетушка Вильнев-Мартиньян была богата, собственных двоих дочерей не любила, и симпатии ее были всецело на стороне племянника. Зная об этом, Донасьен очень рассчитывал на ее наследство. Но, увы, ему не досталось ничего...

Наибольшим сходством характеров обладали старший и младший братья — Жан Батист и Поль Альдонс. Оба с полным основанием заслуживали звания либертенгов, как в то время именовали просвещенных аристократов, считавших себя знатоками утонченных эротических удовольствий. Вместе с тем оба полагали себя столь разными, что даже совместное проживание считали невозможным. Поэтому, когда острая нужда в деньгах побуждала братьев задуматься о том, чтобы соединить доходы и жить единым домом, они быстро отметали эту мысль. В январе

1750 года аббат в своем письме в очередной раз отверг предложение брата о совместном проживании, мотивировав свой отказ разностью вкусов и образа мыслей: «...я опасюсь вашего природного непостоянства и той стремительности, с которой меняются ваши пристрастия, а вы этого, в сущности, не замечаете. То, что восхищало вас вчера, сегодня вам уже не нравится». Строки эти были перечеркнуты и поверх них рукой графа написано: «А вы живете с женщиной, к которой мне будет еще труднее приспособиться, чем к вам». Наверное, это был ответ графа самому себе...

Стремительный, любвеобильный, скорый на принятие решений, внимающий более зову каприза, нежели разума, Жан Батист появился при дворе, когда бразды правления государством находились в руках Филиппа Орлеанского^[3], дяди малолетнего короля Людовика XV. Это была эпоха безудержного разврата, ставшего своеобразной реакцией на ханжескую мораль, насаждавшуюся в последние годы правления Людовика XIV мадам де Ментенон, любовницей, а затем тайной супругой состарившегося короля. Герцог Орлеанский являл собой пример царственного либертена: он устраивал «оргии обнаженных» в садах Тюильри, состоял в связи с собственной дочерью — герцогиней Беррийской, и, судя по слухам, отравил ее мужа... «Удивляюсь, как бездна еще не поглотила Париж в наказание за те ужасы, которые в нем творятся», — вздыхала почтенная герцогиня Орлеанская. Словом, сюжеты для романов маркиза де Сада создавались задолго до его рождения.

В атмосфере царившего при дворе культа эротических наслаждений происходило становление личности графа де Сада, оттачивалось его воспитание либертена. Стремление к наслаждению заключалось не только в обладании предметом вспыхнувшей страсти и в философском исследовании всех аспектов любовного вожделения. Век Просвещения, являвшийся одновременно веком Наслаждения, анализировал и систематизировал все, что окружало человека, все проявления его страстей. Эрос и Философия вместе искали путь к свободе и счастью человека. Природа наслаждения исследовалась буквально под микроскопом, в сочинениях откровенно эротического характера поднимались вопросы о свободе воли, природе страстей и роли разума. Наслаждение становилось наукой и искусством жить. Бунтари «ниже пояса» повсеместно нарушали моральные устои, либертинаж являлся своеобразным выражением свободы — ведь корень у этих слов общий.

Поэтому давайте уделим этим словам немного места. От французского *litre* — «свободный» образованы и *liberie* — «свобода», и *libertin* — «либертен», и производное от него *libertinage* — «либертинаж». Изначально

либертенами в широком смысле называли людей, не считавших себя атеистами, но поставивших под сомнение существовавшие формы религии, иначе говоря, идеологических диссидентов, духовных вольнодумцев, сыгравших свою роль в период религиозных войн. Во времена Людовика XIII, когда на сцену выступило новое поколение, знавшее ужасы гражданской войны по рассказам или смутным детским воспоминаниям, либертинаж превратился в идейное течение нонконформизма. А так как оппонентом свободомыслия выступала прежде всего церковь, идеологическая оппозиция противопоставляла ей не только свободу слова, но и свободу нравов. В мирной жизни либертены хотели избавиться от надзора за мыслями и телом, быть свободными в своих поступках. Среди либертенов было немало золотой молодежи, шокировавшей власть и окружающих своим вызывающим поведением, и к XVIII столетию понятие «либертен» окончательно утратило свой идеологический компонент. По словам современников, в провинции либертенами становились на основании темперамента, а в Париже — из принципа.

Граф де Сад с головой окунулся в придворную жизнь. Живой ум и глубокие познания, способность облекать философские рассуждения в легкую, порой фривольную форму делали его приятным собеседником и желанным гостем во многих знатных домах. Он завел ряд литературных знакомств, поддерживал дружеские отношения с Кребийоном-сыном и сочинителем антивольтеровских эпиграмм Алексисом Пироном. Писатель Бакюляр д'Арно, которому де Сад помог вступить в переписку с Фридрихом II, а потом благополучно отбыть к прусскому двору, писал Жану Батисту: «Дорогой граф, я всегда буду помнить, что в Париже меня ожидает друг, прекрасная душа коего не имеет себе равных, любезный философ, чьи суждения всегда оказываются верными, одним словом, человек, заслуживающий всяческого уважения, любви и почтения». Как это было принято среди знати, граф увлекался литературой и много писал для собственного удовольствия — сочинял комедии, трагедии, поэмы, повести и трактаты. Разнообразие жанров, в которых пробовал свое перо Жан Батист, свидетельствовало о его недюжинном писательском таланте. Впоследствии Донасьен не только собрал и привел в порядок отцовские рукописи, но и, судя по сделанным в них пометам, неоднократно перечитывал их и даже вносил свою корректуру. А с записной книжкой графа, содержащей размышления о морали и религии, де Сад-младший не расставался даже в тюрьме. Среди литературных корреспондентов Жана Батиста были Монтескье и Вольтер. С Монтескье граф де Сад встречался в Лондоне, где они в один день были приняты в масонскую ложу Рога. С

Вольтером у де Сада установились более тесные контакты: он даже бывал у него в гостях. Знаменитый философ поддерживал переписку также с аббатом де Садом и кузеном обоих братьев Жозефом Давидом де Сад д'Эгийер. Вольтер писал де Садам шуточные стихи, стал одним из первых внимательных и заинтересованных читателей трудов аббата де Сада.

Разумеется, придворная жизнь не могла обойтись без женщин. Одним из наиболее громких романов пылкого фа-фа была его связь с сестрой принца Конде, Луизой Анной де Бурбон, именуемой мадемуазель де Шаролэ или просто Мадемуазель. Самая красивая принцесса дома Бурбонов, Мадемуазель обладала живым умом, была прекрасно образована, любознательна и с увлечением отдавалась любовным приключениям, являясь зачастую их инициатором. Она вполне могла служить образцом либертенки, особенно когда надевала на себя рясу монаха-кордельера, брала в руки веревку святого Франциска и позировала в таком виде художнику. Потом она отсылала портреты любовникам, чтобы подогреть их воображение и пыл. В те времена плетъ часто применялась для возбуждения желаний, а популярный эротический роман «Тереза-философ» (1748), автором которого считали Жана Батиста Буайе д'Аржанса, прославил веревку святого Франциска в качестве орудия для получения наслаждения. Очаровательная Мадемуазель, выбиравшая себе любовников в самых высших аристократических кругах, не устояла перед обаятельным провансальцем, и вскоре граф де Сад стал завсегдатаем ее загородного особняка под названием Мадрид, подаренного хозяйке Людовиком XV, который, как говорили, также не остался равнодушным к ее чарам. Но вскоре граф-сердцеед положил глаз на герцогиню де ла Тремуй и написал Мадемуазель письмо, в котором недвусмысленно сообщал, что более ее не любит. Оскорбленная красавица, привыкшая сама давать отставку своим поклонникам, ответила весьма язвительно. Несомненно, этот поступок был одним из тех, которые в совокупности стали причиной опалы графа. Но опала наступит позже. Сейчас отметим только, что спустя много лет, когда состарившийся граф оказался в стесненном материальном положении, мадемуазель де Шаролэ пригласила его пожить у нее в замке. По всей видимости, граф был наделен особым даром, благодаря которому его бывшие возлюбленные всегда были готовы прийти к нему на помощь, чего нельзя сказать о его жене. К жене, впрочем, он никогда не питал ни нежных, ни трепетных чувств.

С помощью дальних родственников Жан Батист стал вхож в дом принца Конде, одного из первых лиц королевства, и постепенно сделался его фаворитом. Имея должность капитана драгунского полка, он сразу

после женитьбы участвовал в кампании 1734—1735 годов в качестве адъютанта маршала де Виллара: с 1733 года Франция пребывала в состоянии войны за польское наследство. Получив от короля должность наместника провинций Брес, Бюже, Вальроме и Жекс, де Сад в 1739 году откупил ее за 135 тысяч ливров. (Для сравнения: пара сапог стоила примерно двенадцать ливров, а должность генерального откупщика немногим более миллиона ливров.) К этому времени граф уже изрядно растратил свое состояние, и цена для него была поистине умопомрачительна. Однако игра стоила свеч, ибо провинции выплачивали наместникам пожизненную ренту фактически «просто так», за то, что они изволили занять эту должность. Ни постоянного пребывания в «своей» провинции, ни разбора каких-либо дел от наместника не требовалось, и он мог, как и прежде, жить при дворе, растрачивая, как ему угодно, получаемые им деньги. Для графа де Сада сумма доходов от наместничества составляла немногим более десяти тысяч ливров в год, что при его годовом доходе в восемнадцать тысяч ливров и склонности к расточительству являлось неплохим подспорьем. С должностями наместников обычно расставались неохотно, тем более что король жаловал эти должности только лицам привилегированным.

Граф де Сад мог по праву считать себя избранником: щедро одариваемый женским вниманием, фаворит влиятельного клана Конде, успешно совмещавший военное поприще с дипломатическим, он быстро продвигался по карьерной лестнице. Всесильный министр Людовика XV кардинал Флери высоко ценил дипломатические таланты графа. В 1730 году Жана Батиста назначили послом Франции при русском дворе, но смерть Петра II и смена политического курса при Анне Иоанновне помешали его поездке в Россию. Де Сад получил конфиденциальное поручение в Лондон, с которым успешно справился. А через несколько месяцев после рождения сына он узнал о своем назначении полномочным послом при дворе курфюрста кёльнского, архиепископа Климента Августа. Германские князья не обладали ни обширными территориями, ни полной политической независимостью, поэтому назначение в одно из прирейнских княжеств считалось не слишком завидным, но тем не менее оно было сопряжено со всеми посольскими привилегиями и специальным бюджетом, что для де Сада было немаловажно. Французский двор выступал законодателем европейских мод, и правительство считало, что жизнь французских посольств должна быть обустроена со всей подобающей представляемой ими стране роскошью. А граф де Сад умел красиво тратить деньги. И когда Донасьену было семь месяцев, отец его отбыл в Кёльн.

Возможно, если бы покровитель Жана Батиста был жив, он бы получил более завидную должность.

Ближайшие четыре года, пока сын рос во дворце Конде и вместе с принцем Луи Жозефом воспитывался под неусыпным оком гувернантки мадам де Руссийон, Жан Батист делал политику в Кёльне. Какое участие принимала мать в жизни подрастающего сына, сказать сложно. Проживая с ним под одной крышей, она вряд ли оставалась безучастной к ребенку. Но постоянные поездки в Кёльн к мужу, несомненно, утомляли ее, а тяжелый характер супруга и его нелюбовь к ней не прибавляли ей бодрости духа. К тому же в связи с назначением мужа у Мари-Элеонор возникли серьезные финансовые трудности, ибо, как легко было предположить, расходы Жана Батиста значительно превосходили суммы, выделяемые на содержание посольства. Но не мог же граф де Сад ударить в грязь лицом перед немецкими князьками! В своей заносчивости граф доходил до того, что обыгрывал курфюрста в карты, чего, как прекрасно знали все при дворе, тот не терпел совершенно.

Однако союз с Пфальцем и Саксонией, в котором были заинтересованы Испания и Франция, не позволял курфюрсту открыто выражать свое недовольство французским посланником. А графу де Саду тем временем удалось убедить кёльнский двор поддержать кандидатуру баварского курфюрста Карла Альберта из династии Витгельсбахов на избрание новым императором Священной Римской империи. И в 1742 году Климент Август лично возложил императорскую корону на голову Карла Альберта, взошедшего на престол под именем Карла VII. Но отношения между курфюрстом и де Садом испортились окончательно — то ли из-за женщин, то ли из-за слишком обширной переписки графа с лицами, неугодными курфюрсту. Последняя претензия сводилась к обвинению посланника в шпионаже. Граф слишком буквально понял наставления Франсуа де Кальера из тогдашнего «учебника для дипломатов»: «Посол должен одеваться с особой тщательностью и изысканностью. Но прежде всего ему нельзя забывать о пользе шпионажа... Не существует лучшего употребления денег... нежели на создание и поддержание секретной службы». В результате в конце 1743 года граф де Сад покинул кёльнский двор, получив положенное в таких случаях вознаграждение за службу и все необходимые документы. Но о титуле имперского князя, добиться которого ради престижа советовал ему в письме аббат де Сад, можно было забыть: ни благорасположения для получения титула, ни двадцати тысяч для приобретения ленты у него уже не было. Аббат очень сокрушался по поводу скромного финала дипломатической карьеры брата во владениях

курфюрста: Жан Батист совсем не заботится о будущем сына, которому в урочное время надо будет подыскивать знатную невесту.

Тем временем в Париже скончалась вдова Конде, принцесса Каролина-Шарлотта. Товарищ детских игр Донасьена, принц Луи Жозеф, остался сиротой. Скорее всего, он каким-то образом поделился этим горем со своим юным товарищем. Как мог воспринять такое известие маленький Донасьен, чьи родители пребывали в добром здравии, однако все равно где-то там, далеко, «где не видно»? Не с самых ли ранних лет у де Сада сформировался страх перед одиночеством и одновременно неосознанная тяга к нему? На такие вопросы обычно дают ответы психоаналитики, но насколько глубоко можно проникнуть во внутренний мир человека, жившего более двух столетий назад, тем более если о периоде его раннего детства известно крайне мало и из источников исключительно косвенных? Во всяком случае, исследователи единодушно отмечают, что на малыша Донасьена большое влияние оказал брат покойного принца Конде, граф де Шаролэ, опекун Луи Жозефа. Граф жил у себя, однако часто навещал племянника, а так как мальчики росли вместе, то граф, естественно, виделся и с юным де Садом. И вновь вопросы. Каким образом мог граф де Шаролэ повлиять на Донасьена, когда того уже в неполных пять лет разлучили с Луи Жозефом? Даже принимая во внимание, что принц был старше Донасьена на четыре года, вряд ли граф де Шаролэ посвящал мальчиков в свои похождения. Сыграла свою роль аура преступления, окутывавшая фигуру графа? Слухи, долетавшие до мальчиков от слуг?

Слухов и сплетен, равно как и мрачных, но достоверных историй о графе де Шаролэ ходило предостаточно. Граф был поистине образцовым либертенном, персонажем вполне «садическим». Он избивал своих любовниц, мог напоить водкой младенца, застрелил слугу, жена которого отвергла его любовные притязания, отправил на костер свою любовницу мадам де Сен-Сюльпис. В качестве классического примера аристократической жестокости во многих источниках рассказывается о любимом развлечении графа — отстреливать из мушкета кровельщиков, работавших на высоких парижских крышах. Попав в цель, стрелок бурно выражал свою радость. Желая избежать ответственности за убийство, он незамедлительно отправлялся к королю и просил его о помиловании, на которое, будучи принцем крови, вправе был рассчитывать. Говорят, однажды Людовик XV ответил ему так: «Сударь, вы имеете право на помилование, и я, разумеется, дарую его вам. Но я всегда готов даровать его тому, кто поступит с вами точно так же». Случай этот вполне можно назвать «садической философией в действии», ибо как будет неоднократно

— в той или иной форме — повторено у де Сада: «Ради удовлетворения своей страсти я вправе убить его, но и он обладает точно таким же правом, как и я». Неужели этот принцип сформировался у де Сада на основе его совсем еще детских впечатлений?

Не под влиянием ли назиданий графа де Шаролэ произошла знаменитая драка Донасьена с Луи Жозефом, во время которой малыш одержал верх над своим старшим приятелем и так измолотил его, что их пришлось растаскивать? А может, их растаскивал сам граф? Отчего вдруг в Донасьене проснулась такая необоримая злость, что все вокруг перепугались и решили разлучить мальчиков? Неужели граф де Шаролэ занимался с племянником генеалогией, втолковывал ему, как должно вести себя принцу крови? А прилежный ученик Луи Жозеф к восьми годам почувствовал себя «господином Герцогом», как часто называли его отца, и заявил об этом своему приятелю Донасьену? Или слуги стали оказывать мальчикам неодинаковое почтение? Неужели в столь юном возрасте Донасьен уже обиделся, что кто-то может быть выше его по рождению и положению? Как бы там ни было, но Донасьен решительно не желал подчиняться своему товарищу по играм.

А вот что пишет о своем детстве во дворце Конде и о знаменитой драке сам Донасьен в романе «Алина и Валькур» — когда рассказывает историю Валькура, биография которого, по единодушному мнению исследователей, содержит немало достоверных сведений из жизни автора:

«Мать узами родства связала меня с высшей знатью королевства, по отцу я принадлежал к утонченной аристократии провинции Лангедок; увидев свет в Париже среди роскоши и изобилия, я, едва обретя способность мыслить, рассудил, что природа и фортуна объединились, чтобы осыпать меня своими дарами; я в это поверил, ибо окружающие имели глупость убедить меня, и сей достойный осмеяния предрассудок сделал меня надменным, деспотичным и гневливым; казалось, все должно покоряться мне, весь мир обязан потакать моим капризам, и только я мог решать, что хорошо, а что плохо. Я расскажу вам всего лишь об одной черте моего характера, проявившейся уже в раннем детстве, дабы показать вам, сколь опасные принципы были заложены и возвращены во мне по неразумию.

Я был рожден и воспитан во дворце знаменитого принца, к дому которого моя мать имела честь принадлежать; принц был не намного старше меня, нас рано стали воспитывать вместе, дабы я, завязав с ним дружбу с самого детства, мог бы в дальнейшей своей жизни опираться на его поддержку; однако тогда я еще не разбирался в подобных расчетах, и

когда однажды во время наших детских игр он попытался настоять на своем, полагая, что в силу титула своего обладает правом на превосходство, тщеславие мое возмутилось, я взбунтовался и, забыв обо всем, отомстил ему, осыпав его градом ударов, и только настойчивость и сила помогли оттащить меня от моего противника».

Во всяком случае, граф де Сад, оказавшийся в это время в Париже, решил отправить сына к бабушке в Прованс. Наверное, эта драка действительно очень удивила его, ведь, будучи «человеком клана Конде», он не мог не знать, в каком окружении и в какой обстановке воспитывался мальчик, тем более что он состоял в переписке непосредственно с графом де Шаролэ. Впрочем, в то время малолетних детей обычно не замечали. И к бабушке Донасьена решили отправить, скорее всего, потому, что он еще не вышел из возраста, когда детьми занимались женщины и слуги.

Но судя по картине, нарисованной на основании сохранившихся документов, де Сад уже в четыре года был горд, неукротим и не смирялся даже с намеками, что кто-либо может быть хоть в чем-то выше его. Когда Соманская община узнала о прибытии в Авиньон своего сеньора, она направила к графу де Саду и его сыну-наследнику депутацию советников, дабы приветствовать их. Напомним: Соман принадлежал графу де Саду, его младший брат аббат де Сад лишь пользовался правом пожизненного проживания. Покинувшие провинцию ради придворной жизни аристократы не баловали жителей вотчин своими посещениями, предпочитая решать все дела через управляющих. Граф де Сад вполне мог считаться их «типичным представителем», променявшим деревенское спокойствие и состоятельность на превратности придворной жизни и связанное с ней расточительство. Согласившись принять депутацию и представить ей сына, граф, возможно, надеялся, что театральное представление под названием «принесение почестей феодалу» произведет впечатление на ребенка, явив ему привлекательную сторону положения знатного землевладельца. Быть может, к этому времени граф уже сознавал, что кроме родовых владений оставит сыну одни долги. А возможно, он начал уставать от придворной жизни, ибо через два года, в 1746-м, в письме к аббату он напишет: «Я родился не для того, чтобы быть придворным»... Так, может, сыну его лучше вернуться в родные края и вновь занять прочное положение состоятельного землевладельца, которое сам он некогда променял на блеск и суету двора?

Стоя рядом с графом, малыш Донасьен вполне серьезно взирал на взрослых людей, которые, преклонив колена, выражали верноподданнические чувства не только его отцу, но и ему самому, и

чувствовал себя королем. Во всяком случае, исключать этого нельзя. Действительно, почему бы и нет? Людовик XIV, лишившийся отца, когда ему еще не исполнилось пяти лет (теперешний возраст Донасьена), буквально через несколько дней после его смерти приступил к исполнению королевских обязанностей. Так почему бы и Донасьену не почувствовать себя знатным сеньором, каковым он, собственно, и являлся по рождению? А на своих землях сеньор — король... Раннее приобщение к обрядовой стороне отживающего феодализма произвело огромное впечатление на юного де Сада. И невзирая на то, что к XVIII веку обрядовая сторона феодальных отношений практически канула в Лету и обязанности крестьян и арендаторов по отношению к сеньору закреплялись на бумаге нотариусом, который затем вручал документ землевладельцу или его управляющему, де Сад не раз пытался заставить жителей принадлежавших ему земель исполнять зрелищные ритуалы подчинения вассалов своему сеньору. Впрочем, без особого успеха.

Итак, мальчик был оставлен у бабушки д'Астуо, той самой, что не смогла явиться на его крестины, и почтенная дама осыпала его ласками и сладостями, потакала всем его капризам, оставляя без внимания его дурные выходки. Тетушки Донасьена тоже были готовы возиться с малышом и ни в чем ему не противоречили, тем более что внешность у маленького Донасьена была просто ангельская: белокурые волосы, голубые глаза и хрупкое телосложение. Как считает сам де Сад, именно бабушкино воспитание развило в нем заложенные от природы недостатки: «В то время, когда отец мой был занят на переговорах, а мать моя последовала за ним, я был отправлен в Лангедок к бабушке, чья слепая нежность взлелеяла все те недостатки, в коих теперь я признаюсь», — напишет он в истории Валькура.

Отправив сына в деревню, граф де Сад возвратился в Париж, где пока еще никто не знал о его расставании с курфюрстом, ибо соответствующие бумаги он никому не показал и жалованье продолжал получать исправно. Постепенно в правительственных кругах начали расползаться слухи, что представитель Людовика, скомпрометировавший себя при кёльнском дворе, разжалован, но по-прежнему получает содержание, причитающееся послу. Это серьезное обвинение граф де Сад не смог полностью с себя снять, и оно стало одним из тех камешков, который, будучи положен в мешок фортуны Жана Батиста, постепенно утянул его на дно реки, именуемой немилостью двора. Непонятная история произошла и с секретарем кёльнского посольства: его обвинили в шпионаже, и, кажется, не без оснований. А шпион-подчиненный не мог не бросить тень на своего

начальника. Во всяком случае, история выходила странная и неприятная. Однако, прежде чем ею детально занялся департамент по иностранным делам, в феврале 1745 года граф де Сад сумел добиться нового назначения в Кёльн. Но стоило ему выехать к месту службы, как от курфюрста пришло официальное письмо министру с протестом против возвращения де Сада. Письмо стало сигналом к началу расследования, хотя вернуть графа было уже невозможно. Проезжая через владения австрийской императрицы Марии-Терезии, граф де Сад попал в плен к отряду пандуров, и те отвезли его в крепость Анвер.

Положению графа было не позавидовать. Австрия не являлась союзницей Франции. Курфюрст Климент Август вызывать его из плена не собирался, ибо граф сам попросил его об отставке и курфюрст полностью рассчитался с посланником. Французский двор, убедившись в некорректном поведении де Сада, также не предпринимал никаких шагов. Жан Батист был предоставлен самому себе. Правда, в крепости с ним обращались хорошо, как и подобает узнику его ранга, но освобождать не собирались. Имея возможность вести переписку, он интенсивно общался с оставшимися в Париже друзьями, был в курсе всех сплетен и новостей культурной жизни столицы, много читал, сочинял. Однако неопределенность положения угнетала его, а его корреспонденты не намеревались брать на себя бремя ходатайств и прошений.

Это бремя взяла на себя Мари-Элеонор. Супруга графа, родившая в 1746 году девочку, прожившую менее двух месяцев, собрала всю оставшуюся у нее энергию и пустилась в хождение по инстанциям, добиваясь освобождения мужа и выплаты ему жалованья. Но если первую ее просьбу встречали хотя бы с пониманием, то в ответ на вторую прозрачно намекали, что граф и так долго получал не принадлежавшее ему жалованье. Мари-Элеонор упорствовала, а когда убедилась, что во французских канцеляриях дело не движется с места, принялась осаждать австрийского посланника в Париже князя Кауница. Что побуждало ее столь энергично ходатайствовать за мужа? Неостывшие чувства? Или желание отвлечься от скорби о еще одном потерянном ребенке? Интересно, знал ли маленький Донасьен, что у него появилась сестра, но Господь быстро забрал ее к себе? А может быть, супругу графа одолевали банальные денежные проблемы? Ведь, кроме доходов супруга, у нее были только знатность и доброе имя. А Жан Батист в последнее время делал одни долги...

Борьба Мари-Элеонор за освобождение супруга чем-то напоминает борьбу супруги маркиза де Сада Рене-Пелажи за освобождение мужа.

Случайно или нет, но, как нам кажется, в судьбе Мари-Элеонор и Рене-Пелажи немало общего. Аристократка-бесприданница Мари-Элеонор подарила супругу знатное родство и связи. Родом из семьи «новых дворян», или «дворян мантии», Рене-Пелажи принесла супругу солидное приданое. Обе женщины любили своих мужей, обе были им верны; обеих мужья не выбирали и обеих не полюбили с первых дней супружеской жизни — и оба мужа как должное принимали заботы о себе. Обе супруги предпринимали утомительные демарши для освобождения своих мужей, и обе, когда мужья их оказались на свободе, ушли в монастырь. Желая сохранить остатки достояния для детей, Рене-Пелажи потребовала развода, Мари-Элеонор рассталась с мужем фактически. Маленького Донасьена воспитывали родственники со стороны отца, детей маркиза — родственники со стороны матери. Не правда ли, немало совпадений?

Благодаря энергии и активности жены, Жан Батист к концу года вышел на свободу. Более того, Мари-Элеонор удалось добиться небольших выплат — то ли в счет недоплаченного содержания, то ли просто из сострадания к ее плачевному положению. Вернувшись в Париж, граф употребил все силы для восстановления своего честного имени и поисков хотя бы какой-нибудь достойной должности, так как долги его были настолько велики, что ему стали отказывать в кредите. Но из департамента иностранных дел долетали исключительно ехидные реплики, на которые, по свидетельству современников, был весьма горазд бывший в то время министром иностранных дел маркиз Рене Луи д'Аржансон. В обществе де Сад по-прежнему считался креатурой клана Конде, у которого было полно врагов. А так как нападать на принцев крови всегда опасно, отыгрывались обычно на их приверженцах. Тем более что де Сад всегда был готов подать повод для нападения. Сочтя небольшие выплаты, полученные Мари-Элеонор, оскорбительными, он написал негодующее письмо д'Аржансону, но тот довольно резко напомнил графу, что в его положении надо довольствоваться тем, что дают.

Успешный дебют в придворной карьере привел к плачевному финалу: еще недавно успешный дипломат, де Сад попал в опалу, вокруг имени его циркулировали неприятные слухи, и хотя никто не упрекал его напрямую, за спиной у него все время шелестело подозрительное шушуканье. Исполнение временных поручений его не устраивало ни с материальной точки зрения, ни с моральной, а постоянного места ему никто не предлагал. Предвзятое отношение придворных можно было преодолеть единственным способом: получить отличие из рук короля, ибо истинный царедворец подобен флюгеру и смотрит в ту сторону, куда смотрит король. А король

своего недовольствия господину де Саду не высказывал и, возможно, даже не был в подробностях осведомлен о его неудачах. Людовик XV не любил заниматься управлением государством.

«Придворный со стажем», де Сад сделался раздражительным и еще более надменным, отчего стал совершать ошибки, зачастую непоправимые. В частности, сам того не заметив, он ухитрился оскорбить любовницу короля госпожу де Шатору, которая, разумеется, пожаловалась на обидчика венценосному возлюбленному. Еще хуже: об этом оскорблении де Сад узнал только из письма брата-аббата, которому, в свою очередь, сообщил об этом его старинный приятель по галантным похождениям герцог де Ришелье. К несчастью, письмо было получено в январе, когда мадам де Шатору уже не было в живых — она скоропостижно скончалась в декабре. Если бы не трагическая смерть королевской любовницы, возможно, обаятельный вельможа, каковым по-прежнему оставался граф де Сад, и вымолил бы себе прощение у очаровательной женщины и та заступилась бы за него перед королем. Но время ушло, и граф де Сад не мог не понимать, что, вызвав недовольствие короля, он бесповоротно положил конец своей карьере. Конечно, никто не закрывал перед ним дверей, но и не приглашал войти. Опала — это далеко не всегда Бастилия или изгнание, чаще всего это забвение: вас перестают приглашать на «нужные» приемы, с вами не хотят разговаривать, не принимают ваших приглашений, избегают вашего общества...

Почему, когда вокруг де Сада складывалась зона придворного отчуждения, его супруга не пустила в ход свои связи? Не хотела или не могла, исчерпав собственный кредит доверия во время борьбы за освобождение мужа из австрийского плена? На эти вопросы ответов нет, можно только предполагать: например, что Мари-Элеонор устала от постоянных неприятностей, причиняемых ей супругом, от его небрежного обращения с ней, от постоянного безденежья. Возможно, произошло столкновение двух гордых натур, и ни одна не пожелала уступить. Среди переписки графа де Сада нет ни его писем к жене, ни писем к нему Мари-Элеонор. Судя по всему, после возвращения де Сада в Париж супруги фактически живут в разводе, а в одном из писем к дяде, отправленном в ноябре 1752 года, Жан Батист говорит, что из экономии принял приглашение своей бывшей любовницы, мадемуазель де Шаролэ, и живет у нее. И хотя много лет назад разрыв их отношений сопровождался взаимными оскорблениями и обидами, мадемуазель де Шаролэ сохранила к пятидесятилетнему графу теплые дружеские чувства, которые станут ему поддержкой в его новом положении отвергнутого мужа (или наоборот,

мужа, отвергнувшего жену?) и придворного.

*

В борьбе за место под придворным солнцем граф успевал интересоваться сыном и с грустью узнавал, что бабушкино воспитание не пошло мальчику на пользу: Донасьен вертел старушкой как хотел, заставлял исполнять любые свои капризы. И граф попросил брата забрать Донасьена к себе в Соман. Понимая, что при далеко не целомудренном образе жизни, который вел его брат невзирая на духовный сан, Поль Альдонс не подходил на роль воспитателя юноши, граф решил нанять Донасьену гувернера. Ему рекомендовали аббата Жака Франсуа Амбле, обладавшего солидной теоретической подготовкой, но не имевшего церковной должности. Будучи нрава мягкого и даже меланхоличного, аббат де Сад согласился взять к себе племянника и принять Амбле в качестве гувернера.

Аббат прекрасно относился к Донасьену — а как еще можно было относиться к этому очаровательному голубоглазому и белокурому малышу? — но изменить ради него свой образ жизни был не готов. А это означало, что он не собирался ни изгонять из замка служанок, исполнявших одновременно роль любовниц, ни сокращать свои визиты в деревню, где у него также были дамы сердца. Любопытно: когда Донасьен станет жить в своем замке в Ла-Косте, он — возможно, следуя примеру дяди, — также окружит себя любовницами из простонародья. Наверное, это наследственная черта, ибо спустя несколько лет юный Донасьен, оправдывая собственное беспутство, напишет: «Простите мне мои заблуждения, это всего лишь отражение семейных умонастроений, и я могу упрекнуть себя только в том, что имел несчастье родиться в этой семье. Да хранит меня Господь от глупостей и пороков, кишащих в моем семействе. Я почти уверен, что стал бы добродетельным, ежели бы Господь по милости своей наделил бы меня только их частью». Подобно аббату, Донасьен станет искать плотских удовольствий у шлюх, а удовольствий интеллектуальных... Увы, в отличие от аббата де Сада, состоявшего в активной переписке с Вольтером и ученой мадам дю Шатле, среди окружения Донасьена не будет никого, равного ему по широте знаний и интеллекту. Верная супруга Рене-Пслажи, снабжавшая его в заточении книгами, была прилежной читательницей и обладала недурным литературным вкусом, однако и по количеству прочитанного, и по уровню

образованности до Донасьена ей было далеко. Наверное, только с кардиналом де Берни Донасьен чувствовал себя на равных. Но, как утверждают, их переписка надежно скрыта в архивах Ватикана.

Знакомство Донасьена с литературой началось с книг из любовно подобранной библиотеки аббата де Сада. Все пять лет, проведенные мальчиком у дяди, библиотека была в его распоряжении. Там он готовил уроки, там же впервые познакомился с таинствами и извращениями половой любви: у аббата-либертена было обширное собрание непристойных сочинений и гравюр, среди которых можно было обнаружить и известного своей безнравственностью «Картезианского привратника», приписываемого фантазиям адвоката парижского парламента Шарля Жервеза де Латуша, и сочинения Аретино с гравюрами Романо, и несколько фолиантов, посвященных флагеллантам и флагелляции, авторы которых пространно рассуждали на тему влияния бичевания на возбуждение полового чувства, *furia amorosa*. Возможно, именно потому, что с теорией получения наслаждения через боль Донасьен ознакомился в столь нежном и впечатлительном возрасте, она навсегда осталась у него в голове, вытеснив все остальные образы любовного чувства.

Книги эти стояли у аббата отдельно, в самом дальнем углу, но разве трудности, связанные с необходимостью забраться на верхнюю полку или быстро нырнуть под стол, чтобы спрятать запретный том, могли остановить десятилетнего мальчишку? Но этот мальчишка с удовольствием читал книги, являвшиеся, так сказать, «лицом» библиотеки аббата: греческих и латинских авторов, теологические трактаты, сочинения по истории и географии, научные труды и заметки путешественников, великих классиков прошлого века: Расина, Корнеля, Мольера, Буало, Малерба, Лафонтена и всемирно известного «Дон Кихота» Сервантеса. Аббат постоянно пополнял свою библиотеку, на ее полки вставляли сочинения Вольтера, Руссо, Дидро и многих других авторов, на которых был так богат XVIII век. Исторические анекдоты и волшебные сказки, мемуары и романы в письмах — целое богатство, отданное в полное распоряжение Донасьена! А еще он в любую минуту мог взять с полки одну из шести толстенных тетрадей, где были собраны архивные документы, относящиеся к его предкам, и проследить по ним историю своего рода. А еще мог устроиться в уголке и молча наблюдать за тем, как, любовно стряхнув пыль с древнего пергамента, дядюшка Поль Альдонс разворачивал его и, прищурившись, начинал шевелить губами, разбирая древний текст. Потом он разглаживал чистый лист, пристраивал рядом документ и, обмакнув перо в чернила, аккуратным

угловатым почерком начинал его переписывать. Помимо «Жизнеописания Петрарки», вместившего в себя не только биографию и анализ творчества великого поэта, но и богатейшие сведения по истории, политике и литературе Италии XIV века, аббат работал также над историей средневековой поэзии и историей деревни Соман.

Наверное, именно здесь, в Сомане, де Сад проникся страстью к письму, к процессу вождения пером по бумаге, и этот процесс стал доставлять ему истинное наслаждение. Возможно, при виде испещренного строчками листа бумаги у мальчика возникало ощущение, сходное с тем, которое охватывало не знавшего письменности туземца, завладевшего написанным документом: понимая, что бумага со значками является предметом совершенно особого, колдовского рода, туземец чувствовал себя приобщенным к чему-то непонятному, но очень важному. Почему подобные мысли и сравнения возникают именно в связи с де Садом? XVIII век оставил немало рукописных наследий, и наследие де Сада, включающее многочисленные черновики, варианты, подробные разъяснения и комментарии, не говоря уже о письмах и дневниках, наверняка принадлежит к одному из самых объемных. Возможно, только неугомонный Ретиф де ла Бретон, извечный ненавистник де Сада, исписал больше бумаги и извел больше чернил: за тридцать девять лет литературной жизни он издал сорок четыре сочинения общим объемом в сто восемьдесят семь томов и пятьдесят семь тысяч страниц. Правда, Ретиф освоил ремесло печатника и некоторые свои романы набирал сразу в металле. Говорят, печатный станок стоял непосредственно у его изголовья. Но Ретиф сочинял для заработка, а де Сад писал из желания писать: стремление получить признание как писателя пришло к нему далеко не сразу.

Пожалуй, никто, кроме де Сада, в таких масштабах не переписывал и не дописывал свои сочинения. Злоключения несчастной Жюстины де Сад рассказывал трижды, каждый раз дополняя изначальную канву новыми эпизодами страданий добродетельной девицы и практически дословно повторяя прежние эпизоды. А многочисленные повторы в планах, заметках, записках, повторы в философических рассуждениях, в «фигурах наслаждения», в сюжетах, в собственно действиях... Наверное, в наши дни маркиз стал бы успешным автором сериалов... Но быть трудоголиком, неугомонным работником гусиного пера такой своенравный человек, как де Сад, мог только в том случае, если эта работа доставляла ему удовольствие, — господин маркиз не поступался своими желаниями даже ради собственной выгоды. Следовательно, прежде всего письмо, а потом уже

сочинительство (темы и сюжеты де Сада достаточно однообразны) позволяло ему реализовать жизненные потребности, становилось для него отдушиной. В «адских» романах де Сада его герои-либертены изливают потоки спермы, но она не оплодотворяет никого, так как процесс оплодотворения, создания новой жизни либертенам особенно ненавистен. Де Сад изливал на бумагу моря чернил, оплодотворявших эту бумагу, рождавших материальную оболочку авторской мысли, авторской фантазии. Быть может, письмо служило де Саду своего рода сублимацией полового акта, сублимацией приятной, легкой и радостной — в отличие от физиологического процесса, который с возрастом приобретал у де Сада все более болезненный характер.

Но вернемся в Соман, где маленький Донасьен усваивал первые уроки книжной премудрости и взрослой жизни. Знакомство с Соманом — один из таких уроков. С детства проживая в столице, во дворце с большими светлыми окнами, с картинами и мраморными скульптурами, с прекрасным парком, мальчик наверняка полагал, что все дворцы и замки такие же большие и светлые. По крайней мере, его замок, — а он знал, что Соман принадлежит его семье, — должен был быть именно таким, то есть ничуть не хуже замка принца, а даже еще лучше. Вряд ли Соман оправдал ожидания мальчика. Но, бесспорно, он произвел на него неизгладимое впечатление, сравнимое с впечатлениями от трактатов по бичеванию: образ Сомана, этой отрезанной от мира феодальной твердыни, он пронесет через всю свою жизнь, Соман станет прообразом уединенных замков, где его персонажи, разбойники и либертены, станут справлять свои садические оргии. Глубокие погреба и потайные подземные галереи замка, сооруженные в XIII веке, лишенные света и воздуха камеры наверняка поразили маленького Донасьена в самое сердце. Тем более если в них он увидел цепи, некогда надетые на несчастных узников, томившихся там без надежды на освобождение. Либертены де Сада мучают свои жертвы в глубоких подвалах, откуда наружу не доносится ни единого звука. Быть может, во время осмотра замка маленького Донасьена случайно потеряли в одной из подземных камер: забыли, закрыли вход, унесли фонарь... Или он сам, невзирая на запреты, пробрался в подземелье, заблудился там и, холодея от страха, в отчаянии звал на помощь, в глубине души понимая, что толстые каменные стены не пропускают его слабый детский голос. А когда он это осознал, то внезапно замолчал и в наступившей тишине увидел перед собой жуткие призраки замученных жертв...

Соман — древний укрепленный замок, *castrum*, выстроенный на неприступном скалистом утесе, настоящее орлиное гнездо. В средние века

на юге Франции таких крепостей было множество, но в течение кровавых Альбигойских войн начала XIII века большая часть их была разрушена. Замок, сооруженный в XII столетии, был перестроен в XIV—XV веках и с тех пор не менялся, а только лишь ветшал. Сложенный из тесаных каменных глыб двухметровой толщины, с небольшими окнами, амбразурами для пушек, с дозорной дорожкой, с гладким фасадом, по которому может забраться только ящерица, с закрытыми подъемной решеткой проездными воротами, с мостом, переброшенным через выбитый в скале ров, Соман являет собой поистине неприступную твердыню. В сумрачную погоду стены его кажутся серыми и унылыми, но когда светит солнце, серый цвет приобретает на удивление теплый золотистый оттенок, а растущие вокруг замка деревья смягчают его суровый облик.

Со стен замка видны расположившиеся у подножия утеса деревни, а дальше раскинулись массив Альпий, плато Люберон и Севеннские горы, густо поросшие мрачным лесом, который даже в жаркую солнечную погоду не меняет своих черных и иссиня-зеленых красок. Иными словами, пейзаж вполне в духе готического романа: «...вокруг высились сосны и кипарисы, темнели голые и обрывистые утесы, откуда доносилось рокотание сбегавших в долину горных потоков. Дикая растительность окружала сие уединенное пристанище...» Внутри замок выглядел менее сурово, тем более что аббат произвел в нем кое-какие работы: расширил окна, украсил комнаты, оборудовал кабинет редкостей. Но зимой в замке явно было невесело. Зимы в то время стояли довольно холодные — например, в 1745 году температура опускалась до минус двенадцати, а в 1788-м — даже до минус восемнадцати градусов! А если при такой температуре свирепствует нередкий в Провансе мистраль, ветер, дующий с побережья Северной Африки, но успевающий изрядно остыть по дороге, то носа на улицу без особой нужды не высунешь. Наверное, в такое холодное и мрачное время Соман действительно походил на тюрьму, добровольными узниками которой становились его обитатели. Аббат чередовал ученые занятия с любовными утехами, маленький Донасьен внимал урокам своего наставника, аббата Амбле, а две или три служанки, как могли, обслуживали эту маленькую мужскую компанию. И так изо дня в день, пока солнце не отпирало двери замка и не выпускало его обитателей наружу.

С наступлением солнечной погоды дети высыпали из домов на улицы, и маленький Донасьен не был исключением. Здесь, в глуши, у него не было товарищей для игр, равных ему по рождению, и ему приходилось довольствоваться обществом детей окрестных фермеров. От них он научился сочному провансальскому языку, любовь к которому сохранил на

всю жизнь, а при случае даже писал на нем письма. По отношению к своим товарищам Донасьен занимал такое же, если не более высокое, положение, какое занимал по отношению к нему маленький Конде, и Донасьен наверняка давал это почувствовать. Быть может, ему доводилось даже драться, хотя новые друзья Донасьена знали, что имеют дело со своим будущим сеньором и вряд ли позволяли себе удовольствие колотить его. Вскоре будущий сеньор свел дружбу с сыном управляющего имуществом графа де Сада, своим ровесником Гаспаром Франсуа Гофриди. С ним Донасьен прекрасно ладил, и приятели нередко совершали дальние прогулки по окрестностям Сомана и даже навещали бабушку д'Астуо в Ла-Косте.

Таким образом, оказалось, что в свои десять лет маленький Донасьен, в сущности, общался со сверстниками, бывшими ниже его по положению, а, значит, мог в полной мере наслаждаться преимуществами, связанными с высоким титулом. Единственный опыт общения со знатным отпрыском, а именно малолетним принцем Конде, окончился неудачей, зато потом Донасьен успешно разыгрывал принца по отношению к своим деревенским товарищам по детским играм. Впоследствии общение с людьми из третьего сословия, с простолюдинами вошло у него в привычку. С ними он чувствовал себя королем, но не государем из дорогих его сердцу времен феодализма, когда суверен был всего лишь первым среди равных, а не абсолютным монархом, облеченным властью карать и миловать и не имеющим себе равных.

Равенство для него всегда было категорией эфемерной. В период постреволюционных катаклизмов он писал в романе «Жюльетта»: «Равенство, провозглашенное революцией, — это просто месть слабого сильному, сегодня мы видим то же самое, что было в прошлом, только в перевернутом виде».

В отличие от отца среди своих корреспондентов по обильной переписке Донасьен не имел ни герцогов, ни принцев крови, ни родовитых аристократов, к которым принадлежал он сам, — разумеется, если не считать министров и должностных лиц, которым де Сад направлял многочисленные жалобы и прошения. Донасьена, этого яростного приверженца кастовых предрассудков, в повседневной жизни окружали недавно анноблированные дворяне, к которым принадлежала семья его жены и ее многочисленные родственники, и лакеи-простолудины, среди которых он станет подбирать себе товарищей для эротических походов. Среди его любовниц не будет даже высокопоставленных особ, чьей благосклонности постоянно добивался его отец. Но где бы де Сад ни

оказывался, в тюремном застенке или на почтовой станции, он везде требовал для себя привилегий и почестей, подобающих знати. Из знатных дворянских фамилий, занесенных в его записную книжку, в которой он отмечал имена тех, кому наносил визиты и кто бывал у него, постоянно фигурировали только его бывший начальник, полковник маркиз де Пуайян, и министр Королевского дома Сен-Флорантен, которому семья де Сада была многим обязана: министр не раз помогал маркизу ускользать от судебной власти.

Оружием де Сада всегда была трость, которой можно побить слугу, трактирщика или полицейского, его сарказмы и инвективы в адрес высокопоставленных чиновников часто переходили в площадную брань. О дуэли, традиционном ответе дворянина на оскорбление, полученное от равного по рождению, де Сад устами своих либертенгов отзывался так: «Чистейшее сумасшествие — рисковать своей жизнью в одиночном бою с человеком, который оскорбил нас. Почему я должен поставить себя в положение, из которого... вообще могу не выйти живым? <...> Пусть обидчик приходит к месту дуэли голым, а оскорбленная сторона облачится в железные доспехи — этого требует разум и законы здравого смысла. Пресловутый кодекс чести надо изменить и предписать, если уж так необходима эта дуэль, чтобы обидчик был лишен возможности еще раз нанести вам ущерб». Сам де Сад никогда никого не вызывал на дуэль, зато часто грозил поколотить обидчика палкой. Так дворяне поступали с оскорбившими их простолюдинами. Симпатий к третьему сословию де Сад не питал никогда, о чем свидетельствует ставший классическим пассаж из письма к Гофриди, в котором де Сад отзывался о не угодивших ему селянах Ла-Коста: «Я убедился, что жители Ла-Коста — сплошные висельники, и, разумеется, настанет день, когда я скажу им все, что я о них думаю, выкажу все свое к ним презрение. Уверяю вас, если бы их всех, одного за другим, стали поджаривать на костре, я бы не моргнув глазом начал подбрасывать в сей костер хворост». Остается только гадать, каким страшным испытанием стала для де Сада революция, когда к власти пришли люди, с которыми маркиз всегда общался свысока, и когда он неожиданно был вынужден — хотя бы внешне, формально — признавать их главенство. Но до начала революции еще далеко, а потому вернемся к маркизу, каким он предстает перед нами в десять лет.

Отправляясь в свободную минуту на прогулку, аббат брал с собой Донасьена, и они направляли свои стопы в деревушку Л'Иль-сюр-Сорг и дальше, к знаменитому порогу, чаще всего именуемому водопадом, где изумрудная вода Сорга, переливаясь через скалистые уступы, с грохотом

падает на огромные, поросшие мхом камни. Неподалеку отсюда, в окружении прекрасного сада, некогда стоял домик Петрарки, где поэт, укрывшись от мирской суеты, сочинял свои знаменитые сонеты. Впрочем, здешние места так красивы, что говорить стихами тянет даже тех, кто никогда не срифмовал ни строчки. Может, образ Белой Дамы Лор, Петрарковой Лауры, покровительницы рода де Садов, возник именно здесь, возле водопада, когда кому-то из предков Донасьена в сверкающих брызгах падающей воды явился прекрасный призрак, сотканный из белых пенных кружев...

Иногда дядя с племянником и аббатом Амбле ездили за новостями в Авиньон, но такие поездки бывали крайне редко: путь не близкий, да и дорога трудная. Столичные новости доходили до Сомана еще реже, а когда приходили, аббат всякий раз вздыхал и задумчиво изрекал: «Я недостаточно богат, чтобы наслаждаться теми радостями, которые предоставляет нам Париж». Он был бы не прочь съездить в столицу развлечься, но такая поездка действительно требовала много средств, а их у аббата всегда не хватало. Для пополнения кошелька Поль Альдонс отправлялся в аббатство Эб-рей, в котором он являлся аббатом-коммендатарием. Должность, именовавшаяся комендой, приносила пожизненный доход, но аббат де Сад исполнял ее скверно, и через некоторое время аббатство оказалось на грани нищеты. Но Поля Альдонса де Сада это нисколько не волновало. Иногда аббат брал с собой в эти поездки Донасьена, и тот уже в детстве получил возможность познакомиться с монастырской жизнью, мелочный регламент которой необычайно поразил его. В романах де Сада монастырь — наряду с замком — станет прибежищем организованного разврата и преступления: в «Жюстине» он будет долго и в мельчайших подробностях расписывать жизнь монахов-развратников монастыря в Сент-Мари-де-Буа, в «Жюльетте» — описывать мрачный склеп аббатства Пандемон, где Жюльетта делала первые шаги на поприще либертинажа.

Детские годы, проведенные во дворце Конде, а потом в провансальской «глубинке», наложили неизгладимый отпечаток на всю последующую жизнь Донасьена и причудливым образом отразились в его романах. В силу юного возраста воспитание мальчика во дворце Конде было по преимуществу женским, хотя и не без мужского участия — в частности, уже упоминавшегося графа де Шаролэ. Воспитательная роль матери, проживавшей во дворце вместе с сыном, по-видимому, была не слишком велика — как в силу устоявшегося обычая поручать детей гувернанткам, так и в силу особенностей ее характера, о котором мы можем

только догадываться.

Кратковременное пребывание у бабушки, во время которого капризный и своенравный характер Донасьена проявился в полной мере, сменилось мужским обществом: дяди-аббата и гувернера аббата Амбле. Обладатель прекрасных характеристик, хорошо образованный, аббат Амбле выполнил свою задачу — привил мальчику любовь если не к наукам, то к вдумчивому чтению. Неясно, занимался ли гувернер со своим подопечным живыми иностранными языками или обучал его только начаткам латыни. Ведь итальянский Амбле знал превосходно! Сам де Сад писал, что он изучал иностранные языки при помощи своих любовниц. Так, немецкий он выучил во время Семилетней войны, когда его полк квартировал в одном из германских городков, а итальянский — во время путешествия по Италии. Но, похоже, особого пристрастия к языкам у Донасьена не было. В опубликованном списке книг, составлявших его обширную библиотеку в Ла-Косте, среди более чем шести сотен названий всего две книги на латыни — эротическая поэма в диалогах «Дамская Академия, или Галантные беседы Алоизии» (1680) гренобльского эрудита и либертена Никола Шорье, оказавшая влияние на структуру любимого творения де Сада «Сто двадцать дней Содома», и «История пап» Баттисты Платины (1479). Еще имелся путеводитель по Италии на итальянском языке и труды итальянца Джованни Ботгеро в оригинале. Сочинения иностранных авторов, которых в его библиотеке было немало, представлены в переводах на французский. Впрочем, во времена де Сада, когда языком Просвещения и просвещенных людей был французский, когда Париж являлся законодателем мод и литературных вкусов, Донасьен в своих штудиях вполне мог обходиться французским и латынью. Живое общение... что ж, де Сад и по натуре, и в силу обстоятельств был не слишком общителен. А из отзывов де Сада о новинках английской литературы можно сделать вывод, что при возможности он знакомился с ними, не дожидаясь перевода на французский.

За время, проведенное в Сомане, Донасьен из ребенка превратился в отрока, сообразительного, наблюдательного и своевольного. Он не только освоил местное провансальское наречие, но и навечно проникся любовью к цветущему солнечному краю, где весной воздух напоен ароматами лаванды и миндаля, а летом дрожит от зноя, искажая контуры привычных предметов. Рожденный в Париже, Донасьен в отличие от отца никогда не чувствовал себя парижанином и всегда был уверен, что только коварство фортуны мешает ему уехать в Прованс, чтобы поселиться там окончательно. В Сомане Донасьен по книгам познакомился с физиологией

страсти — а возможно, и не только по книгам, ибо в знойном краю, в доме любвеобильного дядюшки, в играх с деревенскими мальчишками у него наверняка была возможность и подсмотреть, и увидеть случайно не одну любовную сцену. Малочисленное сообщество обитателей замка, постоянный круг приятелей из детей местных фермеров, среди которых он чувствовал себя королем, сформировали в нем вспыльчивого деспота, привыкшего повелевать своими подданными. Древний замок сумел внушить ему страх одиночества и одновременно уверенность в том, что его толстые стены могут защитить от напастей, грядущих извне и готовых разрушить его удобный мирок. А этого он, пожалуй, боялся больше всего. Недаром впоследствии стены Ла-Коста будут казаться ему лучшей защитой от судебных приставов.

И видимо, здесь же, в Сомане, следует искать и истоки воинствующего отрицания Бога, красной нитью проходящего по всем его сочинениям. Первое, что приходит в голову, — это беспечность аббата де Сада, допускавшего вольности в соблюдении обрядов, высказываниях и поступках, несколько не соответствовавших его сану. Аббат Амбле вряд ли был воинствующим атеистом, скорее всего, он традиционно обучал Донасьена основам катехизиса, но смысленный мальчик вполне мог подметить разницу между теми истинами, которые внушал ему гувернер, и тем, что говорил и как поступал его дядя, тоже аббат. В одном из фолиантов дядиной библиотеки Донасьен вполне мог прочесть про резню, учиненную два века назад здесь, в Воклюзе, в деревнях Кабриер и Мерендоль, бароном Менье д'Оппедом, возглавлявшим карательную экспедицию, посланную двором против вальденских еретиков. В записных книжках де Сада сохранился набросок под названием «Мерендоль, Кабриер и истребление вальденсов»: «...Детей вырывали из материнских рук, солдаты из Пьемонта перебрасывали их друг другу, а потом ловили на острия своих копий. Некоторые из несчастных женщин, обезумев от отчаяния, хватали наставленные на них копыя и сами погружали их себе в сердце. И все это происходило во имя Господа, призывавшего к миру...» Хроники времен религиозных войн, без сомнения, произвели сильное впечатление на мальчика и повлияли на его отношение к религии.

А продолжение противостояния протестантов и католиков, можно сказать, происходило на глазах у Донасьена. Численность протестантского населения окрестных деревень часто доходила до пятидесяти процентов, а в Лакосте даже превышала эту цифру. В 1685 году Людовик XIV отменил выстраданный в результате религиозных войн Нантский эдикт, одним росчерком пера вернув государству моноконфессиональность. Около

двухсот тысяч протестантов тотчас покинули страну, а те, кто остались, подверглись административным притеснениям. Но в глубинке, подальше от королевских взоров, протестанты продолжали жить по своим законам и даже строили свои храмы. Люди в основном состоятельные и работающие, они пользовались уважением сограждан-католиков, в то время как местные кюре часто не обладали никаким авторитетом. Каждую годовщину Варфоломеевской ночи Вольтер чувствовал себя больным. Читая описания зверств во имя Господа, впечатлительный Донасьен мог заболеть на всю жизнь, на всю жизнь заразиться страхом перед жестокостью Господа, и в дальнейшем, отрицая и оскорбляя Бога, де Сад, возможно, отчаянно пытался перебороть этот детский страх.

Либертен де Сада усиленно богохульствуют, но можно ли из этого делать вывод, что де Сад был атеистом? Атеист не верит в Бога, для него небытие Бога является аксиомой, ее не стоит даже обсуждать. «Дай нам Бог время от времени видеть хоть какое-нибудь кошунство! Это доказывало бы, что о нас, по крайней мере, думают. Но нам забывают даже оказывать неуважение!» — восклицал некий епископ, современник маркиза, сокрушаясь об охватившей Париж эпидемии атеизма. Но де Сад именно обсуждает, рассуждает, кошунствует, богохульствует и отрицает существование Бога во всех своих книгах и высказываниях. Создается впечатление, что он все время кого-то в этом убеждает, а так как из всех мнений маркиз выше всего ценил свое собственное, не приводил ли он эти доводы прежде всего для самого себя? Не означало ли это постоянное отрицание — в душе ли, в подсознании ли — наличие под собой вполне определенного субстрата?

В статье «Нужно ли аутодафе?», написанной в начале 1950-х годов, Симона де Бовуар сожалела, что нам ничего не известно о детских и юношеских годах де Сада, в которых кроются истоки его творчества и его судьбы. С тех пор положение изменилось: благодаря работе целой плеяды исследователей было опубликовано множество архивных документов, приоткрывших завесу над детскими и юношескими годами маркиза де Сада. Поэтому можно сказать, что если хрупкий и впечатлительный мальчик Донасьен Альфонс Франсуа де Сад родился в Париже, то печально известный «божественный» маркиз де Сад родился в Сомане, и у колыбели его стоял дядя, аббат-либертен Поль Альдонс де Сад. «Хотя он и священник, вместе с ним всегда проживает парочка шлюх. Похож ли его замок на сераль? Нет, он напоминает гораздо более замечательное заведение: бордель», — напишет в одном из писем Донасьен о жилище дядюшки.

Глава II.

ГОДЫ УЧЕБЫ

Когда Донасьену исполнилось десять лет, граф де Сад решил забрать сына из Сомана и отдать его в знаменитый парижский коллеж Людовика Великого: честолюбивые замыслы графа, связанные с сыном, можно было осуществить только в Париже. Основанный в 1560 году епископом Клермонским, коллеж с самого основания и по 1762 год находился под эгидой иезуитов. В XVII—XVIII веках коллеж пользовался королевским покровительством, и знатнейшие фамилии Франции отдавали в него своих отпрысков: Конти, Буйоны, Субизы, Виллары, Монморанси. Но отцы-иезуиты принимали на обучение и неродовитых дворян, и детей из состоятельных семей третьего сословия. Поэтому среди выпускников коллежа мы видим разных по происхождению, но исключительно талантливых людей: Сирано де Бержерака, Мольера, Дидро, Вольтера, Максимилиана Робеспьера, Камилла Демулена (список можно продолжить). Иезуиты блестяще преподавали латынь, греческий и риторику, ввели в программу математику, большое внимание уделяли школьному театру: ставили трагедии, комедии, пасторали и оперы на поучительные сюжеты, сочиненные в основном самими преподавателями. Коллеж стал также «кузницей дипломатических кадров» для Ближнего Востока: там преподавали турецкий, персидский и арабский языки.

Донасьен знал, зачем его везут в столицу и где ему предстоит учиться, и это знание наполняло его сердце законной гордостью. Где еще может учиться отпрыск старинного рода де Сад, если не в самом известном и самом дорогом парижском коллеже? Мысли сопровождавшего его аббата Амбле были значительно менее радужными: если за годы, когда он целиком занимался своим воспитанником, жалование ему платили далеко не регулярно, как будут обстоять дела теперь? Аббат де Сад по секрету шепнул ему, что если отец Донасьена и дальше будет испытывать финансовые затруднения, то из экономии мальчика отправят на учебу в Лион. Но куда бы ни отослали Донасьена, аббат Амбле не был намерен его покидать: за время, проведенное в Сомане, он успел искренне привязаться к своему сообразительному и своевольному подопечному. А на страницах «Алины и Валькура» де Сад напишет: «В Париж я вернулся продолжать учение под руководством умного и твердого характером человека, словно

созданного для того, чтобы сформировать мой юношеский характер; к несчастью, я вскоре лишился его».

Судя по тому, что Донасьен жил то у аббата Амбле, то у матери во дворце Конце, граф де Сад определил его в коллеж приходящим учеником. Плата за пансион составляла четыре тысячи ливров в год, и за эти деньги ученики жили в общих комнатах. Дети же богатых родителей, желавшие иметь отдельную комнату и собственного лакея, платили значительно больше. Не имея возможности удовлетворить честолюбие Донасьена — да и свое тоже — и поселить его в отдельной комнате с лакеем, граф, видимо, выхлопотал ему что-то вроде свободного посещения. Некогда Жан Батист состоял в дружеских отношениях с одним из наиболее почтенных и уважаемых преподавателей коллежа, а именно с отцом Турнемином (среди его учеников прошлых лет был юный Аруэ), и теперь это помогло ему в устройстве сына.

Поклонник театральных зрелищ, Донасьен не мог равнодушно пройти мимо «самодеятельности» — театральных постановок, участие в которых было не только почетно, но и требовало большой самоотдачи. Ученикам приходилось разучивать даже балетные номера; поэтому подготовка к спектаклям (а готовили сразу две-три пьесы) продолжалась в течение всего учебного года. Для участия в спектаклях отбирали лучших учеников, а за три с небольшим года пребывания в коллеже имя Донасьена ни разу не было замечено ни в списках лучших, ни среди награжденных. Но он стал благодарным зрителем: любовь к театру, страсть к театральному пространству, театральным декорациям осталась у него на всю жизнь. Позднее эта страсть получила свое выражение как в создании множества пьес, большая часть которых утеряна, так и в яростной, но изначально обреченной борьбе за их постановку на сцене — амплуа интригана де Саду не давалось никогда: он привык говорить, что думал, а если лгал, то чаще всего спонтанно.

Театральное действо легло в основу садического либертинажа; организация театра стала главным развлечением де Сада в провинции; руководство театром в лечебнице для умалишенных в Шарантоне прославило заведение, где принудительно содержался маркиз. Де Сад с равным удовольствием придумывал декорации и для своих спектаклей, и для сцен изощренного распутства в своих романах. Сложные приспособления для получения наслаждения, хитроумные машины для совершения преступлений, описанные де Садом, более всего напоминали театральные декорации. В «Преуспеваниях порока» он представил настоящий театр преступлений, устроенный королем-развратником

Фердинандом. «Зал напоминал громадный театр, — рассказывала Жюльетта, — где мы увидели семь различной формы приспособлений, служивших для умерщвления людей различными способами. Первое предназначалось для сжигания заживо, второе — для порки, третье — для повешенья, четвертое представляло собой адское колесо, пятое — кол, на который усаживали жертву, шестое служило для усекновения головы, седьмое — для разрубания на куски». Каждому гостю была отведена отдельная ложа, украшенная десятками портретов детей неземной красоты, и из-под каждого портрета свисал шнурок. Стоило гостю дернуть за этот шнурок, как перед ним появлялась выбранная им жертва, с которой он мог расправиться по своему усмотрению. В этом жестоком театре марионеток де Сад выступал кукловодом.

Есть основания полагать, что в коллеже, помимо пристрастия к театру, Донасьен впервые приобщился к гомосексуальным отношениям, так как процветание содомии в закрытых учебных заведениях, а особенно, по мнению общества, в коллежах иезуитов, ни для кого не было секретом. В своем «Философском словаре» (1764), в статье под названием «Сократическая любовь», Вольтер определил гомосексуализм именно как случайно-вынужденную любовь, возникающую в коллективах молодых людей: «Воспитываясь вместе, молодые люди, почувствовав силу, кою пробуждает в них природа, но не найдя предмета своего влечения, направляют внимание на того, кто предмету сему подобен. Часто юноша нежностью кожи, свежестью красок лица и кротостью взора напоминает прекрасную девушку, и если к нему начинают относиться с любовью, значит, природа совершила ошибку; такая любовь отдает дань женскому полу, ибо обычно привязываются к тем, кто обладает достоинствами этого пола, а когда с возрастом сходство сие проходит, наступает прозрение».

Церковь издавна преследовала содомитов и приговаривала их к сожжению. К счастью, предписания эти исполнялись редко. Но если дело все же доходило до костра, обвиняемый обычно оказывался повинным еще и в иных тяжких преступлениях — убийствах, насилии или воровстве. В XVIII веке костер как мера наказания отошел в прошлое, а гомосексуализм из преступления против Церкви и религии перешел в разряд преступлений против государства и порядка и подлежал ведению гражданских судебных властей. Бунтарь против Неба постепенно превращался в банального развратника, скрывавшего свои похождения от пристального внимания полиции.

Несмотря на вводимые в своих коллежах новшества в преподавании различных предметов, в области наказаний иезуиты традиционно

придерживались наказаний розгами. В то время розга в руках учителя была повсюду: и при школьном, и при домашнем обучении. Пощечины унижали достоинство, розги устанавливали равенство: ими наказывали всех, не исключая юных принцев крови. Случалось, ученики протестовали против наказаний, особенно когда считали их несправедливыми. Так, в иезуитском коллеже Ла Флеш один из учеников выстрелил в приблизившегося к нему с розгой педеля и убил его, а следующим выстрелом покончил с прибывшим на помощь полицейским. И все воспитанники встали на защиту своего товарища. Чтобы избежать подобных случаев, предлагалось обезличить наказание. На одной из гравюр того времени можно видеть модель универсальной машины для наказания розгами: огромное колесо с двумя пучками розог крутится и через равные промежутки времени наносит удары ученику, лежащему на скамеечке справа, и ученице на скамеечке слева.

Порка могла не только ожесточить ученика, но и пробудить в нем половое возбуждение. Возможно, именно в коллеже Донасьен впервые обнаружил, что боль, возникающая при битье розгами, доставляет ему ни с чем не сравнимое удовольствие. Розги пробудили его анальную эротическую чувствительность, и с тех пор наибольшее сексуальное удовольствие он будет получать именно от содомских сношений, как гомосексуальных, так и гетеросексуальных. Как в дальнейшем зафиксируют полицейские протоколы, для получения полного удовлетворения де Саду нужно будет не только стегать розгами своего партнера, но и требовать от него аналогичных услуг для себя. (Пол партнеров значения не имел, а вот число, кажется, имело: в юности де Сад нередко устраивал оргии.)

Разнообразные способы получения сексуального наслаждения, ради которого живут садические герои-либертены, основаны как на причинении страданий, собственно садизме, так и на претерпевании страданий, отчего тело либертена становится универсальным инструментом для любых извращений. Возможно, что подвергнутое испытанию розгами тело юного Донасьена кожей своей навсегда запомнило те яркие и яростные ощущения, которые несла с собой розга, и стало требовать подобных.

Следующим шагом юного маркиза по пути порочных сексуальных забав стало пристрастие к пассивной, мазохистской роли в гомосексуальном акте. Либертены де Сада испытывали не только тела своих жертв, не только над ними ставили свои садические опыты по расчленению, разрезанию, разрыванию — в четвертой части «Ста двадцати дней Содома» помещен список сорока восьми смертельных страстей, иначе

говоря, пыток, которым подвергали жертвы. Либертен экспериментировал и с собственным телом, бичуя его, заставляя принимать разнообразные позы и втискивая его части в различные отверстия. Но, в отличие от жертв, любая боль лишь увеличивала степень получаемого либертенем наслаждения. Возможно, исследуя собственное тело, Донасьен обнаружил, что пробудить его могут только испытания, необычные практики, которым он должен его подвергать.

*

Однако жизнь ученика коллежа — это не только учеба, но и каникулы, наступающие в приятном теплом августе и ласковом нежарком сентябре. Каникулы — это всегда что-то новое, необычное. Полученные на каникулах новые впечатления оказали большое влияние на юного де Сада, превратили его из вспыльчивого и застенчивого подростка в самоуверенного молодого человека, уверенно идущего на поводу у своих дурных наклонностей и всегда готового найти для них достойное объяснение.

В сопровождении верного наставника аббата Амбле Донасьен проводил каникулы вдали от Парижа — в Шампани, в замке Лонжевиль, «древнем, зато с новыми кроватями и молодыми мыслями», как сказал о нем граф де Сад. Владелица замка мадам де Раймон, вдова графа де Раймона, прежде была любовницей Жана Батиста. Здесь вновь приходится вспомнить об удивительном даре де Сада-отца превращать брошенных им женщин в верных друзей, питающих к своему бывшему возлюбленному исключительно теплые чувства. После разрыва их отношений мадам Раймон продолжала любить графа, а потом, когда ей представили подростка Донасьена, перенесла свою любовь на него. Она называла его своим или «нашим» сыном, «милым ребенком»; пишут, что Донасьен отвечал ей такой же любовью и даже называл ее матерью.

О взаимоотношениях Донасьена с его собственной матерью в это время ничего не известно. Неизвестно также, поддерживал ли отношения с женой и граф де Сад.

Несмотря на денежные затруднения, граф де Сад продолжал вести активную светскую жизнь, посещал театры и приемы, был в курсе всех светских новостей: мадам такая-то скончалась; господин такой-то тяжело заболел; молодой принц Конде женился на мадемуазель де Субиз; граф де Шаролэ должен отчитаться за свое опекунство перед королевским советом,

но граф желает дожидаться заседания парламента; из двух претендентов, выдвинутых в Академию, Бюффон одержала победу над Бугенвилем... Письма графа той поры напоминают раздел светской хроники в каком-нибудь королевском альманахе. Придворный до мозга костей, хотя сам в этом он и не признавался, граф жаждал раздобыть денег на веселую парижскую жизнь и даже начал переговоры по продаже Сомана. К счастью, на замок не нашлось покупателей, хотя есть основания полагать, что в конце концов граф отменил бы сделку: он слишком хорошо относился к брату, чтобы лишать его жилья.

Финансовые сложности, связанные с необходимостью содержать в Париже Донасьена, все больше превращали графа в философа, в его письмах среди светской хроники начали проскальзывать философические строки: «...с каждым днем я все больше чувствую, сколь ограничен наш ум. Нет предела несовершенства человека, его добродетели преходящи, а способности посредственны. В основе человеческого характера лежит исключительно самолюбие. Достоинство, доблесть, способность совершать великие дела, злоязычие, клевета, ложь, ярость, язвительные насмешки, нескромность, зависть к благосостоянию другого — все это порождение тщеславия. <...> Все то долгое время, что я живу на этом свете, я изучаю людей. Но чем больше я их изучаю, тем меньше я их знаю и тем меньше мне хочется узнавать их. Выигрываем ли мы от того, что углубляем наши знания о людях? Мы лишь учимся их презирать, но сей результат плачевен, ибо мы вряд ли сможем обойтись без людей, чье общество необходимо для нашего счастья». Желая утешить философа от несчастья, бывшая любовница графа маркиза де Вернуйе, подруга мадам де Раймон и первая (и возможно, единственная платоническая) возлюбленная Донасьена, писала Жану Батисту: «Вы очаровательны, мой дорогой граф. Вы с одинаковой легкостью говорите на всех языках. Кем бы вы ни хотели предстать перед нами: поэтом, философом или повесой, — вас всегда приятно слушать».

Блистательная де Вернуйе, в списке любовников которой числился знаменитый либертен герцог де Ришелье, не могла не привлечь внимания Донасьена. Ее появление впервые вызвало у тринадцатилетнего подростка сердечное волнение. Пробуждение чувств хрупкого мальчика с ангельской внешностью забавляло мадам де Вернуйе, и она нередко подшучивала над его робкими комплиментами и приступами ревности. Именно она назвала Донасьена «необычным мальчиком». Дамы же, составлявшие избранное лонжевильское общество, были и вовсе без ума от голубоглазого Донасьена, открыто восхищались им и возились с ним как с куклой, пробуя

на нем различные кремы и притирания. Можно только представить, какие чувства испытывал мальчик в окружении остроумных и привлекательных женщин в несколько раз его старше, которые кокетничали с ним то ли ради забавы, то ли получая удовольствие от его смущения. Принимая во внимание, что идеалом той эпохи были вечно юная красавица и мужчина-херувим, можно сказать, что к тринадцати годам тогдашние мальчики успевали накопить изрядный любовный опыт в объятиях выдавших виды красавиц — вспомним Казанову, герцога де Лозена, Ретифа де ла Бретона... И нет ничего удивительного, если кто-то из лонжевильских прекрасных дам приобщил Донасьена к служению Венере, и молодой человек получил возможность сравнить, на какие из любовных техник активнее всего отзывалось его тело. Во всяком случае, отсутствие занятий и режима, всеобщее обожание и исполнение всех желаний не нравиться Донасьену не могли. Какой же школяр не любит каникул?

Немного статистики к сказанному выше: в 1789 году сорок процентов населения Франции составляли лица до двадцати лет, и только восемь процентов — старше шестидесяти.

Каждый раз, когда приходила пора возвращаться в Париж, к отцу Донасьена летели письма мадам де Раймон с единственным вопросом: «Неужели вы будете столь жестоки и увезете от меня моего мальчика, лишите меня единственной отрады? Умоляю вас, подождите забирать его, оставьте его у меня еще хотя бы ненадолго...»

Смогли ли женщины замка Лонжевиль заменить Донасьену мать, материнские ласки и наставления? Судя по сохранившимся обрывочным сведениям, положение нелюбимой жены способствовало развитию у Мари-Элеонор характера сурового и склонного к мизантропии, поэтому вряд ли ее встречи с сыном — если таковые были — проходили в атмосфере тепла и ласки. Но, возможно, немного строгости пошло бы на пользу мальчику, привыкшему к расслабленной атмосфере кокетства, фривольных шалостей и интеллектуальных забав, царившей в Лонжевиле. Обитательницы замка с наслаждением шутили, острили и тормозили молодого человека, поэтому, когда приходила пора расставаться и возвращаться в Париж, Донасьен уезжал со слезами: он не терпел подчиняться обстоятельствам. Тем более что очаровавшая Донасьена мадам де Вернуйе все реже посмеивалась над неопытным воздыхателем.

Как и в Сомане, в Лонжевиле Донасьен пребывал в окружении живописной природы: тихие долины с раскинувшимися среди зелени деревушками, обветшавший замок, одичавший сад с заросшими дорожками и обвалившимися мостиками, где можно было гулять только в сухую

погоду... Но, похоже, еще не ставшее модным наслаждение природой Донасьену было недоступно, в окружавших его пейзажах он видел декорации, в которых впоследствии разместит своих персонажей. Лонжевильскому замку найдется место в новелле «Жена кастеляна де Лонжевиль, или Женская месть», а заброшенный парк, претерпев ряд трансформаций, превратится в декорацию для драматических событий романа «Маркиза де Ганж». Впрочем, многие все же считают, что если де Сад любил собак и занимался обустройством сада в Ла-Косте, то любование природой было ему не чуждо. Увы, уточнить уже невозможно...

*

Граф де Сад приветствовал начало любовной карьеры сына и даже снял для него в Париже специальную квартиру неподалеку от дворца Конде, где тринадцатилетний маркиз мог свободно принимать у себя и наезжавших в столицу старых приятельниц, и жриц любви на час. Иначе говоря, несмотря на философические настроения, Жан Батист видел в сыне будущего либертена и, как мог, помогал ему стать таковым. Собственное жилье избавляло Донасьена от необходимости ночевать во дворце Конде, так что скорее всего именно в это время произошел окончательный разрыв мальчика с матерью. Зато его обожаемые мадам де Вернуйе и мадам де Раймон с радостью принимали приглашения к нему на ужин. За интимными ужинами последовали выходы в свет: Донасьен пристрастился к развлечениям и, как это бывает в таких случаях, совершенно забросил учебу. Он обожал балы, следовательно, недурно танцевал и благодаря своей внешности наверняка пользовался успехом у особ противоположного пола.

Коллеж остался в прошлом. Вспоминал ли потом Донасьен своих учителей, отцов-иезуитов? Ведь знания, вынесенные де Садом из коллежа, стали органичной частью его натуры, философским фундаментом его будущих романов. От последователей Лойолы он перенял страсть к классификации и, как следствие, одержимость цифрами, комбинаторикой и упорядоченным распределением. Математика способствовала зарождению у Донасьена пристрастия к манипуляции числами. Правда, толковать придуманные им загадочные числовые комбинации мог только он один. Вряд ли найдется хотя бы одно пособие по нумерологии, с помощью которого можно было бы объяснить смысл, к примеру, вот таких строк из письма Донасьена к жене, отправленного им из Венсенского замка: «...мать твоя, должно быть, либо пьяница, либо буйнопомешанная — раз она уже

двенадцать лет без устали рискует жизнью собственной дочери каждого 19-го и 4-го или 16-го и 9-го. О! какое цифровое несварение у этой мерзкой женщины! Я убежден, если она вдруг умрет до вмешательства врачей и произведут вскрытие, то из ее чрева наверняка выскочат миллионы цифр. Невероятно, какой кошмар принесли с собой эти цифры, какую внесли неразбериху». А может, эти строки — загадка и для самого автора?..

Систематизация, флагелляция, пассивная содомия, пристрастие к декоративности и театральности, то есть практически все составляющие сексуальных практик будущих героев-либертенов маркиза де Сада... Осознание необычности собственного тела и яростное желание эту необычность проявлять, коварная мысль о том, что добро и зло являются сторонами одной медали — вот сколько полезных знаний и опыта вынес Донасьен из коллежа. И чувств к этому учебному заведению он не сохранил никаких — в отличие от Мари Франсуа Аруэ, который, несмотря на свою враждебность и к церкви, и к иезуитам, всегда тепло отзывался о коллеже Людовика Великого и его преподавателях. «Семь лет я воспитывался у людей, кои бескорыстно и неустанно трудятся над формированием умов и нравственного облика молодежи. Так с каких это пор нас хотят лишить чувства признательности нашим учителям? И если где-то в Индии иезуиты по причине мне вовсе не известной начинают процесс против капуцинов, какое мне до этого дело? Разве для меня это повод проявлять неблагодарность по отношению к тем, кто привили мне вкус к литературе, равно как и чувства, кои станут поддерживать меня до самой смерти?» — писал известный всему миру философ Вольтер, носивший в коллеже свою настоящую фамилию Аруэ.

За годы учебы Донасьен повзрослел, приобрел первый сексуальный опыт, испытал себя на поприще галантного воздыхателя, сделал первые шаги в свете, словом, получил воспитание, достойное юного либертена. Старания отца даром не пропали, и ему осталось только вывести мальчика на карьерную стезю, а самому удалиться от дел и наслаждаться заслуженным покоем. В минуты философического настроения мысли об уходе от мирской суеты все чаще посещали графа. Однако упражнения в философии не сумели заставить его ни забыть, ни смириться с застарелой обидой на двор: его, опытного дипломата, отстранили от дел и оттеснили в задние ряды придворного партера из-за каких-то пустяков! При воспоминании о преждевременном крушении карьеры в душе Жана Батиста просыпался протест против отвергнувшего его общества. Судя по опубликованным на сей день документам, в то время граф довольно много — особенно по тогдашним меркам — общался с сыном, так что его

душевные терзания не могли не отразиться на Донасьене; бунтарские настроения отца-либертена оказались молодому человеку гораздо ближе, чем назидания отца-придворного. В дальнейшем, отвергая призывы графа образумиться, Донасьен будет читать и перечитывать его записные книжки, где изложены основы философии либертинажа и воспеваются наслаждения, даруемые сей философией. Пока же Донасьен еще не совсем отбил от рук, граф решил вплотную заняться его карьерой. Возможно, в то время в мечтах он видел сына идущим по его стопам и достигающим тех вершин, которых не удалось достичь ему самому. Хотя, если судить по годам учебы, юный Донасьен был напрочь лишен честолюбия...

*

В конце 1754 года граф де Сад забрал сына из коллежа и определил его в армию. Им руководили как карьерные, так и финансовые соображения: учеба сына становилась непомерно дорогой. Сам Донасьен в армию не рвался, а главное, не желал расставаться со своим наставником, аббатом Амбле. Позже, в романе «Алина и Валькур», он напишет: «Разразилась война: торопясь отдать меня на военную службу, мне не дали завершить образование, и я отправился в полк; я был в том возрасте, когда, повинаясь естественному ходу вещей, следовало поступать в академию, но мне пришлось исполнять воинские обязанности». Но учение осталось позади, война была впереди, и воинские обязанности следовало исполнять уже сегодня, тем более что начатая при Людовике XIV маркизом де Лувуа реформа армии, заключающаяся в ее огосударствлении, продолжалась главным образом на дисциплинарном уровне. А именно дисциплину юный Донасьен Альфонс Франсуа не терпел совершенно.

Благодаря связям, граф сумел устроить сына в привилегированную Кавалерийскую школу, готовившую кадры для расквартированного в Версале полка легкой кавалерии. В полк принимали только потомственных дворян, сумевших предъявить грамоты, удостоверявшие наличие не менее четырех поколений благородных предков. Чтобы получить такую грамоту, заверенную королевским генеалогом Клерамбо, Донасьену пришлось просить дядю извлечь из архивных томов необходимые листы. Скрепя сердце аббат отдал грамоты: зная, какой разгильдяй его племянник, он не был уверен, что тот вернет документы обратно. Аббат не мог знать, что через тридцать лет по всей Франции запыхают костры из дворянских грамот... Получив вождеденное свидетельство, Донасьен, подобно отцу,

некогда служившему в легкой кавалерии, облачился в красный мундир с бранденбурами.

После трех лет обучения Донасьена — опять по протекции отца! — произвели в поручики, и он сменил красный мундир на белый. Но и в красном, и в белом голубоглазый молодой человек смотрелся одинаково хорошо, поэтому предписание устава для офицеров «все время носить форменный мундир во время нахождения в полку, в гарнизоне, на квартирах или на марше, дабы солдаты его узнавали и уважали», вряд ли угнетало его. Дисциплинарные требования к офицерам были значительно более мягкими, чем к солдатам, и страдания Донасьена проистекали в основном из-за нехватки денег: среди офицеров процветали азартные игры и распутные нравы — без всякой философии. Эта сторона жизни юного офицера больше всего тревожила графа, ибо он не понаслышке знал о сексуальных наклонностях сына. В одном из писем к мадам де Раймон, написанном в апреле 1757 года, граф намекает, что они оба, отец и сын, побывали в объятиях княгини Раш, которая, к удовольствию их обоих, признала и почтенного отца, и юного сына вполне подходящими для любовных игр. Полная гармония... Заметим: в будущем маркиз де Сад тоже станет делить любовницу со своим старшим сыном, однако в отличие от собственного отца, воспринявшего их совместный «роман» скорее с юмором, де Сад станет метать громы и молнии и обвинять сына во всех смертных грехах.

Господин либертен Жан Батист был знаком с всевозможными видами плотских удовольствий, и его беспокойство о нравственности Донасьена говорило о том, что развлечения сына стали выходить за привычные рамки. Желая приструнить молодого человека, граф де Сад взял на себя роль и отца, и матери, и ментора. К роли воспитателя он захотел также приобщить и дядю Донасьена Поля Альдонса, но тот влияния на племянника не имел никакого. В итоге: граф хотел воспитать из сына либертена и преуспел в этом. Но сын пошел дальше своего родителя, а это грозило общественным ostracismом в самом начале карьеры, чего графу, естественно, не хотелось.

В Европе назревала война, которой суждено было продлиться семь лет — с 1756 по 1763 год. Основными причинами ее стало обострение соперничества между Англией и Францией в борьбе за колонии и столкновение интересов Австрии и Пруссии в самом центре Европы. Юный Донасьен отправился на войну, и страхи, связанные с его «ненормативным» поведением, на время отступили перед страхом за его жизнь. У себя в провинции мадам де Раймон, чей племянник также отправился воевать, была охвачена тревогой и за племянника, и за «сына» и

при этом всячески пыталась успокоить графа де Сада. «Стоит мне подумать о войне, как я тут же начинаю бояться за него и переживать за вас, — писала она. — Но не будем волноваться заранее: пока ничего не известно, а значит, пора горевать еще не наступила. Если война неизбежна, печаль еще успеет завладеть нашими сердцами».

В июне 1756 года французские войска под командованием маршала Ришелье стремительно высадились на Минорке и захватили Порт-Магон, одну из самых неприступных крепостей Европы. Эта кровопролитная операция стала для Донасьена боевым крещением, и он с честью выдержал его. В этом сражении, где с французской стороны погибли четыреста двадцать четыре человека, он впервые столкнулся с безликой смертью, не щадившей ни солдат, ни офицеров, ни лошадей, с губительным хаосом, в котором по чьей-то неведомой воле гибли люди. И каким бы отчаянным ни был шестнадцатилетний Донасьен, первое сражение вряд ли прошло для него бесследно. Возможно, поэтому, выстраивая на бумаге свой утопический универсум зла, де Сад отводил себе роль вивисектора в виварии, производящего опыты со специально выведенными для своих целей лабораторными мышами. Жертвы его фантазмов — ходячие механизмы, их мучения фантазматичны, как и они сами. В жизни де Саду не раз довелось стать очевидцем гибели множества людей, и он становился больным от этих зрелищ.

Храбрость и дерзость Донасьена Альфонса Франсуа при захвате Королевского редута удостоились хвалебной заметки во французской «Gazette». Вспоминая о своем участии в военных действиях, де Сад писал на автобиографических страницах «Алины и Валькура»: «Начались боевые действия, и, смею уверить, я принял в них достойное участие. По причине присущей мне вспыльчивости и природной пылкости души я был предрасположен к ратному труду и наделен кровожадной добродетелью, именуемой храбростью, которую — без сомнения, ошибочно — считают единственной добродетелью, необходимой воинскому сословию».

Но в армии XVIII столетия одной «кровожадной добродетели» было мало. Де Саду пришлось мириться с воинской дисциплиной, научиться устраивать свою жизнь в соответствии с предписаниями устава, регламентировавшего действия и поведение солдат и офицеров все двадцать четыре часа в сутки: побудка, подъем, построение, учения, отработка исполнения маневра... А еще четкий порядок хранения оружия, ношение мундира с определенным количеством пуговиц... В дальнейшем полученный опыт «уставной жизни» де Сад отразит на страницах своих романов, создавая правила поведения обитателей замка Силлинг в «Ста

двадцати днях Содома», устав гарема распутных монахов в монастыре Сент-Мари-де-Буа в «Злоключениях добродетели», регламент «Общества друзей преступления»... Уставные действия напоминали Донасьену его любимый театр, где сам он всегда стремился исполнять обязанности режиссера. Впрочем, он не без удовольствия выходил и на подмостки — подобно своим героям-либертенам, которые, внеся «немного порядка» в оргию, затем строго подчинялись придуманным ими правилам.

Небольшое отступление в связи с регламентом и контролем. В книге «Надзирать и наказывать» М. Фуко приводит любопытный пример, иллюстрирующий стремление держать будущих офицеров под перманентным контролем. Для Парижской военной школы, созданной при активной поддержке мадам де Помпадур, Пари-Дюверне разработал специальный проект организации отхожего места: оно должно было состоять из ряда отдельных кабинок с низкими дверцами, дабы надзирателю видны были ноги и головы учащихся.

К великому своему сожалению, граф убеждался, что Донасьен ради карьеры палец о палец не ударит: его устремления направлены исключительно на погоню за удовольствиями. Но язык у мальчика был подвешен превосходно, риторику, преподанную отцами-иезуитами, он усвоил отлично, литературный талант унаследовал от отца, а потому всегда находил оправдание своему поведению. Вот, например, одно из таких оправданий: «Трудно представить себе более дурную школу, нежели гарнизонная жизнь; нигде, кроме гарнизона, молодой человек не становится столь легкой добычей разврата и порочных страстей». А далее следовал не менее изящный пассаж, недвусмысленно намекавший, что он не по своей воле оказался в армии. Договориться с Донасьеном Альфонсом Франсуа было крайне трудно...

Узнав, что его старый друг маркиз де Пуайан назначен командиром элитного полка карабинеров, граф де Сад решил перевести сына к нему. И почетно, и мальчик будет под присмотром. Единственная проблема: в полк принимали только высоких, хорошо сложенных молодых людей. Минимальный рост кандидата должен был быть не менее ста семидесяти трех сантиметров, в то время как рост Донасьена не превышал ста шестидесяти восьми сантиметров. Но при дружеской поддержке де Пуайана на рост закрыли глаза, и в начале 1758 года Донасьен вступил в карабинерский полк на должность корнета, как раньше называли офицера-знаменосца, которому доверяли нести знамя кавалерийской роты. Теперь Донасьен стал носить синий мундир.

Мундир красный, мундир белый, мундир синий... Цвета

республиканского триколора, будущего знамени будущей Французской республики, на благо которой в годы революции станет трудиться гражданин Сад. Но, скорее всего, в этой смене цветов ничего мистического нет — просто разные полки....

*

В XVIII веке военные действия не носили непрерывного характера. Воюющие стороны наносили друг другу ощутимые удары, стараясь захватить важные стратегические позиции, а потом удерживали их, извлекая максимум выгоды в виде разного рода поборов с местного населения; нередко контрибуция оседала в карманах военачальников. Так, например, на деньги, полученные во время войны в немецких княжествах, герцог де Ришелье выстроил под Парижем целый дворец, прозванный Ганноверским. После сражения воинская часть могла быть надолго отправлена в какое-нибудь тихое место в ожидании приказов главного командования, и тогда офицеры, умирая от скуки, начинали предаваться безудержной игре и разврату. Именно таких «простоев» больше всего боялся граф де Сад. Как пишет М. Лавер, граф, позабыв о том, что сам начал воспитывать из сына либертена, ездил за Донасьеном по гарнизонам и умолял полковое начальство следить за состоянием нравственности молодых офицеров: «Господа, умоляю, не развращайте моего мальчика! Зачем вы хотите сделать из него либертена?» — вопрошал он, но его слова оставались гласом вопиющего в пустыне.

Донасьен не отставал от приятелей: играл, посещал бордели, заводил кратковременные романы. Командиры были им довольны, но о его развлечениях на досуге поползли гнусные слухи. Пока они не переросли в дурную славу, мадам де Раймон посоветовала графу подыскать сыну «приличную женщину», старше него по возрасту, чтобы «их сын» без опасности для здоровья обучался любовной науке. В ее глазах Донасьен все еще оставался чувствительным и ранимым мальчиком, застенчивым и неопытным в делах любви. Словно исполняя пожелания своей «мамочки», юный де Сад действительно нашел себе почтенную матрону — в качестве учительницы немецкого языка. «В Германии я участвовал в шести кампаниях; в то время я еще не был женат, а потому меня легко удалось убедить, что лучший способ изучить язык — это регулярно и каждодневно спать с местными женщинами. Решив проверить сие умозаключение, я... обзавелся добродушной толстой баронессой, в несколько раз старше меня,

которая любезно согласилась обучать меня языку. Через полгода я уже ораторствовал по-немецки не хуже Цицерона!» — вспоминал Донасьен Альфонс Франсуа.

23 июня 1758 года юный де Сад вместе со своим полком участвовал в сражении при Крефельде неподалеку от Дюссельдорфа, где французские войска потерпели сокрушительное поражение. Донасьен был, как всегда, храбр, но выдающихся подвигов не совершил. Все же в октябре он получил повышение — был назначен капитаном в кавалерийскую роту. Но так как вакантной роты не было, граф де Сад вновь нажал на все рычаги, и вакансия в конце концов появилась. Деньги уплачены, и в 1759 году Донасьен стал капитаном роты в Бургундском кавалерийском полку и мог щеголять в новом мундире синего сукна.

Белокурый, с голубыми глазами, в прекрасно подогнанной форме — перед Донасьеном не могла устоять ни одна красотка, и ни одна жрица продажной любви не могла заподозрить в этом элегантном офицере поклонника далеко не безопасных удовольствий. В честь своего назначения Донасьен, чей полк в то время располагался в одной из прирейнских деревушек, устроил салют, нанеся при этом ущерб соседнему дому. Вынужденный написать объяснительную записку, Донасьен в присущей ему дерзкой форме объяснил немцам, что он продолжал праздновать победу маршала де Брольи над немецкой армией в сражении при Бергене, случившемся... десять дней назад.

Сколько еще объяснений, дерзких по форме и изящных по содержанию, предстоит написать Донасьену! И никогда, ни под каким видом он не будет ни признавать своей вины, ни извиняться за нанесенные им оскорбления — даже когда неправота его будет очевидна всем, в том числе и ему самому. Де Сад всегда оправдывался, находил сотни тысяч причин, отчего он поступил так, а не иначе, рассыпал множество оправдательных фраз там, где, по сути, хватило бы двух-трех. Оправдания де Сада очень часто напоминали оправдания ребенка: «Да, я поступил дурно, но ведь я же не могу по-другому!» Нежелание, а потом и неумение признать свою неправоту станет отличительной чертой характера де Сада. «Нравы от нас не зависят, они зависят от нашего устройства, от нашей организации. От нас зависит только научиться не выплескивать наш яд наружу, дабы окружающие нас не только не пострадали от этого, но даже вовсе этого не заметили», — писал де Сад в камере Венсенского замка в 1782 году. Он до конца жизни не научился не выплескивать свой «яд» наружу и с удовольствием предоставлял другим возможность портить себе кровь из-за его философии.

Меж тем в апреле 1758 года в Париже после длительной болезни скончалась мадемуазель де Шаролэ, женщина, не только помогавшая Жану Батисту в трудную минуту, но и поддерживавшая в нем огонь жизнелюбия. Моментально постаревший граф де Сад удалился в Прованс, который он, в отличие от сына, не любил никогда. Перед отъездом он написал письмо мадам де Раймон, где извещал ее о смерти мадемуазель де Шаролэ и о своем решении покинуть столицу, ибо «в этом городе нельзя быть стариком. Если ты живешь сообразно своему преклонному возрасту, значит, жизнь твоя печальна и одинока; если ты изображаешь молодого, а возраст твой уже далек от молодости, значит, жизнь твоя подвергается осуждению и насмешкам». Опечалившись, добросердечная мадам де Раймон стала звать его к себе, но приглашение ее осталось без ответа.

В Провансе, в уединении и унынии, граф начал писать заметки, которые впоследствии станут для Донасьена учебником либертинажа. Устремив взор в прошлое, Жан Батист с ностальгической тоской возносил хвалы пороку, убеждая сына, что наслаждения можно достичь только на стезе разврата, а постоянство — свойство дураков. В перерывах между написанием аморально-дидактических трактатов он часто возвращался к мысли о необходимости продвижения мальчика по служебной лестнице. Ибо чем дальше, тем больше участие Франции в войне становилось удручающим. Военные действия перенеслись в Канаду, где французская армия потерпела поражение при Квебеке. Немцы перехватили инициативу, французы уклонялись от сражений, и уже в 1762 году Франция, потеряв почти все свои колониальные владения в Канаде и Индии, заключила в Фонтенбло мир с Англией. А в феврале 1763 года Великобритания, Португалия, Франция, Испания, Пруссия, Австрия и Саксония подписали общий мирный договор, положивший конец Семилетней войне. Для многих сотен офицеров, и в том числе для Донасьена, это означало демобилизацию и возвращение домой.

А что будет делать Донасьен Альфонс Франсуа дома? Этот вопрос и — что еще хуже! — ответ на него преследовали графа повсюду. И Жан Батист решил «пристроить» сына. Классический способ пристроить молодого человека с дурными наклонностями, но из хорошей семьи — женить его на девице с солидным приданым. А знатности у Донасьена вполне хватит на двоих. Тем более что неожиданно до графа дошло известие, что сын его действительно захотел жениться — на девице из городка Эсден, старше его на десять лет, с жалкими семью тысячами ливров ренты, хотя и из благородной семьи. Граф в ужасе: разумеется, ему очень хотелось «пристроить» мальчика, но брак — это расчет, и желательно точный, а как

лекарство от скуки всегда можно завязать ни к чему не обязывающую интрижку. К счастью, у его сына «нежное сердце», и он с одинаковой легкостью и влюбляется, и расстается со своими возлюбленными. Главное — не скучать! А тут как раз подвернулась возможность поиграть в домашнем театре... В общем, девица была забыта, и граф смог вздохнуть с облегчением.

Но облегчение это временное. Кто может знать, что завтра взбредет в голову этому шалопаю Донасьену? И граф решил вплотную заняться реализацией матримониальных планов. Для того чтобы у мальчика было «приданое», он просит у короля дозволения отказаться в пользу сына от наместничества в провинциях Брес, Бюже, Вальроме и Жекс. 6 марта 1760 года король разрешение дал, однако специальным постановлением удержал часть доходов, тем более что согласно обычаю новичкам, вступавшим в должность, содержание сокращалось. Наместничество будет приносить Донасьену менее десяти тысяч ливров в год. Все усилия графа, все его жалобы и прошения сохранить сыну прежние выплаты остались без ответа.

Убедившись в провале финансового демарша, граф предпринял еще одну попытку потрудиться на пользу Донасьена: добился для него должности знаменосца в корпусе жандармерии. В корпус принимали исключительно знатных дворян, служить в нем считалось необычайно почетно. Стоимость должности оказалась для Жана Батиста непомерно высока, и ему пришлось заявить премьер-министру Шуазелю, что сын его не может принять сию должность. Прекрасно понимая, в чем причина отказа, Шуазель, вполне в духе Донасьена, не преминул изящно съязвить: посоветовал господину де Саду сначала готовить денежки, а уж потом беспокоить верхи своими просьбами. Граф был уязвлен, но ответить ему было нечего. В скобках заметим: впоследствии полки жандармерии, как и полки карабинеров, будут переименованы в кирасирские.

Граф де Сад, как и в будущем его сын Донасьен, продолжал упорствовать в достижении именно тех целей, которые были менее всего достижимы: не вышло стать знаменосцем, попробуем раздобыть патент полковника. Однако патент — это тоже только часть дела, требуется еще вакантная должность и деньги, чтобы ее купить. И де Сад-отец дерзнул обратиться к товарищу детских игр сына, принцу Луи Жозефу Конде, с просьбой получить для Донасьена Альфонса Франсуа вакансию или взять его к себе в адъютанты. В крайнем случае, не мог бы принц хотя бы разместить мальчика у себя во дворце Конде? Но на все просьбы был получен завуалированный, но твердый отказ. Видимо, слухи о бесчинствах Донасьена уже доползли до столицы...

Значит, все силы и связи следовало употребить на поиски подходящей партии, дабы, наконец, сбыть сорванца с рук: пусть за него несут ответственность новые родственники! Только где этих родственников найти? Несколько знатных семейств уже отказали графу, недвусмысленно дав понять, что подозрения в нечистоплотности, некогда павшие на самого графа, и слухи, циркулирующие вокруг образа жизни его сына, вряд ли дадут юному де Саду шанс сделать приличную партию...

Сам Донасьен Альфонс Франсуа никаких шагов предпринимать не собирался, а на все упреки отца отвечал витиеватыми оправданиями: будущий писатель оттачивал стиль. Теперь, когда созданный им текст приходился ему по нраву, он переписывал его в отдельную тетрадку, постепенно разраставшуюся в отдельный сборник под названием «Разрозненные произведения». Так что можно сказать, что молодой человек, охваченный «горьким сознанием того, что поведением своим он вызвал неудовольствие самого нежного из отцов и самого лучшего из друзей», — это, скорее, лирический герой, созданный богатой фантазией Донасьена, впитавшего в себя уроки лицемерия отцов-иезуитов. Лирический герой не умеет пресмыкаться, он готов признать свои ошибки и стремится вести идиллический образ жизни. «Вы спрашиваете меня, как я живу, чем занимаюсь. Поведаю вам все честно и в подробностях. Меня упрекают в том, что я люблю поспать; правда, у меня есть сей недостаток: я ложусь под утро, а просыпаюсь поздно. Я часто совершаю конные прогулки, обозревая вражеские позиции и наши собственные. Прожив три дня в лагере, я уже знаю все особенности нашей местности не хуже господина маршала. Затем в голове моей вызревают соображения, правильные или же нет; я высказываю их, и меня либо хвалят, либо порицают, в зависимости, насколько они оказались приемлемыми. Иногда я отправляюсь с визитом к г-ну де Пуайяну или к своим прежним товарищам — карабинерам или королевским гвардейцам. Я не сторонник слишком строгого соблюдения правил этикета: я их не люблю. Если бы не господин де Пуайян, за всю кампанию ноги бы моей не было в штабе. Я знаю, что поступаю неразумно: чтобы добиться успеха, необходимо мозолить глаза начальству, но это не по мне. Мне больно слышать, когда кто-нибудь, желая подольститься к собеседнику, говорит ему сотни приятных вещей, когда на самом деле хотел бы сказать совершенно обратное. Я не могу разыгрывать такую жалкую личность, отвращение сильнее меня. Быть почтительным, честным, с чувством собственного достоинства, но без гордыни; услужливым, но без пресмыкательства; руководствоваться своими желаниями, но когда они не вредят ни нам, ни кому-либо; жить в достатке,

предаваться развлечениям, не допуская ни безумств, ни разорения; иметь немного друзей, а может, и не иметь их вовсе, ибо воистину невозможно встретить такого правдолюбца, который бы при случае не предал вас раз двадцать, особенно если это в его интересах; быть равным со всеми, со всеми уживаться, но ни к кому не привязываться, дабы потом не раскаиваться; говорить только хорошее и даже чрезмерно хорошее о людях, которые зачастую без всякого повода злословят о вас, причем вы об этом даже не подозреваете (чаще всего вас обманывает именно тот, кто с вами особенно любезен и усердно ищет вашей дружбы), — вот мои добродетели, мои принципы, коими я хочу руководствоваться». Прекрасный слог — и ни слова правды! Кроме, пожалуй, одного — друзей у Донасьена Альфонса Франсуа действительно нет, поэтому переписка его довольно скромна.

Глава III.

БРАК ЛИБЕРТЕНА

Здоровье графа де Сада постоянно ухудшалось. В подавленном настроении он сообщал своей сестре Габриэль-Лор, что едва не умер от удушья, что денежные затруднения с каждым днем становятся все ужаснее и потому он намерен удалиться в монашескую общину, дабы, наконец, пожить «вдалеке от мирской суеты». Еще он писал, что крайне недоволен сыном — и не без основания. На словах Донасьен в любую минуту готов жениться, но когда речь заходила о необходимости предпринять тот или иной демарш, а проще говоря, сходить в гости к нужным людям, он тотчас ссылаясь на невероятную занятость и с визитом снова отправлялся граф. Поиски, услуги свах и брачных агентов постоянно требовали денег, и граф постепенно впадал в панику: что же делать?

«Мой сын в отставке. Я был спокоен, когда он служил королю. Но сейчас у меня сорок тысяч франков долгу, и сын без определенных занятий и без надежды вернуться на службу. Так что прикажете мне делать? Что мне сказать сыну?» — в отчаянии написал де Сад-отец Шуазелю, приложив к письму смету расходов, понесенных им за время службы Донасьена в армии. Но никаких дополнительных денег помимо выходного пособия в шесть тысяч ливров добиться графу так и не удалось. Для Донасьена эти шесть тысяч были каплей в море его неутоленных желаний. «Я погибаю от нищеты, обходясь без самого необходимого, и постоянно страшусь лишиться даже того, что имею», — жаловался родственникам граф де Сад.

Разумеется, он преувеличивал, сгущал краски, как впоследствии будет виртуозно делать Донасьен, но основания для беспокойства у него были. Растратив за свою парижскую жизнь большую часть семейного достояния, трудолюбиво накопленного несколькими поколениями предков, он понимал, что сын его промотает оставшееся еще быстрее. А значит, надо поскорее женить его, закрепить за собой свою долю и, наконец, снять с себя ответственность за неисправимого юнца. Быть может, семейная жизнь его образумит...

Наконец свершилось. В феврале 1763 года граф сообщил родственникам, что нашел для сына подходящую партию. Невеста, Рене-Пелажи де Монтрей, старшая дочь почетного председателя Парижского податного суда Клода Рене Кордые де Монтрея и Мари-Мадлен Массой де

Плиссэ де Монтрей, была полутора годами младше Донасьена, внешностью обладала неброской, но миловидной, получила домашнее образование, была скромна, застенчива и не умела ценить себя по достоинству. Но, главное, она приносила будущему супругу не только неплохое приданое, но и виды на будущее. Ибо, хотя и отец, и мать невесты принадлежали к так называемому дворянству мантии, то есть, будучи из судейского сословия, дворянство получили лишь век назад, семья благодаря разветвленным родственным связям имела в придворных кругах определенное влияние и вес. И проживало семейство Монтрей в одном из наиболее аристократических кварталов столицы, а именно в приходе Мадлен, на улице Нев-дю-Люксамбур.

В XVIII столетии союзы между родовитыми дворянами и недавно анноблированными семьями судейских чиновников и торговой буржуазии заключались довольно часто по причине резкого обнищания придворной аристократии. Для поддержания блеска французского двора короли щедро тратили из государственной казны, оттуда же черпали средства фавориты и принцы крови, а те, кто только прорывались в первый ряд придворного партера, вынуждены были расходовать семейные состояния. Поэтому родовитые дворяне нередко находили себе жен даже среди нетитулованной, но состоятельной буржуазии: при таком браке жена в обмен на солидное приданое получала право на титул мужа. Если же, наоборот, титулованной оказывалась жена, то, вступив в брак, она не имела права передать свое дворянство мужу. Бывали и исключения, когда женщине после долгих хлопот все же удавалось анноблировать супруга. Родство со старинным домом де Сад, а через него и с Бурбонами придавало недостающий блеск семейству Монтрей, а де Сады получали возможность устроить свои финансовые дела и расплатиться хотя бы с частью кредиторов. Теперь дело за малым — залучить в Париж Донасьена и заставить его явиться на церемонию бракосочетания.

Ибо пока в Париже отец усиленно ухаживал за потенциальной тещей, фактической главой семьи де Монтрей, про званной за властный и энергичный нрав Председательшей, сын пребывал в Авиньоне, где переживал бурный роман с юной провансальской аристократкой Лор де Лори.

Есть предположение, что, прежде чем отправиться в Авиньон, Донасьен успел познакомиться с семьей своей невесты, и в частности с ее младшей сестрой Анн-Проспер, являвшей собой полную противоположность Рене-Пелажи. Анн-Проспер настолько поразила воображение Донасьена, что он, как говорят, даже попытался внести

изменение в брачный договор и вместо Рене-Пелажи вписать туда Анн-Проспер. А так как обе семьи, проявив поразительное единодушие, этому воспротивились, уязвленный Донасьен уехал в Авиньон, предоставив отцу устроить его брак без него. Но если согласиться с этой гипотезой, согласиться с тем, что Донасьен с первого взгляда влюбился в Анн-Проспер, пронес эту любовь через всю жизнь и все несчастья его проистекали исключительно от того, что его заставили жениться на нелюбимой женщине, то как объяснить его авиньонский роман с Лор де Лори? Если де Сад отбыл в Авиньон, пылая неземной любовью к Анн-Проспер, как мог он столь быстро завязать там роман с Лор, слать в Париж письма с требованием позволить ему жениться на ней, ревновать Лор до безумия, а получив отказ, начать ее шантажировать, обещая рассказать ее будущему жениху, что она наградила его сифилисом? Наверное, во всем было виновато «нежное сердце» Донасьена... или его богатое воображение, по причине которого имя Лор (Лаура) обладало для него поистине гипнотической силой. Но, скорее всего, причиной был исключительно себялюбивый характер Донасьена Альфонса Франсуа: вы отказали мне, так пусть вам будет хуже! Отцу — лишние волнения, заботы и хлопоты, Лор де Лори — испорченная репутация (пишут, что она так никогда и не вышла замуж). Хотя, вероятнее всего, произошло обратное, и именно Донасьен, подцепив болезнь где-нибудь в борделе, заразил ею свою подругу.

Во времена де Сада ситуация, при которой жених и невеста впервые встречались только на свадьбе, не была из ряда вон выходящей. Скорее всего, Донасьен до самой свадьбы не видел ни Рене-Пелажи, ни тем более ее младшей сестры. Мадам де Монтрей, наслышанная о похождениях будущего зятя, вряд ли стала бы рисковать, представляя ему Анн-Проспер, которая в то время еще находилась на обучении в монастыре. Председательша была прекрасно осведомлена и о наклонностях Донасьена Альфонса Франсуа, и о его болезни, и именно потому граф де Сад шел на уступки, делая все, лишь бы семья Монтрей не отказалась от союза. «Какие бы оплошности мой сын ни совершил, я стараюсь загладить его глупости своей любезностью и почтительностью», «Я каждый день обедаю у них или у кого-нибудь из их родственников», «Я стойко переношу обрушившиеся на меня знаки внимания», — пишет он сестре Габриэль-Лор и в порыве раскаяния добавляет: «Мне очень жаль этих людей за столь безрадостное приобретение, способное на любого рода глупости, но я молчу, и совесть моя от этого спокойна».

А что же Донасьен? Он, скорее всего, сам не знал, чего хотел. Если прежде жизнь его была хотя бы минимально организована (коллеж, армия),

то теперь он был полностью предоставлен самому себе. Отец, самый близкий ему человек, в ту пору, похоже, не являлся для Донасьена ни авторитетом, ни поддержкой. Но, собственно, какой пример подавал граф де Сад «юноше, обдумывающему житье», двадцатитрехлетнему Донасьену? Либертен, всю жизнь вращавшийся в свете, он мог быть и дипломатом, и придворным, и фаворитом, но в полной мере не стал ни тем, ни другим и ни третьим. Прекрасно владея пером, он писал исключительно для себя, так как дворянина, дерзнувшего претендовать на лавры литератора, немедленно подвергали ostracismu собратья по сословию. Ловелас, умевший поддерживать дружбу с некогда любимыми им женщинами, он не сумел сохранить привязанность собственной жены... Словом, все как-то наполовину.... Может, поэтому и увещевания его были впустую, и намерение найти сыну невесту не находило отклика, скорее наоборот: Донасьен уже не раз заявлял о своем желании самому найти себе избранницу и жениться на ней по любви.

*

Итак, литературный дар, бесспорно, унаследованный Донасьеном Альфонсом Франсуа от отца и дяди, — единственное, что досталось ему от семьи в полной мере, и этот дар доставлял ему не меньше удовольствия, чем погоня за наслаждениями. А когда на бумагу ложились строчки чувствительные и эротические, процесс писания доставлял ему двойное удовольствие. Наверно, поэтому возникло предположение, что большое, на восемь страниц, письмо к Лор де Лори, в котором де Сад то умоляет красавицу вернуть ему любовь, то грозит отомстить, то рыдает от горя, — всего лишь литературная мистификация, сочиненная «на заданную тему», ибо впоследствии Донасьен велел переписать письмо и наряду с другими юношескими сочинениями включил в сборник под названием «Разрозненные произведения».

Что касается материальной стороны наследства, в этом вопросе Донасьен чувствовал себя обиженным и обделенным. Во-первых, он ожидал от матери не только фамильных бриллиантов, отходивших к его будущей жене с условием впоследствии передать их детям. Впрочем, граф также был не слишком доволен супругой и в письме к аббату сообщал, что при составлении брачного контракта «мадам де Сад продержала нас три дня и в каждый из этих дней придумывала все новые и новые сложности. Поистине это ужасная женщина. Ее сын еще успеет в этом убедиться». Во-

вторых, отец оказался настолько скуп на наличные деньги, что после уплаты кое-каких долгов у Донасьена ничего не осталось на карманные расходы. Монтреи также постарались наделить молодых в основном жильем, мебелью, рентой, а не наличностью: Председательша понимала, что со своими аппетитами Донасьен пустит на ветер любое состояние. Пусть мальчик сначала остепенится, а потом они раскроют кошелек! В-третьих, сразу после свадьбы Донасьен обнаружил, что, передав ему должность наместника, отец забрал доход с нее за три года вперед! Но и граф был возмущен не менее сына: Донасьен наделал столько долгов, что часть из них ему пришлось уплатить.

И все же событие свершилось! Ранним утром 1 мая 1763 года оба семейства отправились в Версаль — получить под брачным контрактом августейший автограф короля Людовика XV, следом за которым контракт подписали дофин, дофина, герцог Беррийский, граф Прованский, дочери короля, принц Конде, принц де Конти и мадемуазель де Сане. Неслыханная милость для опального графа де Сада! Впрочем, для организации сей пышной церемонии постарались и Монтреи. А имени жениха опять не повезло: его записали как Донасьена Адольфа Франсуа. Если бы Донасьен был на месте, он бы непременно внес ясность в этот животрепещущий для него вопрос. Если бы был... Но его там не было, так как он все еще пребывал в Авиньоне: долечивался и выяснял отношения с очаровательной Лор де Лори.

Королевская подпись на брачном контракте настолько польстила самолюбию Монтреев, что они закрыли глаза на отсутствие во время церемонии жениха. Хотя и у Монтреев, и у графа де Сада в душе ощущался неприятный холодок: а вдруг Донасьен не явится даже на венчание? Кем тогда его заменить? Единственное утешение для Председательши — неведение, в котором пребывала Рене-Пелажи относительно истинных причин отсутствия ее будущего супруга. Как добрая христианка, она была готова принять даруемого ей Богом супруга, любить его и подчиняться ему. Но она даже не подозревает, каких жертв потребует от нее сей супруг...

15 мая в доме председателя де Монтрея прошла церемония подписания брачного договора в присутствии нотариусов, иначе говоря — договоренности, достигнутые во время переговоров *de facto*, получили оформление *de jure*. В последнюю минуту блудный сын, отягощенный дарами в виде огромных авиньонских артишоков, все же прибыл в столицу, дабы узнать, какие блестящие перспективы сулит ему предстоящая женитьба. Как было сказано, он изрядно разочаровался, узнав, что отойдет ему по брачному договору: отец передавал ему во владение земли в Ла-

Косте, Мазане, Сомане, а также ферму Кабанн, но выговаривал себе право распоряжаться значительной частью доходов с этих земель. Триста тысяч ливров приданого Рене-Пелажи будут приносить ренту, с тем чтобы капитал впоследствии отошел по наследству к детям. Потом еще кое-что по мелочам, и, наконец, обязательство маркиза выделить жене четыре тысячи ливров ренты на случай, если та останется вдовой. В скобках заметим: о, сколько крови попортят ему эти четыре тысячи! Однако серьезных поводов для недовольства у Донасьена не было — ведь благодаря женитьбе он за два года до официального совершеннолетия получал право совершать сделки с любым видом имущества.

Наконец, 17 мая 1763 года в церкви прихода святой Марии-Магдалины в присутствии многочисленных свидетелей маркиз Донасьен Альфонс Франсуа де Сад вступил в брак с девицей Рене-Пелажи де Монтрей. Граф де Сад имел теперь право умыть руки и удалиться на покой. Он сделал для сына все, что мог, теперь пусть с ним возятся Монтрей. Ведь он даже раздобыл для негодника завидную привилегию ездить в карете короля и охотиться вместе с его величеством, а этот мальчишка и не подумал ею воспользоваться.

«Существуют пороки, о которых лучше не говорить, ибо рискуешь разоблачить их, не будучи в состоянии их исправить. Каким образом участники этих тайных мерзостей смогли бы вернуться на путь добродетели, на которую они уже не способны? <...> Негодование переходит в сострадание, когда задумаешься о пучине мерзости, в которую погружаются иные чудовищно развращенные существа», — с плохо скрываемым негодованием писал о либертинаже и либертенах Луи Себастьян Мерсье в «Картинах Парижа». В дальнейшем, будучи одним из авторов альманаха «Суд Аполлона, или Суд в последней инстанции, выносимый всеми здравствующими ныне авторами», Мерсье направит свое перо против мерзостей гнусного писателя Сада. А пока юный Донасьен Альфонс Франсуа вкушал неведомые прежде прелести семейной жизни: жена его обожала, теща боготворила, тесть был почтителен. И «чудовищно развращенное существо», каковым молва считала Донасьена, на некоторое время перестал стремиться в «пучины мерзости». Однако отношения с отцом у него испортились окончательно. «Пусть делает что хочет, отныне я ни во что не вмешиваюсь», — обиженно писал граф. Хотя он поселился в двух шагах от молодых, которым Монтрей предоставили целый этаж в доме на улице Нев-дю-Люксамбур, Донасьен никогда не мог выбрать время, чтобы зайти к отцу. Зато мадам де Монтрей была готова защищать Донасьена ото всех и вся. «Ваш племянник является самым любезным

зятем, какого только можно пожелать, он умен, кроток и вашими стараниями получил превосходное воспитание», — с восторгом сообщала она аббату де Саду. Председательша даже пыталась убедить графа, что он несправедлив к сыну — ведь мальчик молод, у него еще ветер в голове...

А ветреный мальчик проводил медовый месяц в Опере, на балах и в театрах. Стал ли он с первых дней совместной жизни приобщать жену к содомским радостям? В его рассказе «Исправившийся супруг» некий Бернак «в первую же брачную ночь заставил свою молодую жену поклясться, что она ничего не расскажет родителям, а потом признался ей в своих пристрастиях». Супруга его была невинна и послушна и, решив, что так поступают все мужья, каждую ночь в течение двух лет покорно удовлетворяла вкусы мужа. Затем друзья открыли ей глаза, разыграли мужа, тот покался, попросил у жены прощения, и далее супруги жили душа в душу. Быть может, в этом рассказе нашел отражение эпизод из биографии автора? В одном из писем из Венсена де Сад напоминал жене, что всегда высоко ценил ее «задний смысл». Но никаких других садических практик он к ней, разумеется, не применял и в «большом письме» от 1781 года (тоже из Венсена) писал: «Я либертен, но я никогда не покушался на здоровье своей жены». Ибо, как сказала очаровательная женщина другу, пытавшемуся соблазнить ее, «друг мой, не пытайся развратить того, кого ты любишь, последствия будут непредсказуемы». Эти слова де Сада из новеллы «Флорвиль и Курваль» напоминают о том, что в минуты душевного спокойствия де Сад вызывал у женщин и восхищение, и любовь. Жаль только, что такие минуты выпадали очень редко, а потому женщин, искренне привязанных к Донасьену, было всего три: сначала Рене-Пелажи, затем в его жизнь войдет Милли Руссе и, наконец, Мари-Констанс Кене. Интересно, кого из них вспоминал он, когда писал эти слова? Ведь у всех трех женщин, полюбивших Донасьена, любовь быстро превращалась в самоотверженное служение этому надменному, резкому, парадоксальному, талантливому, капризному, слабому, себялюбивому — словом чертовски неприятному человеку!

Именно поэтому в список нельзя включить юную Анн-Проспер де Лонэ^[4], свояченицу Донасьена Альфонса Франсуа, которая, судя по немногим сохранившимся документам, была не менее взбалмошной, чем Донасьен, и не намеревалась играть вторые роли при возлюбленном. Во всяком случае, есть мнение, что из-за сходства характеров роман между Донасьеном и Анн-Проспер так и остался платоническим... или же его не было вовсе.

Но как бы хорошо ни относился на первых порах Донасьен к жене,

избавляться от своих привычек к сильным сексуальным ощущениям он не собирался. А чтобы его «увлечения» не беспокоили супругу, он, подобно большинству дворян того времени, имел свой «маленький домик». Так называли виллы, павильоны, дома (смотря по размерам кошелька владельца), расположенные за городом, в пригородах или в уединенных уголках садов и парков, где господа вдали от укоризненных взоров домашних предавались — в зависимости от темперамента — плотским удовольствиям, дебошам и настоящим оргиям. Домики превращали в храмы наслаждения, лучшие художники расписывали стены и потолки фривольными сценками, многочисленные зеркала приумножали приятные ощущения, создавая впечатления присутствия зрителей и тем самым подогревая желания актеров. Ведь в понятие наслаждения либертен включал и тщательную режиссуру любовных забав, и многочисленные их повторы. Интересно, что в маленьких домиках де Сада обстановка была скорее скудной, стены обиты черным и царил мрак...

Девушек для домиков подбирали среди уличных проституток или заказывали у известных на весь Париж сводней: Монбрен, Эке, Бодуэн, Фийон, у супругов Бриссо или у знаменитой Гурдан по прозвищу Маленькая Графиня. Эти дамы содержали специальные дома, где были «девушки на любой вкус». А вкусы, как известно, были разные, но если жалоб ни от кого не поступало, полиция нравов претензий никому и не предъявляла. К тому же сводни были превосходными осведомителями, и часто их отчеты вместе с полицейскими донесениями попадали в руки самому Людовику XV, любившему на ночь почитать скабрезные истории о своих подданных. В этих донесениях нередко рассказывалось о похождениях первых лиц королевства: герцога де Ришелье и его сына герцога де Фронсака, маркиза де Лувуа, герцога де Шуазеля... Говорят, именно Фронсак изобрел (или прославил...) знаменитое кресло для строптивых девиц. Хитрость его механизма заключалась в том, что стоило девице сесть в это кресло, как тотчас ноги и руки ее оказывались зажатыми специальными приспособлениями, спинка наклонялась, и жертва оказывалась в полном распоряжении галантного кавалера. Такое кресло однажды предложил купить Казанове его приятель, либертен Анж Гудар, но Казанова, уверенный в своих неотразимых чарах, отказался. А вот де Сад, кажется, приобрел... Во всяком случае, в его романах немало механических игрушек для получения наслаждения: клистиры для впрыскивания во внутренности жертвы обжигающих жидкостей, различные годмише... Существует мнение, что он описывал вполне реальные приспособления, каковых у него в домике на улице Муфтар было

немало.

*

В этот домик менее чем через полгода после свадьбы де Сад завлек некую Жанну Тестар, работницу, днем изготавливавшую веера, а вечером промышлявшую проституцией. Что на самом деле произошло между ними, уже не узнает никто: вряд ли перепуганная до смерти девица могла дать объективные показания. Но даже если страсти, рассказанные ею, преувеличены всего лишь наполовину, ей было отчего испугаться.

Как только они вошли в комнату, клиент Жанны, на вид хрупкий молодой человек с голубыми глазами, запер за собой дверь, положил ключ в карман и принялся богохульствовать, время от времени выкрикивая страшные проклятия в адрес Господа и всех святых. Затем, схватив Жанну за руку, он потащил ее в соседнюю комнату, сплошь затянутую черной тканью, и, указав на развешанные на стенах всевозможные плети и хлысты, велел ей выбирать орудие, которым он сначала отхлещет ее, а затем она — его. Заявление девицы о беременности не только не умиротворило молодого человека, но, напротив, распалило его. Он заставил ее рассмотреть все висевшие на стенах непристойные гравюры, приказал швырнуть на пол распятие и топтать его ногами, вынудил выслушать отвратительнейшие богохульные стишки, а потом, угрожая пистолетом, принудил удовлетворить его страсть самым непотребным образом. Зловещим шепотом, страшно вращая глазами, он говорил ей, как в следующее воскресенье они возьмут облатки, придут сюда и здесь устроят настоящую оргию, во время которой подвергнут надругательству дурацкие предметы отвратительного культа. Срываясь на крик, он убеждал ее, что Бога нет, что в эту химеру верят только полные идиоты, а потом потребовал, чтобы она взяла кнут с железным крючком на конце, раскалила железо и отстегала его как следует. Жанна трепетала, и остаток ночи провела в тщетных попытках направить страшного клиента в русло традиционных услуг, оказываемых девицами легкого поведения, в то время как тот порывался то сделать ей промывание желудка, то использовать розги. Когда явившаяся утром сводня наконец освободила ее из заточения, Жанна помчалась в полицию, где рассказала обо всем, что довелось ей пережить. Инспектор Марэ, опытная ищейка из отдела полиции нравов, провел небольшое расследование, опросив еще нескольких проституток, составил обвинительный акт и отправил его на рассмотрение королю. Интересно, вспомнил ли Людовик,

что полгода назад он поставил свою августейшую подпись под брачным контрактом этого дебошира? Но даже если он забыл об этом, то вряд ли стал бы гневаться на господина де Сада: король умел ценить разнообразные наслаждения, а розги в те времена имелись едва ли не в каждом борделе. Единственное, чего он допустить не мог, — это явного надругательства над священными символами. И Людовик XV отдал приказ арестовать де Сада и препроводить его в Венсенскую крепость. Так началось первое заключение маркиза, продлившееся две недели, — с 29 октября по 13 ноября 1763 года. Расходы по содержанию узника были возложены на его семью.

Кто-то сравнил инспектора Марэ со зловещей тенью, преследовавшей де Сада буквально по пятам и являвшейся всякий раз, когда маркизу грозил очередной арест. Этот образ возник, скорее, на основании служебных обязанностей инспектора, которому было поручено надзирать за маркизом, нежели на его личном отношении к де Саду. Для инспектора этот распутник мало чем отличался от других аристократических любителей эротических развлечений, разве что он сначала держался крайне надменно, а потом становился мелочным, придирчивым и занудным. Особенно Марэ ощутит эту перемену, когда будет сопровождать де Сада для пересмотра дела в Экс. А еще господин де Сад помимо странных эротических пристрастий обладал талантом запугивать нанятых им девиц легкого поведения буквально до полусмерти. Но если в анальных сношениях с клиентом проститутки обычно не признавались, опасаясь грозящего им наказания, то ужасы, которыми им угрожал де Сад, они расписывали во всех подробностях. Эти рассказы способствовали созданию легенды о зловещем маркизе, который сначала использовал свои жертвы, а потом зверски расправлялся с ними.

Но пока нехорошие слухи про Донасьена Альфонса Франсуа распространялись в устной форме, мадам де Монтрей, добровольно взявшая на себя ответственность за молодую семью, была готова списать «проказы» зятя на его молодость и беспечность. Для нее сейчас главное — чтобы набожная Рене-Пелажи не узнала об истинных причинах заключения мужа: она ждала ребенка, и ей нельзя было волноваться. Превозмогая болезни и обиды, граф де Сад помчался в Фонтенбло к министру Королевского дома Сен-Флорантену, и министр, искренне расположенный к графу, добился освобождения Донасьена — при условии, что тот немедленно отправится в Нормандию, в Эшофур, в поместье тестя, и будет пребывать там до тех пор, пока король не позволит ему вернуться. «Поездка в Фонтенбло обошлась мне в десять луидоров, а вместе с сопровождающими расходами я истратил такую сумму, на которую мог бы

жить целых два месяца», — негодовал граф в письме к аббату Полю Альдонсу.

Если бы де Сад был повинен только в негуманном отношении к девицам легкого поведения, вряд ли его стали бы наказывать. Но основным обвинением было богохульство, а согласно уголовному законодательству того времени святотатство считалось достаточно серьезным проступком, и если бы не знатное происхождение, маркиз мог бы поплатиться за него головой, как это случилось с шевалье де ла Барром, о деле которого с гневом писал Вольтер. Шевалье якобы не снял шляпу перед религиозной процессией, богохульствовал, а потом признался под пыткой, что в ночь на 9 августа 1765 года изрезал деревянное распятие, стоявшее на мосту в Абвиле. По приговору суда шевалье должны были вырвать язык, отрезать правую руку и сжечь живьем, но парламент Парижа, рассмотрев прошение осужденного, смягчил приговор, заменив сожжение отсечением головы. Помиловать шевалье король отказался, и 1 июля 1766 года двадцатилетний молодой человек был казнен.

За две недели пребывания в стенах Венсена маркиз, кажется, осознал, какой опасности он подвергся, а осознав, принялся писать письма, в том числе и начальнику полиции Сартину. Именуя себя «несчастливым, сбившимся со стези добродетели», де Сад ненароком упомянул о некой «книге», якобы вышедшей в июне месяце, которая, как считают, вполне могла быть непристойной книгой самого де Сада, отрывки из которой он зачитывал Жанне Тестар. Если де Сад действительно еще до первого своего заключения успел издать некое анонимное сочинение, если в 1768—1769 годах он сумел продать кое-какие свои рукописи, причем продать не только во Франции, но и в Голландии, значит, он не устоял перед искушением увидеть свои произведения напечатанными. Правда, издал он их анонимно, чтобы не портить аристократическую репутацию, но тем не менее поступок этот ясно свидетельствует о его страсти к писательству. А зная, что излюбленными темами маркиза являлись наслаждение и отрицание Бога, можно предположить, что в первых его публикациях порнографические пассажи чередовались с критическими, и объектом критики выступала, скорее всего, религия. Тогда становится относительно понятно, почему на фоне всеобщего разложения нравов, при необычайной популярности розог в деле повышения потенции кавалеров, равно как и содомских сношений, именно либертен де Сад пострадал от правосудия за свои удовольствия. Перо де Сада всегда отличалось язвительностью и прямолинейностью.

Несколько цифр: согласно полицейской статистике, в 1725 году в Париже насчитывалось примерно двадцать тысяч содомитов, а в 1785-м их

уже было вдвое больше.

Сартину еще не раз доведется отведавать проклятий маркиза: в письмах из Венсена де Сад станет называть его и «ядовитым грибом», и «любителем лизать королевскую задницу», и «бастардом Торквемады», хотя в сущности Антуан Габриэль де Сартин (1729—1801) был не самым худшим начальником полиции, а, наоборот, одним из лучших. Он сумел так поставить дело, что к нему за советом обращались великие европейские императрицы Екатерина II и Мария-Терезия. Он успешно боролся с уголовной преступностью, поставил на улицах Парижа фонари, построил зерновой рынок, организовал бесплатные курсы рисования для бедных детей и, говорят, даже придумал игру в рулетку в том виде, в каком она дошла до наших дней. Но таков уж был господин де Сад: всех, кто не угодил ему, он поливал грязью, не задумываясь о том, справедливы его обвинения или нет.

В Эшофуре де Сад проживал в кругу семьи и под постоянным надзором инспектора Луи Марэ. Каждый день приносил Донасьену Альфонсу Франсуа новые свидетельства искренней и нежной любви жены, однако маркиз томился от скуки, и даже смерть своего новорожденного первенца не произвела на него никакого впечатления: он вздохнул, развел руками и тотчас забыл, поглощенный единственной мыслью — поскорее вырваться в Париж, где, по словам Луи Себастьяна Мерсье, «всеу находят оправдание — даже пороку». Именно к пороку Донасьен и стремился. Поэтому, когда 11 сентября 1764 года король наконец освободил де Сада от поднадзорного проживания в Эшофуре, тот стрелой помчался в столицу и развил там бурную деятельность. В замке Эври, принадлежавшем дяде его жены, он поставил несколько любительских спектаклей, в которых приняли участие многочисленные родственники семьи Монтрей, писал стихи и куплеты.

Вновь получив возможность свободно передвигаться, Донасьен отправился в Дижон, где ему предстояло вступить в должность наместника. Приехав в город, он выступил в парламенте с благодарственной речью за оказанное доверие, позволившее ему занять столь почетную должность, и пообещал во всем равняться на distinguished магистратов. Но разве де Сад когда-нибудь давал обещания всерьез? Покончив с тоскливыми обязанностями, Донасьен отправился в находившийся поблизости картезианский монастырь и с удовольствием занялся изучением архивных документов эпохи царствования безумного Карла VI и его супруги, коварной Изабеллы Баварской.

Возможно ли, что уже в то время Сад обдумывал роман, который будет

написан всего за год до смерти автора? В январе 1814 года маркиз отправит издателю рукопись, озаглавленную «Тайная история Изабеллы Баварской», но в силу обстоятельств роман этот увидит свет только в 1953 году, то есть почти через сто пятьдесят лет после смерти маркиза. Поэтому правильное будет предположить, что при чтении документов, свидетельствовавших о преступных деяниях королевы, оставившей в истории Франции страшный кровавый след, в голове де Сада начинали зарождаться туманные образы героинь его будущих жестоких романов: Жюльетты, Клервиль, Дюран... А где-то рядом с ними, словно призрак девы-мученицы Жанны д'Арк, преследовавший Изабеллу до самой смерти, из сумрачного леса пока еще неясных мыслей Донасьена выступала прозрачная фигурка добродетельной страстотерпицы Жюстины.

Не только интерес к архивам влек Донасьена в монастырь. В письмах к аббату де Саду мадам де Монтрей сообщала, что, пребывая в Эшофуре, они с зятем несколько раз посетили расположенный в окрестностях монастырь траппистов. Что заставило отъявленного богохульника де Сада стремиться ознакомиться с обителью монашеского ордена, известного своим суровым уставом? Не писательские ли замыслы? В его сочинениях монастырям действительно отводится большое место. Это и уже упоминавшаяся обитель Сент-Мари-де-Буа, превращенная развратными монахами в сераль с поистине военной (или траппистской?..) дисциплиной, и монастырь Пандемон, в подвалах которого развратная Дельбена руководила первыми шагами Жюльетты на поприще либертинажа. А может быть, де Сад искал в монастырях что-то свое, что укрепило бы его убеждение в том, что Бога нет? Ведь если Донасьен во весь голос, с надрывом, сознавая, какие неприятности может навлечь на себя, упорно продолжал заявлять о своем неверии, ему, возможно, приходилось заглушать собственный внутренний голос, убеждавший совершенно в обратном...

Вернувшись из Дижона, Донасьен без промедления погрузился в пучину наслаждений. Новые связи, вечеринки то в одном из своих «маленьких домиков», то в другом — чтобы запутать следы. Бдительный инспектор Марэ не упускал Донасьена из виду, но поводов для беспокойства не находил — жалоб на маркиза не поступало, а значит, общественному порядку ничто не угрожало. Либо Донасьен хорошо платил, либо ему пока удавалось сдерживать свои слишком буйные фантазии и не требовать от нанятых девиц отречься от Бога.

Следуя примеру большинства парижских аристократов, де Сад стал заводить себе любовниц из Оперы. В то время Опера славилась своими очаровательными статистками, выходившими на сцену исключительно

ради демонстрации собственных прелестей, с помощью которых они надеялись обрести богатого покровителя, способного обеспечить их и устроить их судьбу. Де Сад к таким покровителям не относился, а потому нередко довольствовался вторыми, а иногда даже третьими ролями при очаровательных куртизанках. И разумеется, никакого богохульства или «запрещенных приемов» с ними он не допускал. Эротические фантазии позволялись только со шлюхами из простонародья.

Первой актрисой, ставшей любовницей де Сада, оказалась мадемуазель Колле, которая несмотря на свои семнадцать с небольшим, прекрасно знала себе цену и умела извлекать выгоду из положения содержанки. Существует мнение, что де Сад искренне любил ее, однако проверить это невозможно, тем более что часть своих писем, адресованных Колле, он переписал и поместил в известный сборник «Разрозненные произведения». Это означало, что письма удались, а были ли описанные в них чувства искренними или являлись плодом творческой фантазии маркиза, значения не имело: главное — красота слога! К тому же Сад прекрасно знал, что мадемуазель делила его с другими любовниками.

Теща Донасьена, зная о праздном и предосудительном времяпрепровождении зятя, бить тревогу пока полагала неуместным. Тем более что благодаря инспектору Марэ и специально нанятым людям она знала буквально о каждом вздохе Донасьена и вмешивалась только тогда, когда, по ее мнению, ситуация становилась критической. Когда роман с Колле также начал выходить за рамки обычной интрижки, она, действуя окольными путями, разлучила влюбленных, что, впрочем, не помешало ни мадемуазель, ни Донасьену быстро найти замену друг другу. Сначала де Сад утешился в объятиях некой мадемуазель К***, затем мадемуазель Бо-пре, затем еще кого-то... Но пока он приличий не нарушал, мадам де Монтрей была готова терпеть все: выдавая дочь за родовитого дворянина, она понимала, что вместе с аристократическим блеском в семью придут и аристократические пороки. Только она не предполагала, что порочные привычки зятя окажутся на грани дозволенного законом и он не пожелает ни смягчить, ни изменить их. Граф не мог, да и не хотел больше иметь дело с сыном, графиня жила затворницей, Рене-Пелажи обожала мужа и во всем ему подчинялась, аббат де Сад, которого мадам де Монтрей долгое время пыталась привлечь к «воспитанию» Донасьена в надежде, что тот способен на него повлиять, ускользал, не желая перечить племяннику... В конце концов мадам де Монтрей, отчаявшись, повела борьбу в одиночку.

За сопротивление его привычкам и пристрастиям, за решимость всеми средствами противостоять его «образу мыслей» де Сад настолько

возненавидел тещу, что она стала олицетворять для него поистине вселенское зло. В письме из Венсенской крепости, написанном в ноябре 1783 года, де Сад изложил свои знаменитые принципы: «Вы утверждаете, что мой образ мыслей не может быть одобрен. Но мне-то что до этого? Тот, кто намеревается мыслить так, как хотят от него другие, поистине сумасшедший. Мой образ мыслей — это плод моих размышлений, он порожден моим образом жизни, моей природой. И я не в состоянии его изменить; если бы я это сделал, это был бы уже не я. Сей образ мыслей, столь вас во мне возмущающий, является единственным моим утешением; он облегчает мои страдания в тюрьме, доставляет мне все радости существования, и я дорожу им больше, чем собственной жизнью. Не мой образ мыслей делает меня несчастным, а образ мыслей других людей». Сходное заявление сделает в «Преуспеваниях порока» либертенка Олимпия: «...Только те мысли заслуживают уважения, которые ведут к счастью, то есть наши собственные мысли, и никак не чужие. Мудрость же заключается в том, чтобы презреть мнение публики, которое от нас не зависит...»

Среди «публики», «других людей» главным своим «недругом» де Сад считал мадам де Монтрей, которая в первое время прекрасно относилась к нему и даже была склонна защищать его от отцовского гнева. «Если бы радость и счастье вашего племянника зависели от нас, то можете быть уверены, ему нечего больше желать. И я тешу себя надеждой, что и дочь моя также не омрачит его жизнь»; «Ах, что за проказник! Я так называю своего юного зятя. Я даже иногда позволяю себе побранить его; мы, конечно, спорим, но примирение наступает мгновенно, и ссоры наши никогда не бывают ни серьезными, ни продолжительными»; «...он (граф де Сад. — Е. М.) вернулся из Компьеня, где, будучи у наших родственников, выставил своего сына в дурном свете, назвал неблагодарным и проч., так что моя матушка посчитала себя обязанной заметить ему: “Полагаю, сударь, что только избыток живости характера побуждает вас говорить то, о чем вы нам только что сказали. Если бы ваш сын действительно был таким, то жаловаться теперь следовало бы нам. Вы отдали нам его, и мы его взяли с прекрасной репутацией”...» Приведенные выдержки из писем мадам де Монтрей к аббату де Саду яркое тому свидетельство.

Постепенно восторженное отношение к зятю проходит, однако мадам де Монтрей по-прежнему верит в возможность исправления Донасьена. «Теперь только безупречным поведением племянник ваш может загладить ошибки уже совершенные и не наделать новых в будущем. С тех пор, как он приехал к нам, мы премного им довольны», — пишет аббату

Председательша из Эшофура, куда «на поселение» прибыл отпущенный на свободу Донасьен. Будучи женщиной энергичной, она всеми силами была готова способствовать исправлению зятя. Но Донасьену этого не нужно, он не собирался расставаться со своими привычками, а тем более под влиянием *нестерпимо добродетельной* женщины. Ибо для Донасьена мадам де Монтрей добродетельна до отвращения, и, наверное, еще поэтому именно она становится его главным врагом.

Председательша действительно была наделена множеством достоинств: волевая, справедливая, целеустремленная, выдержанная и способная держать удар. А так как усилия ее были направлены не на личную выгоду, а на сохранение чести и достояния семейства дочери, то есть прежде всего своих внуков, наследников рода де Сад, она сознавала свою правоту и черпала в ней силы для борьбы. Она долго терпела бесчинства зятя, исправно платила его долги, но история с Бовуазен переполнила чашу ее терпения. После этой истории де Сад приобрел в лице Председательши непримиримого врага.

Бовуазен, приобщенная к радостям Венеры самым графом Дюбарри, супругом знаменитой королевской фаворитки, с самого начала своей амурной карьеры считалась птицей высокого полета, ее благосклонности добивались знатные аристократы и состоятельные откупщики. Хорошенькое личико, прекрасный вкус и здравый смысл искупали отсутствие талии и маленький рост; Бовуазен, высоко ценящая свои «услуги», могла позволить себе выбирать и иногда даже вручала свое ветреное сердце кавалерам с пустым карманом. Интрижки на стороне не только развлекали ее, но и обогащали опытом, а потому, несмотря на достаточно прозаическую внешность, она пользовалась бешеным успехом у мужчин, а злые языки поговаривали, что она не отказывала себе и в радостях лесбийской любви. Не имея возможности пробиться в первые ряды содержателей Бовуазен, де Сад стал одним из многих, кому было дозволено оплачивать мелкие расходы (Донасьен покупал билеты и возил девицу в театр) и за это время от времени пользоваться благорасположением милейшей актрисы. Но, видимо, богатый постельный опыт Донасьена вызвал интерес у Бовуазен, также обладавшей изрядными навыками любовной премудрости. Любовники настолько подошли друг другу, что, несмотря на не слишком толстый кошелек Донасьена, Бовуазен вскоре дала отставку всем своим поклонникам и отбыла с маркизом в Прованс.

Впрочем, и мадам де Монтрей, и даже инспектору Марэ об этом стало известно значительно позже: парочка обставила свой отъезд со всеми

надлежащими предосторожностями. Бовуазен в это время была беременна от предшественника Донасьена, и все посчитали ее исчезновение естественным желанием пережить в тихом уголке рождение ребенка, а потом с блеском вернуться в столицу. А Донасьен уже в марте начал убеждать родственников в необходимости совершить поездку в Прованс, чтобы заняться изрядно запущенными делами. Аббат де Сад выразил согласие помочь племяннику разобраться в бумагах, и, несмотря на отцовские протесты, Донасьен отбыл на юг. Отчего граф де Сад противился поездке сына? Он боялся, что Донасьен еще при жизни лишит его всех владений и, пожелай он покинуть Париж, ему негде будет преклонить голову...

Страхи эти не имели под собой оснований — прежде всего потому, что граф де Сад вряд ли решился бы сменить Париж на Прованс. За время его проживания в столице он посетил Ла-Кост буквально считаное число раз, так что даже те немногие работы, которые он предпринял в этом замке в 1741—1743 годах, остались незавершенными.

*

В конце мая 1765 года жители деревни Ла-Кост восторженно встретили нового сеньора, прибывшего вместе с супругой осмотреть свои владения. Осведомленные о пристрастии молодого господина к зрелищам, слуги разыграли целый спектакль: исполнили торжественные куплеты, сочиненные по случаю местным стихотворцем, низко кланялись и осыпали молодую чету цветами. Устроившись в фамильном замке, Донасьен не стал заниматься скучными бумагами, которые он, если говорить честно, не собирался трогать вовсе, а принялся устраивать театр, где он был и директором, и драматургом, и режиссером, и актером. В этом занятии ему усиленно помогала супруга, с блеском игравшая на сцене любые роли, предложенные ей мужем. Каждый день в замке собиралось небольшое и не слишком изысканное общество, перед которым де Сад, его жена и те соседи, которых Донасьену удалось заразить своей страстью к театру, разыгрывали спектакли по пьесам маркиза, сочиненным им специально для жены. Вскоре к зрителям присоединился аббат де Сад.

А через некоторое время разразился настоящий скандал. Слухи о театральных постановках Донасьена дошли до Эшофура, где в то время пребывала семья Рене-Пелажи, и возмущенная мадам де Монтрей поняла, что на роль жены зять взял свою любовницу Бовуазен. Но что пережила

она, узнав, что на этих мерзких представлениях присутствовал аббат де Сад, к которому она питала подлинное уважение и чьим умом и эрудицией всегда восхищалась? Не стерпев оскорбления, она написала аббату гневное письмо: «...Я была готова ко всему со стороны г-на де С[ада], но даже я отказывалась верить, что он в пылкой увлеченности своей способен на подобное нарушение пристойности. Даже догадываясь о том, что там (в Ла-Косте. — *Е. М.*) происходит, я отгоняла от себя мысль, несомненно, для него оскорбительную, но страшилась, что опасения мои подтвердятся. К сожалению, я узнала об этом теми же путями, коими узнают об этом все, а не только я, а огласки мне как раз и хотелось избежать — главным образом ради него самого. В своих тайных изменах он повинен только перед женой и передо мной, но теперь его безнравственное поведение стало достоянием всей провинции, оно оскорбительно для его соседей, а если о нем станет известно здесь, то ошибку уже нельзя будет исправить — а как можно сохранить его в тайне? И это в то время, когда я, используя влияние своих друзей, тружусь над его продвижением и состоянием, когда только благодаря жене и нам ему был смягчен приговор по делу, грозившему навсегда погубить его карьеру и стоять ему многих лет заключения в крепости, — вот какую благодарность мы получаем! А потом проникновенным голосом он станет жаловаться на судьбу, на неукротимость своих страстей, над которыми он не властен, будет сожалеть о том, что сделал несчастными тех, кто к нему привязан. Мы не всегда можем сдерживать порывы нашего сердца, но мы всегда в ответе за наше поведение, именно по нему о нас и судят. От поведения зависит, займет ли он те должности, для которых предназначен по рождению, или же будет смещен с них как дурной подданный, что, несомненно, унижительно для такого человека, как он. <...> Что до меня, то я более ни во что не вмешиваюсь, ибо окончательно убедилась, что дружеские чувства чужды его сердцу. В течение шести лет, что он провел на войне и находился под присмотром отца, он не совершил столько непристойностей и не растратил столько денег, сколько совершил и растратил сейчас. Следовательно, строгость пристала ему гораздо больше, нежели наши благодеяния...» Вот такое письмо, сдержанное, рассудительное и предостерегающее.

Но Председательше нельзя терять голову: дочь ее, с нетерпением ожидающая возвращения супруга из «деловой поездки», не должна узнать правду о развлечениях мужа, по которому она очень скучает. И Рене-Пелажи сообщают, что супруг ее занят делами, а в свободное время играет в любительских спектаклях, которые устраивает у себя в замке. Словом, невинные развлечения аристократа...

Когда слухи о непристойных забавах Донасьена дошли до его тетушки-аббатисы, та написала племяннику гневное письмо, где осыпала его упреками и велела немедленно прекратить непристойный и унижительный для семьи фарс. Донасьен возмутился. Черт возьми, эта семейка посмела его упрекать! Да они сами хороши! У аббата в доме целый гарем, тетка Вильнев живет с любовником, неизвестно, что там за душой у самой аббатисы... И вообще, он никому не сделал зла, сидит у себя дома и не заставляет и не поощряет никого называть женщину, проживающую у него в доме, его женой, о чем он сам всем и заявил. И вообще, он, в сущности, буквально выполнил дядюшкин совет. Ведь сказал же аббат ему: «Никогда не выдавайте ее за жену, но не мешайте остальным говорить что им вздумается, даже когда вы сами будете в их присутствии утверждать противоположное». Станный, однако, совет — чувствуется желание угодить и нашим и вашим. А скорее всего, это не совет, а очередная придумка Донасьена, неуклюжая попытка перевалить свою вину на чужие плечи, стремление спрятать голову в песок и подождать, пока кто-нибудь разрешит неловкую ситуацию вместо него. Донасьен любил выступать, но только когда был уверен, что сорвет аплодисменты. Когда же имелся риск оказаться освиственным, он предпочитал не высовываться. Если бы фея Гордыня, стоявшая у колыбели младенца Донасьена, не столь щедро одарила его надменностью, он вряд ли бы в запальчивости писал столько оскорбительных писем, о которых очень скоро начинал сожалеть, но, не умея признавать свои ошибки, принимался выкручиваться, и... мутные потоки чернил лились с новой силой.

Донасьену не привыкать изъясняться на бумаге — страсть к письму, к писанию, к лежащим на бумагу строкам с изысканнейшими синтаксическими конструкциями (он всегда изъяснялся красивым слогом, даже описывая самые отвратительные преступления) в нем столь же сильна, сколь и страсть к театру. А здесь, в Ла-Косте, при поддержке милейшей Бовуазен, он беспрепятственно играл свой театр. И не желая покидать замок, принялся оправдываться, писать покаянные письма: «... Дорогой дядюшка, прошу вас о великой милости: забудьте ошибки, совершенные мной в ослеплении страсти, над коей я был не властен. <...> Заклинаю вас, простите мне все и поверьте, что ошибки, совершенные мною под воздействием того создания, погружают меня в пучину угрызений совести». «То создание» — это Бовуазен, с которой у него было много общего, и прелестница прекрасно знала, как воздействовать на Донасьена, чтобы он не помышлял об их разлуке. Осенью Бовуазен должна была родить, так что перспектива провести лето перед родами в провинции,

вдали от общества, ее вполне устраивала. И Донасьен, как было ему свойственно, на словах покался, а жизнь продолжал вести прежнюю. Да и куда бы он мог поехать вместе с Бовуазен, если его уже днем с огнем разыскивали кредиторы? Любовная круговерть с фигурантками из Оперы и путешествие с Бовуазен не только съели остатки его наличности, но и заставили наделать множество долгов, отдавать которые ему было не из чего. Но отсутствие денег останавливало Донасьена только в тех случаях, когда взять в долг становилось невозможным. А пока очередной кредитор был готов ссудить его нужной суммой, он думал только об удовольствиях. Во всех его сочинениях в той или иной форме содержится активная, а иногда даже навязчивая проповедь наслаждения как единственно достойной и естественной цели в жизни.

Тем временем мадам де Монтрей никак не могла решить, каким образом восстановить *status quo*. С одной стороны, надо вызвать Донасьена в столицу (добровольно отправиться в Эшофур он не согласится), где в вихре развлечений он наверняка забудет теперешнюю прелестницу. С другой стороны, никто не может точно сказать, как долго еще продлится их роман и сколько денег на него уйдет. А кредиторы уже зашевелились, и стоит только де Саду или Рене-Пелажи оказаться в Париже, как они дружно на них накинутся. Председательша же слишком хорошо знала, кому предстоит улаживать дела с кредиторами... Поэтому она просит аббата попытаться разлучить любовников и задержать Донасьена в Провансе, ведь «его присутствие здесь покоя... не добавит: он пожелает хотя бы из вежливости жить вместе с женой, но тут его станут преследовать кредиторы и он наделает новых долгов; а если ему прискучила его любовница, он заведет новую».

Вкусив свою долю развлечений, организованных племянником, и, как полагают, развлечений не слишком пристойных, аббат устыдился и принялся, как умел, воздействовать на Донасьена. Надо полагать, случилось это в то время, когда ветреному «мальчику» Ла-Кост наскучил, и в конце лета 1765 года Донасьен тайно возвратился в Париж и поселился у Бовуазен, прибывшей вместе с ним также без всякой огласки. Положение у Донасьена было сложное: во-первых, он не мог допустить, чтобы о его приезде узнали мадам де Монтрей и Рене-Пелажи, находившиеся в это время в Эшофуре, а во-вторых, его преследовали не только парижские, но и провинциальные заимодавцы. Чтобы спасти любовника от долговой ямы, Бовуазен совершила необычный для дамы полусвета поступок: продала свои драгоценности и дала Донасьену в долг при условии, что он станет выплачивать ей небольшую ренту.

Расплатившись со срочными долгами, Донасьен, наконец, отправился к семье в Эшофур, где жена встретила его восторженно, а теща сдержанно. Если бы не столь сильная привязанность дочери к своему супругу, она бы наверняка высказала зятю все, что думала о его поведении, а главное, о его постоянно возрастающих расходах. Но, не желая омрачать дочери ее радость, она всего лишь пообещала зятю сделать все возможное, чтобы к ноябрю раздобыть денег для уплаты его долгов, не трогая причитающийся супругам капитал.

Едва хрупкий мир был восстановлен, как в Эшофур пришло известие о выкидыше у Бовуазен, и Донасьен без объяснений помчался в Париж, оставив мадам де Монтрей лгать и изворачиваться, сочиняя причину, по которой супругу дочери понадобилось срочно отбыть в столицу. «Он несчастен, потому что не может полюбить ту, которой должен был бы дарить свою любовь», — справедливо пишет о зяте Председательша.

Но, скорее всего, Донасьен не может любить вовсе: он может только позволять любить себя. Удовлетворяя свое самолюбие, он добивается благосклонности очередной великосветской куртизанки, а затем устраивает ей сцены, если она пожелает с ним расстаться. Так случилось и с Бовуазен. Оправившись после болезни, соблазнительная дамочка начала выходить в свет и мгновенно оказалась в окружении толпы поклонников, готовых заплатить за ее любовь любые деньги. Сделав свой выбор, она дала де Саду отставку. Донасьен мгновенно возненавидел и конкурента, и бывшую любовницу. Разъяренный, он, как обычно, выплеснул ярость на бумагу: «Так вот твое истинное лицо, чудовище! <..> Я не стану мстить: ты не стоишь таких трудов. Величественное презрение — вот единственное чувство, кое сердце мое может испытывать по отношению к тебе. <...> Пусть небо уготовит тебе раскаяние, и тогда ты пожалеешь, что заставила меня испытать все удары судьбы! <...> Остатки жалости не позволяют мне повсюду рассказывать о твоём коварстве. Позор и утрата доверия, ожидающие тебя в случае моей нескромности, могли бы отомстить за меня. Но будь спокойна, мое презрение к тебе будет гораздо лучшей мстью. Прощай в последний раз. <...> Твой недостойный образ вскоре сотрется в моем сердце». Поистине, от любви до ненависти — один шаг.

Кончина Бовуазен была печальна: из-за склонности к полноте ей пришлось уйти из театра, и она стала держать игорный дом. Но здесь удача не сопутствовала ей, она разорилась и окончила свои дни в Сент-Пелажи. Сведения эти почерпнуты из альманаха светской и литературной хроники под названием «Journal historique et litteraire», который в 1762 году начал издавать друг мадам Дубле и завсегдатай ее литературного салона Луи

Ретиф де Башомон. Альманах часто сообщал пикантные сведения из жизни сильных мира сего. Издание прекратило свое существование в 1789 году, так как, по словам Муфля д'Анжервиля, бывшего в то время его главным редактором, после 1789 года все газеты «ударились в эротику». Следует отметить, что издание Башомона сыграло немалую роль в становлении легенды о маркизе-живорезе.

*

Потерпев фиаско с Бовуазен, де Сад погрузился в пучину наслаждений: менял любовниц как перчатки, приводил в маленькие домики шлюх и устраивал непотребные оргии, посещал притоны и искал счастья в садах Пале-Рояля... Жизнь его была столь деятельной и бурной, что даже инспектор Марэ не успевал отслеживать все его похождения. При этом Донасьен прекрасно ладил с женой, и 27 августа 1767 года у них родился сын, названный Луи Мари. Между делом Донасьен успел съездить в Прованс и проконтролировать начатую им в прошлое посещение реконструкцию Ла-Коста, заключающуюся, главным образом, в сооружении настоящего театрального помещения, оснащенного по последнему слову театральной техники, а также в переделке нескольких комнат для хозяев замка.

Ни рождение сына, ни увлечение строительством не повлияли на нрав Донасьена, он по-прежнему числился среди «опасных» либертенгов и находился под надзором полиции. «Нельзя все время гладить его против шерсти, как обычно делал его отец, он может пуститься во все тяжкие. Только кротостью, снисходительностью и взыванием к разуму можно надеяться наставить его на путь истинный», — предостерегал аббат мадам де Монтрей, зная, что та стремится во всем контролировать поведение зятя. Любезный аббат лицемерил: он прекрасно знал, что чем больше кротости проявляли при общении с его племянником, тем более нагло и высокомерно тот начинал себя вести.

Смерть графа де Сада, случившаяся 24 января 1767 года, потрясла Донасьена. К этому времени граф давно уже жил в Версале совершеннейшим отшельником, писал стихи, воспоминания, рассуждения о женщинах и о любви и, подобно многим состарившимся либертенам, обратился к Богу. Молитва была его единственным утешением. Ни с сыном, ни с женой он отношений не поддерживал, сына именовал исключительно «неблагодарным» и вспоминал о нем с горечью. Есть основания полагать,

что до него доходили слухи о похождениях «мальчика», но граф давно уже не имел на него никакого влияния.

После похорон, состоявшихся в приделе собора Гран-Монтрей в Версале, Донасьен вместе с сопровождавшим его тестем, господином де Монтреем, отправились в дом — просмотреть бумаги графа и ознакомиться с завещанием. Возможно, в те часы, читая написанные четким отцовским почерком строки, Донасьен Альфонс Франсуа осознал, что, несмотря на вечные ссоры, на свою давнюю обиду на отца, они были очень похожи, и он один может по-настоящему оценить и литературное, и философское наследие графа де Сада. Он велел тщательно собрать отцовские рукописи и отправить их к себе на квартиру. В дальнейшем он прочтет их все, приведет в порядок, классифицирует и сделает из них аккуратный архив, к которому будет обращаться на протяжении всей своей жизни. «Его неподдельное горе в связи с уфатой отца, его волнение примиряют меня с ним. Будьте ему отцом, сударь, лучшего наставника ему не сыскать», — сочувствуя горю Донасьена, напишет Председательша аббату де Саду.

Увы, маркиза де Сада не исправит никакой наставник. Ознакомившись с завещанием графа, Донасьен пришел в ярость: отец оставил ему одни долги! И действительно, после статей, где оговаривались суммы и движимое имущество, отходившее к графине, братьям и сестрам графа, а также маленькая пенсия слугам, вся недвижимость вместе с правами, обязательствами, соглашениями и всем, что из этих соглашений следовало как в настоящем, так и в будущем, переходило во владение сына и далее к прямым его наследникам, то есть к его детям. А разобравшись в так называемых «правах, обязательствах и соглашениях», Донасьен обнаружил, что причитавшийся графу после женитьбы сына доход в сумме восемнадцать тысяч ливров полностью уходил на уплату долгов и налогов. Теперь эти долги и налоги должен был платить наследник. Но в отличие от графского титула, который также перешел к Донасьену, но был им отвергнут, отказаться от выплат по долговым обязательствам наследник не мог — обязательства были выданы под недвижимость, которая теперь принадлежала ему!

О трепетном отношении вечно нуждавшегося в деньгах Донасьена к вопросу о наследстве свидетельствует обширный документ, составленный в марте 1767 года и именуемый «Соглашением между маркизом де Садом и матерью вышеуказанного маркиза». В нем договаривающиеся стороны подробно перечисляли права, имущество и выплаты, причитавшиеся вдове после смерти мужа, и те права вдовствующей графини, которые она передавала сыну в обмен на определенную сумму. Так, в частности, де Сад

должен был выплачивать матери из наследства графа двенадцать тысяч ливров вдовой пенсии и шестьсот ливров ренты за отказ графини от проживания в Ла-Косте и пользования мебелью из этого замка, полагавшиеся ей на основании брачного контракта. После заключения соглашения де Сад должен был единовременно выплатить графине определенную сумму. От одного взгляда на количество нулей при цифрах выплат, которые должен был сделать де Сад в пользу графини, становилось ясно, что он предпримет все, чтобы этих денег не платить. Точнее, не будет делать ничего, чтобы эти деньги у него появились. К счастью, у графини были и свои, независимые источники дохода, в частности небольшая пенсия, выплачиваемая ей семейством Конде.

После смерти отца, сеньора Сомана, Мазана и Ла-Коста, Донасьен, в памяти которого были живы детские воспоминания о том, как магистраты из Сомана, преклонив колени, воздавали почести ему и его отцу, тоже пожелал получить от своих арендаторов оммаж, иначе говоря, захотел, чтобы его арендаторы исполнили средневековый обряд принесения вассалами обета верности своему сеньору. Церемонию согласились провести в Ла-Косте, где совет деревни по собственной инициативе заказал мессу по опочившему графу. В других владениях магистраты отказались разыграть этот основательно забытый средневековый обряд, заверив молодого любителя феодальной старины, что и без обряда оформят надлежащий нотариальный акт. В урочный день Донасьен прибыл в Ла-Кост, и четыре делегата от местной общины, как положено, с непокрытыми головами и без оружия, преклонили колени перед де Садом и вложили свои сомкнутые ладони в ладони сеньора маркиза. Роль феодального господина де Сад исполнил блистательно. Интересно, чего больше было в желании де Сада восстановить полузабытый средневековый обряд: стремления устроить зрелищный спектакль или приверженности к феодальному праву? Иначе говоря, руководили им эмоциональные или политические пристрастия? Заметим: если речь шла о политических пристрастиях, де Сад был в них не одинок. В преддверии революции не только третье сословие, но и часть аристократов были недовольны королем. Многие родовитые дворяне возмущались засильем чиновников, запросто покупавших дворянские титулы, всевластьем откупщиков и бесправным, по их мнению, положением дворянства. Эти дворяне предлагали «обезбурбонить» Францию и восстановить средневековую дворянскую вольницу. Если судить по манерам и поведению де Сада, он, несмотря на превратности судьбы, всегда ощущал свою принадлежность к тому высшему слою общества, над которым властен только король. И похоже, искренне

возмущался, когда судьи в парламенте вместо того, чтобы верить его слову благородного сеньора, выслушивали показания каких-то ничтожеств и выискивали бессмысленные улики.

Не только темперамент заставлял маркиза метаться в поисках удовольствий. У него были большие проблемы с семяизвержением, затрудненным и сопровождавшимся болевыми ощущениями. Сравнивая этот процесс с попыткой густой сметаны вырваться из узкого бутылочного горлышка, он писал, что вряд ли кто-нибудь сумеет понять его, ведь, как известно, никто вокруг, кроме него, такой болезнью не болел... Даже болезнь была для де Сада поводом подчеркнуть свое неповторимое «я». И далее следовала салическая аксиома, которую он неоднократно повторял как в письмах, так и в романах: мы не в силах бороться со страстями, дарованными нам природой, а потому, выпуская наружу наши страсти, мы всего лишь следуем природе, и никто не вправе нас за это осуждать.

В конце XIX века доктор Альмера писал, что если бы правосудие времен де Сада придерживалось более гуманных взглядов, маркиз бы сразу попал в лечебницу для душевнобольных, где при известном режиме, диете и лечении его физиологический дефект мог бы быть в значительной степени исправлен. В наши дни сексопатолог Торджманн, проанализировав описанные де Садом симптомы, пришел к выводу, что подобный дефект мог возникнуть в результате плохо пролеченного венерического заболевания. Видимо, привыкнув к боли, ставшей неотъемлемой частью эротического наслаждения, к сладострастию, неотделимому от жестокости, де Сад не стал обращаться к врачам, как делал всегда по поводу иных своих заболеваний. Судя по записям маркиза, он внимательно следил за своим здоровьем, а болезнь считал достойным поводом требовать к себе особого отношения. Наверное, в активной форме алголагнии де Сад нашел удовлетворение не только физическое, а потому вместо обращения к врачам приумножал эротические развлечения. Но, как и его герои, наряду с утехами плоти он высоко ценил слово, позволявшее ему теоретизировать, подводить философскую основу под свои фантазии. И, видимо, словами де Сад настолько запугивал нанимаемых им девиц для утех, что те боялись доносить на него. Впрочем, если бы де Сад действительно занимался вивисекцией или шпиговал свои жертвы салом, как писал о нем его недруг и конкурент по перу Ретиф де ла Бретон, вряд ли такие экстравагантные поступки ускользнули бы от бдительного ока полиции.

Глава IV.

ЛЕГЕНДА О МАРКИЗЕ-ЖИВОРЕЗЕ

3 апреля 1768 года, в Пасхальное воскресенье, щеголеватый молодой человек в сером рединготе и с белой муфтой из нежного меха, взятого с брюха рыси, нанял на церковной паперти женщину, усадил ее в карету и увез в свой «маленький домик» в Аркейе. Женщина была вдова, и звали ее Роза Келлер. Потом она рассказывала, что ее обманом завлекли в домик: она якобы поехала с господином только потому, что тот пообещал ей работу, которая ей, на тот день безработной, была крайне необходима. Но вряд ли почтенная вдова, чей возраст приближался к сорока, не понимала, для какой «работы» ее приглашают. Проведя ночь в домике вместе с нанявшим ее молодым человеком, утром она, вся расцарапанная и в лохмотьях, явилась к судье и поведала ему душераздирающую историю о том, какие мучения пришлось ей претерпеть.

По ее словам, молодой человек сек ее плетью, привязывал к кровати, угрожал зарезать и закопать ее тело в саду. Он кричал на нее, избивал розгами, содрал с нее рубашку и изрезал все тело ножом, а затем стал лить на раны расплавленный воск. Правда, он дал ей какую-то мазь и велел намазаться ею, чтобы порезы поскорее заживали. Потом он запер ее в тесной комнате, оставил ей поесть, а сам ушел. Подкрепив свои силы, она сумела открыть окно и, используя простыню вместо веревки, выбралась из дома и побежала в полицию. Лакей молодого человека пытался догнать ее, крича, что хочет заплатить ей, но она ему не поверила. Судья отвел пострадавшую к хирургу, и тот зафиксировал на ее теле следы ударов плетью, царапины и ссадины. На основании показаний Розы Келлер в полиции было заведено дело на маркиза де Сада: установить личность молодого человека с белой муфтой труда не составило.

Донасьен не впервые привозил в Аркей девиц легкого поведения для осуществления своих «фантазий». Но на этот раз чувство безнаказанности, никогда его не покидавшее (не покинет оно его и в будущем), его подвело. Он забыл, что безнаказанность гарантировалась тому, кто соблюдал условности или хотя бы делал вид, что относится к ним с почтением. А Донасьен Альфонс Франсуа, по обыкновению, не собирался ни каяться, ни пытаться замять дело. Да и в чем он, собственно, был виноват? Публичная женщина продавала свое тело, он за него заплатил, следовательно, имел

право делать с ней все, что ему хотелось. Он не собирался держать ее у себя, а если она решила бежать и не взяла денег, то он здесь ни при чем.

В своем отношении к служительницам продажной любви де Сад был не одинок: эти женщины стояли на самом низу социальной лестницы, и в отличие от светских куртизанок и содержанок из Оперы их могли заставить исполнять любые прихоти. Говорить об уважении к женщине как к личности тем более не приходилось: в галантный век женщина была кумиром и... предметом вождения. А розги... розги доставались всем, включая августейших особ.

Наверное, уже во время Аркейского дела в голове де Сада зрели пространные инвективы как в адрес правосудия, принимавшего к рассмотрению жалобы жриц продажной любви, так и в адрес самих жриц, дерзавших жаловаться на жестокое обращение клиентов. В дальнейшем эти инвективы нашли свое место в романе «Алина и Валькур». На его страницах досталось всем: и судебной системе, и судьям, и продажным девицам. «Уважение к этим презренным созданиям проявляют только в Париже и Лондоне. Если в Риме, Венеции, Неаполе, Варшаве или Петербурге они появляются в суде, куда они дерзнули пожаловаться, их тотчас спрашивают, заплатили им или нет. Если им не заплатили, суд требует возместить им убыток; это справедливо. Если же им заплатили и они жалуются только на дурное обращение, их грозят запереть в тюрьму, дабы они не терзали уши судей своими гнусными речами. Меняйте ремесло, отвечают им, а ежели не хотите, терпите связанные с ним неприятности. Таким образом, в указанных городах девиц этих в три раза меньше, чем в Париже или Лондоне». Рассуждение, достойное истинного либертена: жертва не имеет права голоса, пусть радуется, что ей заплачено. Персонажи де Сада не будут иметь даже этой глупой привычки — платить «живой мебели», из которой они извлекают удовольствия.

«Совершенно нельзя понять, отчего какой-то чиновник вбил себе в голову, что, делая тайные ужасы либертинажа достоянием широкой публики, он радеет о благе общества.

Неужели сей чиновник считает, что можно увязать религию и законы приличия, полностью противоречащие либертинажу, с оглаской всевозможнейших пороков? Напротив, следует сурово карать тех злосчастных публичных женщин, которые оказались настолько глупы, что решили разоблачить свои пороки перед судьей, ибо, разоблачая сии пороки, они совершают ошибку не только по отношению к самим себе, но и развращают судью, который их слушает, а также публику, ибо судья придает их показания огласке». А этот пассаж из романа является

возмущенным выпадом в сторону судей. Далее следует грозное обвинение в адрес начальника полиции Сартина, из-за которого, по мнению де Сада, «теперь юноша в пятнадцать лет знает то, чего раньше не знал даже почтенный муж в сорок лет». Уместно отметить, что указ о надзоре за проститутками был принят значительно раньше назначения Сартина, а именно 26 июня 1713 года по инициативе тогдашнего министра полиции Марка Рене д'Аржансона. Приведенное высказывание вполне в духе Донасьена, ведь он всегда предлагал: давайте оставим либертенов с их пристрастиями в покое, они же никому не мешают, особенно когда о них никто не знает.

*

Всякий раз, когда де Сад проявлял показную заботу о добродетели, из-за его спины немедленно выглядывала ухмыляющаяся физиономия божка лицемерия. Де Сад никогда не скрывал своих пристрастий! Любителей розог и прочей сексуальной клубнички в галантный век было немало, и девицы для утех прекрасно знали, что знатные и богатые клиенты могли позволить себе любые фантазии, не опасаясь преследования со стороны полиции. Ни развратник де Фронсак, сын герцога де Ришелье, ни сам герцог, ни граф де Шаролэ, ни даже граф де Сад не были привлечены к суду: королевская власть предписывала полиции нравов гасить скандалы с участием либертенов-аристократов. Только когда сладострастные похождения герцога Ришелье (состоявшего в дружбе с аббатом де Садом) стали притчей во языцех, король на некоторое время упрятал его в Бастилию — переждать скандал. В те времена заключение рассматривалось не как наказание, а скорее как предупреждение, предотвращение последствий возможных проступков. Пребывание в государственных тюрьмах, таких как Бастилия, оплачивалось родственниками заключенного, и те, у кого родственники были состоятельны, устраивались там совсем неплохо, не в пример лучше тех, кто довольствовался казенным содержанием. Забегая вперед скажем, что де Сад потратит на обстановку своей камеры как в Венсене, так и в Бастилии не одну сотню ливров. А, к примеру, «вечному узнику» Латюду, оставшемуся в Бастилии без всякой поддержки, приходилось довольствоваться гнилой соломой и малосъедобной пищей.

Сходство биографий — прежде всего тюремных — Латюда и де Сада позволяет нам уделить этому неординарному человеку немного внимания.

Жан Анри Мазер де Латюд (1725—1805), лангедокский дворянин, попал в Бастилию за мошенничество: отправив по почте мадам де Помпадур пакетик безвредного порошка, он попросил у нее аудиенции и сообщил, что ее хотят отравить, прислав яд. Проверив порошок и сверив почерк доносчика и отправителя посылки, мадам де Помпадур поняла, что имеет дело с мошенником и, получив у короля *tette de cachet*, что буквально переводится как «письмо с печатью», приказала бросить Латюда в Бастилию. За тридцать пять лет заключения Латюд совершил несколько побегов, сидел в карцере Бастилии, в Венсенском замке, в Шарантоне и в Бисетре. В 1784 году с помощью друзей добился полного оправдания и вышел на свободу.

Де Сад стал своего рода козлом отпущения потому, что, выражаясь современным судебным языком, «совершал развратные действия с особым цинизмом». Недаром судьи неоднократно подчеркивали, что де Сад нанял Розу Келлер на Пасху! За спиной маркиза не было ни сильного клана, ни высоких покровителей, поэтому он явился подходящей фигурой, которую можно было отдать на растерзание общественному мнению, этой новой, рожденной веком Просвещения силе, с которой государству и его институтам приходилось учиться считаться. Вдобавок и сам маркиз вел себя как мальчишка-подросток, упрямо твердящий «знать ничего не знаю, я не виноват»: Донасьен даже не пытался что-либо предпринять. А ведь ему было двадцать семь лет, он давно совершеннолетний, глава семьи, владелец обширных земельных угодий, а после смерти бездетных дядюшек ему предстоит стать главой древнего и уважаемого в Провансе рода. Тем не менее Донасьен Альфонс Франсуа делал все, чтобы общество не считало его тем, кем он был — взрослым мужчиной, знатным и облеченным ответственностью человеком. При первой же угрозе своему «образу мыслей» Сад немедленно опускал голову и посыпал ее пеплом. Раскаяние его вряд ли было искренним, скорее это был театр одного актера, точнее, одного жалобщика. В век, переплавивший в себе галантность и просвещенность, важен был не возраст, а умение применить либо ум, либо галантность. Благодаря блистательному уму, высочайшему интеллекту и поразительному трудолюбию, де Сад, писатель и философ, вписал свое имя в историю. Благодаря своему «образу мыслей», он постоянно чувствовал себя несчастливым, вечно выискивал поводы для недовольства, всегда находил себе врагов и постоянно оправдывался. Социальный нонконформист, он никогда не подвергал себя принуждению, даже когда речь шла о его собственной пользе.

Наверное, согласись Донасьен поступиться собственными принципами

(в данном случае весьма сомнительными), он сумел бы замять скандал, так как в своих показаниях Роза Келлер преувеличила нанесенный ей ущерб. Если бы де Сад действительно обошелся с ней так жестоко, как она говорила, она не сумела бы вылезти из окна второго этажа и примчаться в полицию. Но для Донасьена это приключение было одним из многих, а потому он не придавал ему никакого значения. Зато мадам де Монтрей в полной мере оценила, каким скандалом грозил зятю, а главное семье судебный процесс, и, задействовав все связи, добилась королевского приказа о задержании де Сада и препровождении его в крепость Сомюр. Накануне прибытия де Сада комендант крепости получил приказ следующего содержания: «Сударь, со дня на день к вам в крепость Сомюр прибудет граф де Сад. Во исполнение воли короля вам надлежит содержать его под неустанным надзором, ибо вы несете за него полную ответственность. Также нельзя ни под каким видом позволять ему покидать пределы крепостных стен». По дороге к месту заключения Донасьен написал аббату: «Дорогой дядюшка, со мной приключилось несчастье: меня арестовали и сейчас я нахожусь на пути в крепость Сомюр. Семья намерена хлопотать за меня и добиваться моего освобождения». Иными словами, случилось стихийное бедствие и родственникам предстоит вызволять пострадавшего, который милостиво соглашается не чинить им в этом препятствий.

Семья в лице мадам де Монтрей и ее супруга, с готовностью поспешившего на выручку зятя, бросилась уничтожать улики и уговаривать девицу отказаться от жалобы. И то и другое Монтреям удалось, хотя Роза Келлер и проявила недюжинные способности вымогательницы. Ее отказ от претензий обошелся семье примерно в две с половиной тысячи ливров. А злосчастный домик в Аркее Рене-Пелажи скоро продала, так как в отсутствие мужа на нее вновь легла обязанность расплачиваться с кредиторами.

Де Сада перевели из Сомюра в отдаленную крепость Пьер-Ансиз. Перед прибытием нового узника комендант де Бори получил приказ: «Сударь, со дня на день к вам в крепость Пьер-Ансиз прибудет господин де Сад. Во исполнение воли короля вам надлежит содержать его в отдельной комнате, а во время прогулок, когда ему будет необходимо подышать воздухом, оградить его от любых контактов с другими заключенными». Распоряжения комендантам крепостей, куда отправляли де Сада, похожи как две капли воды. Отныне подобные приказы станут сопровождать де Сада во все места его заключения, ибо вербальных фантазий маркиза опасались не меньше, чем его непредсказуемых поступков. Несмотря на

высылку маркиза в отдаленный форт, его дело все же попало в уголовную палату парижского парламента, получило огласку и не дошло до суда только благодаря титаническим усилиям мадам де Монтрей при поддержке графини де Сад, покинувшей свое уединение ради доброго имени семьи. Де Саду выхлопотали у короля оправдательную грамоту, полностью освобождавшую его от наказания. 16 ноября 1768 года после семимесячного заключения в крепостях Сомюр и Пьер-Ансиз и кратковременного пребывания в парижской тюрьме Консьержери маркиз был отпущен на свободу — при условии, что он немедленно удалится к себе в Ла-Кост.

*

Неохотно подчинившись королевскому повелению, Донасьен отбыл в Прованс, предоставив теще заботы о внуке, а жене — хлопоты по удовлетворению кредиторов. А следом за Донасьеном потянулась молва, подкрепленная печатным словом, этой великой креативной силой эпохи Просвещения. Аркейское дело породило легенду о маркизе-живорезе, который, пользуясь вседозволенностью аристократа, издевался над бедной женщиной. Авторы газетных заметок, листовок, рукописных новостей, мемуаров и хроник упорно создавали образ, напоминавший де Сада лишь отдаленно. Происшествие, которому Донасьен не придал никакого значения, подавалось как злонамеренный поступок, а будущий член Конвента Жак Антуан Дюлор и вовсе превратил де Сада в главного злодея преступного Старого порядка. Разумеется, деяния маркиза не были столь ужасны, как их расписывали, и он наверняка посмеялся, узнав, что Дюлор поставил его выше печально знаменитых Жиля де Ре и графа де Шаролэ.

Газеты в один голос сообщали, что граф де Сад, или, как скромно указывали некоторые: граф де С***, обманом заманил к себе почтенную женщину (честную нищенку), раздел, зверски изрезал ножом (ланцетом, скальпелем), а затем накапал в раны воска, которым запечатывают письма (залил раны едкой жидкостью). Отважной страдальце удалось обмануть мучителя и бежать из страшного дома. Среди причин, побудивших негодея совершить сей жестокий поступок, называли зловещую страсть к вивисекции (у него в саду нашли закопанные человеческие останки!), а также помутнение рассудка, из-за которого родственники упрятали его подальше. После одной из подобных публикаций графиня де Сад написала возмущенное письмо Сартину, требуя прекратить порочить честное имя

семьи. Нет, она не отрицала вину Донасьена, ее возмущали фантастические домыслы досужих писак. Но остановить их ни графиня, ни даже полиция не могли: направляя свой гнев и возмущение против де Сада, общественное мнение одновременно направляло его против всех аристократов. Образ маркиза-живореза зажил собственной жизнью, тем более что Донасьен не давал оснований его забыть. Так, в частности, в Ла-Косте, во время одного из обысков, в саду были найдены человеческие кости, прежде украшавшие кабинет маркиза. Де Сад утверждал, что кости эти привезла с собой актриса Дюплан для придуманной ею же пьесы.

Некоторые полагали, что де Сад был не преступником, а всего лишь страстным любителем химии и испытывал на несчастной женщине новый бальзам для лечения ран, а потому, испещрив тело жертвы порезами, он втер в них свой бальзам, и через несколько часов раны затянулись. Версию де Сада-естествоиспытателя поддержала известная в то время хозяйка литературного салона мадам дю Деффан: она изложила ее в письме к своему давнему другу, английскому дипломату и писателю Горацию Уолполу (автору готического романа «Замок Отранто»). А может быть, расцарапанное тело проститутки было очередным извращенным богохульством? Известно, что в Перудже почитатели святого Иеронима во время торжественных процессий наносили себе удары кусками воска, смешанного с осколками стекла, и к концу процессии выглядели так, словно с них с живых содрали кожу. Фантазия де Сада была вполне способна превратить тело Розы Келлер в садическую метафору... Но, так или иначе, тема либертена, секущего розгами и проливающего кровь объектов своих эротических вожделений, красной нитью протянулась как по жизни, так и по сочинениям де Сада.

Когда газеты — сначала французские, а потом и иностранные — исчерпали тему Аркейского дела, обсудив со всех сторон не только поступок де Сада, но и его жертвы, которая, по мнению некоторых газетчиков, отчасти сама была виновата в поведении клиента, ибо наградила его дурной болезнью, им на смену пришли беллетристы, и прежде всего извечный недруг де Сада Ретиф де ла Бретон. Его богатая фантазия породила историю о том, как маркиз затащил женщину в анатомический театр, где собирался вскрыть ее во имя научного эксперимента, более важного, чем жизнь какой-то бесполезной нищенки. К счастью, женщине удалось разорвать веревки, и она убежала прямо из-под скальпеля хирурга-любителя. После она рассказывала, что видела в этой аудитории выпотрошенные тела и бочку, наполненную конечностями... Про спрятанные де Садом мертвые тела Ретиф сочинил еще одну историю

— о том, что в Ла-Косте, осушив пруд, нашли на дне трупы юноши и девушки, связанные лентой и напигованные салом. До такого макабра недодумались даже персонажи маркиза. Не отстал от Ретифа и Дюлор, утверждавший, что во время тюремного свидания де Сад на глазах жены и тестя изнасиловал свояченицу.

Пассаж из «Рассуждений о романе» свидетельствует о близком знакомстве де Сада с сочинениями Ретифа: [Ретиф] «завалил публику своими сочинениями; ему надо поставить печатный станок прямо у изголовья кровати; к счастью, один только сей станок будет стенать от его ужасной писанины; низкий, раболепствующий стиль, дурно пахнущие приключения...». Однако не у Ретифа ли де Сад позаимствовал образ естествоиспытателя-живодера, а потом превратил его в доктора Родена из «Злоключений добродетели»? Доктор Роден хотел проделать научный опыт по исследованию кровеносных сосудов и для этого намеревался заживо произвести вскрытие дочери. Перед тем как приступить к операции, он заявлял: «...крайне неприятно, когда дурацкие соображения оказывают противодействие развитию науки <“.> Кто может сомневаться, стоит ли принести в жертву одного человека ради спасения миллионов людей?» Такой черный юмор был вполне в духе Донасьена. В «Преуспеваниях порока» сходные рассуждения де Сад вложил в уста доктора Иберти, испытывавшего лекарства на обитателях приюта: «Вы окажете обществу плохую услугу, если запретите нам, истинным художникам от медицины, оттачивать наше мастерство на отбросах общества. В этом их единственное предназначение».

Пока Донасьен переживал скандал в Ла-Косте, в Париже 27 июня 1769 года у него родился второй сын, названный Клодом Арманом. В отличие от первенца, его крестными родителями стали председатель де Монтрей и вдовствующая графиня Мари-Элеонор де Сад. Аркейское дело окончательно воздвигло стену между двором и Донасьеном. Прежде маркиз не был светским человеком по собственному желанию, теперь же путь в общество ему был заказан. Даже в Ла-Косте соседи-дворяне не стремились принимать приглашения на спектакли и увеселения, устраиваемые Донасьеном. Но вряд ли он от этого очень страдал: аристократ де Сад, цепко державшийся за феодальные привилегии, прекрасно чувствовал себя в окружении своих вассалов, каковыми он считал всех, кто был ниже его по рождению, в том числе и деревенскую аристократию — состоятельных землевладельцев, нотариусов, адвокатов. Хотя и в этом обществе его не слишком жаловали: как уже говорилось, большинство населения Ла-Коста были протестантами, а протестанты не пускали в свой круг чужаков...

Садический парадокс: надменный аристократ, вспыльчивый и всегда готовый пустить в ход трость, де Сад не чувствовал потребности в общении с людьми своего круга. Возможно, он и не умел с ними общаться. Его миром был театр, точнее два театра — высокий вымысел, ограниченный рамками сцены, который он сам воплощал на этой сцене как режиссер и актер, и «физиологический» театр эротических фантазий для одного актера с бессловесной массовой. (Если есть «физиологический» очерк, почему бы не быть физиологическому театру?) Роль массовой отводилась продажным девкам и лакеям. Донасьен сам расписывал сценарий, сам расставлял всех по местам и сам выступал в роли зрителя: в отличие от множества любителей великосветских оргий он всегда искал эротических приключений в одиночку. Театр был его башней из слоновой кости, Ла-Кост — его крепостью, и он не выносил, когда в его мир вторгались без приглашения.

Донасьен любил свою цитадель: только за ее толстыми стенами, с которых открывался прекрасный вид на соседнее плато Люберон, он чувствовал себя в безопасности. Когда-то на этой стратегической высоте располагалась римская дозорная башня, а уже в 1038 году на ее месте был выстроен укрепленный замок, *castrum*. С XIII века замок принадлежал знатному провансальскому роду Симианов, с которым де Сады породнились в первой трети XVII века. Жан Батист де Сад, заключивший брачный союз с Дианой де Симиан, приходился Донасьену прапрадедушкой.

Но не только стремление скрыться под защиту прочных стен влекло Донасьена в Ла-Кост. Здесь, среди высоких холмов, поросших темным лесом, среди раскинувшихся в долинах виноградников витал мятежный дух неповиновения; принесенный вальденсами^[5]: многие сеньоры Люберона приглашали трудолюбивых «лионских бедняков» селиться на их землях. Во время религиозных войн вальденсы примкнули к протестантам, и местные деревни стали объектами нападения католиков, В 1545 году королевские солдаты сожгли в окрестностях Ла-Коста одиннадцать деревень, а в 1562 году, через день после резни в Васси^[6], протестанты покинули леса, где они укрывались, и совершили налет на замки местных сеньоров-католиков. Ла-Кост также подвергся нападению, и его сеньор Марк Симиан был убит. В дальнейшем, несмотря на запреты, потомки переселившихся из Пьемонта вальденсов постоянно нарушали королевские указы: в 1612 году они без разрешения начали строить свой храм, не допустили разорения кладбища и *de facto* сохранили право пастора причащать умирающих.

Де Сад, прекрасно знавший историю края, не мог не ощущать ее дыхания в самом сердце своей любимой цитадели. Нередко по вечерам, когда все обитатели замка укладывались спать, он, взяв свечу, бродил по темным коридорам, глядя, как в пляшущих отблесках пламени на стенах возникают фигуры насильников и убийц, и в ушах его звучали вопли истерзанных жертв. Главный ужас этого театра теней заключался в том, что среди убийц не было ни правых, ни виноватых — виноватыми всегда были жертвы, а убийцы — всегда правыми. Одни убивали во имя Господа, другие умирали ради него, и не важно, что одни молились этому Господу под руководством кюре, а другие — пастора: конец был один. Тени прошлого, напоминавшие о братоубийственных войнах между католиками и гугенотами, укрепляли богоборческие настроения де Сада, заглушая тихий голос, шептавший, что в войнах этих был повинен прежде всего сам человек,

В сочинениях де Сада будет немало гибельных подвалов и пугающих мест: «...настоятельница нагнулась, неожиданно приподнялся надгробный камень, открылся проход, и Дельбена спустилась в святилище смерти» («Жюльетта, или Преуспевания порока»); «Пройдя несколько извилистых поворотов, мы оказались перед дверью в подземелье. Ролан, открыв дверь, подтолкнул меня вперед <...> так что я оказалась сброшена на дно ужасной могилы». («Жюстина, или Несчастья добродетели»); камера, не пропускающая ни единого луча света («Лауренция и Антонио»); затянута черным часовня с погребальным ложем в середине («Мисс Генриетта Штральзон»).

Как и полагала мадам де Монтрей, рождение второго сына не произвело на Донасьена особого впечатления. Гораздо более интересным было для него сообщение Председательши о том, что он совершенно свободен. «Надеюсь, он не станет злоупотреблять своей свободой. Во всяком случае, я обещала ему, что усилия, которые были мною предприняты, последние, и более я ничего не смогу, да и не хочу, для него делать», — писала мадам де Монтрей в письме к аббату де Саду, зная, что аббат наверняка посещает племянника в его замке и с удовольствием участвует в его увеселениях. Чем еще мог заниматься зять мадам де Монтрей?

Почувствовавший свободу Донасьен понимал, что его возвращение в Париж преждевременно. И он предпринял путешествие в Голландию, страну, прославившуюся печатными дворами, где изготовляли контрафактную продукцию и набирали запрещенные книги. Конечно, французские издатели не всегда везли взрывоопасные рукописи в

Голландию: иногда они просто указывали местом выхода книги Гаагу, как наиболее крупный центр книгопечатания. Жан-Жак Повер, автор монументальной трехтомной биографии маркиза де Сада, полагает, что целью путешествия была именно Гаага, где должно было выйти в свет некое эротическое сочинение маркиза. Уверенность Повера основана на ряде высказываний Донасьена Альфонса Франсуа, в частности, на строках из письма к аббату Амбле, отправленному из Венсена в 1782 году: «...в любви меня привлекает исключительно *наслаждение* (выделено де Садом. — Е. М.). Метафизика, на мой взгляд, является самой скучной и самой необъятной материей, и я отказываюсь приправлять ею свои произведения, как того требует драматическое искусство. <...> И я предвкушаю наиживейшее удовлетворение, когда, вернувшись к своему единственному гению, сменю перо Мольера на перо Аретино. Первое, как видите, даже не смогло толком меня поддержать в столице Гиени (городе Бордо. — Е. М.), в то время как второе помогло мне шесть месяцев оплачивать свои удовольствия в одном из первейших городов королевства, а также два месяца путешествовать по Голландии, не потратив ни единого су из моих собственных денег». Версия эта более чем правдоподобна. Иначе мы обязаны предположить, что «Сто двадцать дней Содома», основополагающее и любимое сочинение де Сада, потерю которого он оплакивал, по его собственным словам, «кровавыми слезами», было написано внезапно — словно извержение вулкана в тихой долине.

Вулкан был любимым образом писателя де Сада, природа — демиургом и одновременно плацдармом, где его воображение могло творить без границ. Де Сад всегда был склонен к гиперболам, преувеличениям, и природа в его сочинениях обладала «буйным нравом».

Как и многих его современников, Голландия поразила Донасьена поистине стерильной чистотой: чистые дома, чистые улицы, чистые половички при входе в дома, начищенная до зеркального блеска кухонная утварь. Де Сад не мог не заметить и царившую в стране веротерпимость, в то время как во Франции только недавно реабилитировали казненного в 1762 году протестанта Жана Каласа. Калас скрыл от властей самоубийство старшего сына, за что был обвинен в его убийстве с целью помешать сыну перейти в католичество. Его приговорили к колесованию и казнили. С помощью Вольтера и вставшей на защиту Каласа общественности в 1765 году семье удалось доказать факт судебной ошибки и добиться реабилитации Каласа.

Полагают, что после Голландии де Сад совершил кратковременную поездку в Англию, где в Британском музее ознакомился с документами по

делу Жанны д'Арк, которые затем использовал в романе «Изабелла Баварская».

*

Из заграничного путешествия де Сад возвратился в Париж, где на какое-то время страсти его утихли; однако это спокойствие более всего напоминало затишье перед бурей. А обрадованная семья уже мечтала, как Донасьен, образумившись, будет принят при дворе и начнет делать подобающую в его возрасте карьеру. Ведь он уже разменял третий десяток, и 17 апреля 1771 года в третий раз стал отцом — у него родилась дочь, названная Мари-Лор. Почтенного отца семейства подстерегали враги в лице кредиторов: за время бесчинств он наделал много долгов, кредиторы больше не желали отсрочек, а теща наотрез отказалась ссудить его наличными. По-своему она была права: ей предстояло заботиться о трех внуках и сохранить для них семейное достояние.

Не в силах раздобыть денег, де Сад очутился в долговой тюрьме Фор-Левек. Пребывание в этой тюрьме никогда не было сопряжено с позором, в нее часто попадали почтенные граждане. За два проведенных там месяца Донасьен ухитрился раздобыть аванс, удовлетворивший кредиторов, переписал долговые обязательства и осенью 1771 года со всем семейством, включая малютку Мари-Лор и гувернантку мадам де Лонжевен, отбыл в Ла-Кост. Он намеревался не только привести в порядок дела, но и продать небольшую часть своих владений, чтобы, наконец, рассчитаться с долгами, проценты на которые нарастали со скоростью снежной лавины. Провожая семью дочери, мадам де Монтрей в глубине души надеялась, что хозяйственные хлопоты и присутствие жены и детей заставят зятя позабыть скандальные привычки, а возраст побудит, наконец, одуматься. За годы, прошедшие со времени свадьбы дочери, ее не раз посещала горькая мысль: если эти аристократы ни в грош не ставят ни приличия, ни честь, стоило ли вообще затевать этот брак? Но, будучи женщиной практичной, она понимала, что задавать такие вопросы поздно, тем более что дочь ее пылко любила своего супруга. И помыслы мадам де Монтрей все чаще сосредоточивались на внуках.

Ла-Кост встретил сеньора новым театральным залом и сценой, оборудованной по последнему слову техники. Из-за стремления поскорей завершить реконструкцию театральных помещений была приостановлена перестройка жилых комнат, но маркиза это не беспокоило. Он разберется с

делами, потом получит деньги и непременно довершит обустройство комнат жены. Фаж, поверенный в делах маркиза, зачастил в замок, но так и не сумел обучить де Сада премудростям управления собственным имуществом. Зато он быстро раздобыл денег, на которые де Сад выписал в Ла-Кост профессиональную театральную труппу. Теперь он мог воплощать на сцене любые фантазии! Мадам де Монтрей с негодованием узнала о выходе зятя на сцену вместе с профессиональными актерами — ведь этим он вновь поставил под угрозу честь семейного имени. Играть в театре, как и сочинять, дворянин мог только как любитель, для собственного развлечения. Занятие не своим делом принижало даже короля: увлечение Людовика XVI слесарным делом вызывало насмешки не только у дворян, но и у простонародья. Нарушив привычный образ жизни королей, Людовик сам поставил себя вне закона, сам бросил камень на чашу весов революционного правосудия, отправившего его на гильотину. Нарушив «запрет на профессию», де Сад принизил дворянское звание, добровольно занял положение маргинала, личности, находящейся в глазах общественного мнения практически вне закона. Ибо вплоть до 1789 года дворяне традиционно считались «сословием, занимавшим особое положение в государстве», и единственным ремеслом, приличествовавшим дворянину, считалось воинское. Только к концу XVIII века общественное мнение позволило дворянину заниматься законодательной деятельностью, «деловой активностью», занимать общественные и административные должности и, как следствие, исполнять полезные для общества обязанности.

Мысль о признании свободных профессий занятиями, достойными дворянина, широкого отклика в обществе не нашла.

Узнав, что Анн-Проспер неважно себя чувствует, Рене-Пелажи решила пригласить сестру в Ла-Кост — подышать воздухом и помочь по хозяйству. Анн-Проспер де Лонэ, которой к этому времени еще не исполнилось и двадцати, только что вышла из монастыря, где пребывала на положении пансионерки и куда — если пожелает — она могла вернуться и принять обет.

Как могла Рене-Пелажи, прекрасно осведомленная о наклонностях супруга, пригласить в замок, где Донасьен был полновластным хозяином, свою очаровательную сестру? Неужели она не знала, что Донасьен давно положил глаз на Анн-Проспер? Или она искренне считала, что супружеские узы удержат его в рамках приличий? Во всяком случае, ее роль в сложившейся ситуации не слишком понятна.

В Ла-Кост часто приезжал аббат де Сад — он любил гостить у

племянника. Познакомившись с очаровательной мадемуазель де Лонэ, аббат не остался равнодушен к ее чарам и даже попытался соблазнить ее. Натиск священнослужителя преклонного возраста напугал девушку, и аббату пришлось старательно объяснять юной родственнице, что она неправильно его поняла. Если аббат не устоял, то что говорить о Донасьене! Был ли он прежде влюблен в Анн-Проспер, забыл ли он об этой любви или любви этой не было вовсе, сейчас значения не имело: страсть де Сада пылала словно факел.

Свидетельств о романе де Сада с Анн-Проспер осталось мало: семья позаботилась уничтожить компрометировавшие девушку бумаги, поэтому любая версия является достаточно условной. Говорят, де Сад привлек мадемуазель де Лонэ к участию в спектаклях, и она с удовольствием исполняла самые разные роли, в том числе и непристойные. Девушка помогала Рене-Пелажи по дому: сохранилась опись белья «господина де Сада», выполненная рукой мадемуазель де Лонэ, подписанная мадам де Лонжевен, с пометами де Сада и странной записью, сделанной рукой Рене-Пелажи: «Я мы уничтожены дурной план ужасно ужасно». Означало ли это, что мадам де Сад узнала о связи мужа с младшей сестрой? Но если она и узнала, вряд ли в ее силах было воспрепятствовать этой связи: любовь к супругу постепенно превращала ее в сообщницу Донасьена.

Особое удовольствие, получаемое садическими либертенами от физического и морального насилия над девственницами, говорило о том, что Анн-Проспер в какой-то степени явилась для Донасьена «грёзой наяву». Наверное, поэтому появилась еще одна, поэтическая версия романа маркиза и Анн-Проспер, связавшая страсть де Сада к свояченице с Марсельским делом. Согласно этой версии, изложенной в альманахе Башомона, де Сад устроил в Марселе бал, на котором угостил всех присутствовавших конфетами со шпанской мушкой, и когда гости, охваченные небывалым вожделением, начали бесноваться и выпрыгивать из окон, де Сад бросился на колени перед свояченицей, которую предусмотрительно оставил без конфеты, и воскликнул: «Я люблю вас! Жить без вас не могу! Но я знаю: вы меня не любите! Более того, вы меня презираете! Поэтому я хочу умереть. Но прежде я решил рассчитаться с негодяями, погубившими мою репутацию, с теми, кто приписал мне недостойные поступки, которых я не совершал. Поэтому я приготовил яд, который поможет мне покончить счеты с жизнью. Сказав вам последнее прощай, я уйду из жизни». Шантаж был в духе маркиза, поэтому окончание этой истории вполне убедительно: испугавшись, что поклонник исполнит свою угрозу, девушка соглашается уехать вместе с ним. В несколько

измененной версии говорилось, что Анн-Проспер также досталась конфета и де Сад овладел ею прямо на балу.

Шпанская мушка давно вышла из обихода, поэтому позволим себе некоторые подробности из области применения этого насекомого. Шпанская мушка (разновидность мелких жуков *Lytta vesicatoria*, *Afyllabres*, *Meloe*), истолченная в порошок, со времен античности считалась сильным афродизиаксом за счет содержащегося в ней высокотоксичного возбуждающего вещества кантаридин. Чрезмерное употребление порошка могло не только вызвать перевозбуждение, но и спровоцировать отравление со смертельным исходом.

Все же скорее всего летом 1772 года Донасьен уехал в Марсель один, лишь в сопровождении преданного ему лакея Латура. Несмотря на сорок две комнаты замка Ла-Кост, де Сад неожиданно заметил, что дети всюду вопят, хулиганят и суют свой нос, а многочисленная женская прислуга постоянно пугается под ногами. И между супругами было негласно решено: Рене-Пелажи привезла с собой в Ла-Кост детей в первый — и в последний раз. В садических замках дети, а особенно младенцы, относились к разряду предметов, подлежащих немедленному уничтожению с целью возбуждения эротических ощущений либертенов. Но, как подчеркивал сам де Сад, он многое воображал, но далеко не все исполнял. Так, например, несмотря на атеистические настроения хозяина, в Ла-Косте была часовня с кафедрой для чтения мессы, и молиться в ней никому не возбранялось.

Но де Сад не был бы де Садом, если бы позволил себе пройти мимо образцового культового сооружения, не выразив к нему своего отрицательного отношения. В романе «Маркиза де Ганж» коварный муж благочестивой маркизы вешает в часовне замка портрет супруги в образе Святой Девы, и местные крестьяне, не зная об этом, приходят поклоняться этому образу. Получилась двойная насмешка — и над культом Святой Девы, и над добродетельной маркизой. Прославление добродетели с кривой ухмылкой на лице вполне в духе маркиза...

*

Прибыв в Марсель и остановившись в не самой дорогой гостинице, утомленный семейной жизнью Донасьен помчался в бордель. Вернувшись к вечеру, он приказал лакею отправиться на поиски девиц для небольшой оргии, которую он намеревался устроить, как только участницы будут

найжены. За сутки лакею удалось уговорить четырех молоденьких проституток — Розу Кост, Марьетту Борелли, Марианну Лавернь и Марианетту Ложье поучаствовать в «развлечениях» его хозяина, а также за отдельную плату предоставить для будущего действия квартиру одной из девиц. Позднее де Сад встретится еще с одной проституткой, Маргаритой Кост, которой также будут предложены садические «услалды».

Собравшись в условленный час у Марьетты, девицы с опаской ожидали незнакомого клиента. Щегольской вид Донасьена — серый фрак на голубой подкладке, яркие оранжевые штаны до колен, шляпа с пером, шпага, трость с золотым набалдашником — отчасти успокоил их. Господин выглядел прилично, лакей его также был одет во все новое. Значит, господа хорошо заплатят за «работу». Блеск золотых монет затмил диковатый блеск в глазах маркиза, предвкушавшего свои излюбленные развлечения.

Девицы быстро пожалели, что связались с этим на вид симпатичным, а на самом деле совершенно ужасным господином. Он не только сек их розгами, он требовал, чтобы они тоже секли его, да посильнее! Сам он при этом ухитрялся ножом делать на камине засечки — подсчитывал число принятых им ударов. Позже, при осмотре квартиры, полиция обнаружит, что в тот день де Сад получил 859 ударов! Для истинного либертена все пути ведут к наслаждению, любая физическая встряска лишь подогревает его желания. Либертенка Олимпия, рожденная фантазией де Сада, ради новых ощущений готова не только выносить любые пытки и истязания, но даже отправиться на виселицу. К счастью, такие экстремальные способы получения удовольствия маркиз не практиковал, иначе как бы он смог познакомиться мир со своей философией?

«Разогрев» как следует и себя и девиц, клиент стал принуждать партнерш к содомии, причем не только с собой, но и со своим лакеем, все время находившимся рядом, но принимавшим участие в оргии только по приказу господина. Затем де Сад, как и положено истинному либертену, решил «внести немного порядка» в оргию и стал составлять из имевшейся в его распоряжении «живой мебели» эротические картины, следуя принципу «благословенны будут все желания, все вкусы». Лакей предупреждал девиц, для какого рода развлечений он их нанимал, но таких «вкусов», как у маркиза, они явно не ожидали и ужасно перепугались. От воплей, издаваемых клиентом на пике удовольствия, от ударов розгами то одной, то другой девице становилось плохо, и они бежали на кухню, где служанка отпаивала их водой и кофе. В конце концов одна из девиц отказалась продолжать «спектакль». Желая приободрить жрицу любви, де Сад позволил им небольшую передышку, во время которой угостил всех

конфетами из изящной бонбоньерки. Одна из девиц попробовала штучку, другая проглотила целую пригоршню, третья сделала вид, что берет конфетки, но сама, отвернувшись, выплюнула их, а четвертая отказалась от угощения наотрез. Пофантазировав еще немного, клиент на глазах у изумленных девиц вступил в сношение с собственным лакеем. Наконец, расплатившись, но не столь щедро, как рассчитывали запуганные и уставшие девицы, безумный клиент удалился вместе с лакеем, оставив после себя измочаленный пучок розог.

Аналогичные страсти и конфеты «на закуску» были предложены и Маргарите Кост.

Удовлетворив свою страсть к жестоким «фантазиям», де Сад занял место в почтовой карете и вместе с Латуром отбыл в Ла-Кост. А в Марселе начались пренеприятные для либертена де Сада события. У двух девиц, тех, что съели предложенные клиентом конфеты, а именно у Марианны Лавернь и Маргариты Кост, обнаружились симптомы тяжелого желудочного заболевания: их рвало чем-то черным, в желудке все горело, язык покрылся белой слизью. Решив, что их отравили, и одна и другая в ужасе вызвали не только врача, но и полицию. Внимательно выслушав их показания, следователь велел произвести обыск в квартире Марьетты, где происходила оргия. Во время обыска под кроватью были найдены две конфеты, их тотчас отправили на экспертизу. Заявление девиц было воспринято как аксиома, поэтому аптекари, проводившие экспертизу, стали искать в конфетах мышьяк и, разумеется, не нашли. Эти же аптекари исследовали содержимое рвотных масс обеих женщин, но и в них, к своему величайшему удивлению, мышьяка также не обнаружили. Следствие зашло в тупик. Но среди фантазий своего клиента девицы успели назвать содомию, а отравление и содомия — преступления, вполне заслуживающие суровой кары. Особенно когда стало известно, что речь идет о знаменитом маркизе де Саде, уже покушавшемся на смертоубийство несчастной проститутки.

Поэтому никто — ни врачи, ни следователи, ни эксперты-аптекари, ни сами девицы, которые в силу своих занятий должны были быть знакомы с афродизиаками хотя бы понаслышке, — не вспомнил о шпанской мушке, и все увлеченно пытались отыскать в конфетах яд, а у заболевших — симптомы отравления. Несколько дней состояние обеих девушек было тяжелым, особенно Маргариты, съевшей целую пригоршню конфет. В конце концов и она, и Марианна пошли на поправку. Обвинение в отравлении отпадало само собой. Хотя в те времена судили прежде всего за применение яда, вне зависимости от того, подействовал он на жертву или

нет. Но если бы маркиз и в самом деле хотел отравить девиц, зачем бы ему называть им свое имя?

О шпанской мушке вспомнили позднее — во время обжалования приговора в кассационном суде, когда прозвучала гораздо более правдоподобная версия о том, что де Сад, пожелав возбудить угасший темперамент девиц, угостил их «конфетами Ришелье» (как иногда называли пастилки со шпанской мушкой) и для скорейшего результата превысил дозировку, отчего одна из потерпевших чуть не умерла. Данная версия снимает с де Сада обвинение в отравлении, но не снимает вины в жестоком отношении к девицам легкого поведения — ведь он прекрасно знал, что превышение дозы данного афродизиака грозило смертельным исходом. Но, как показало дело Жанны Тестар и Аркейское дело, де Сад ни в грош не ставил девиц для утех и называл их не иначе, как «низменные создания». А с неприятностями, причиняемыми человеку его звания из-за «этих тварей», он мириться не желал.

Похождений своих де Сад никогда не скрывал, а свое кредо излагал на страницах романов. «Поставив этих низменных созданий на их истинное место, мы начинаем ощущать, что созданы исключительно для того, чтобы пользоваться нашими жертвами для удовлетворения наших страстей, и карать следует их неповиновение, а не наши капризы», — писал он в «Новой Жюстине». Если же мы хотим предотвратить последующие преступления, то, как неоднократно подчеркивал он в «Алине и Валькуре», не надо устраивать публичные судебные процессы. Если бы публика не узнала об отравительницах Ла Вуазен и де Бренвилле, у них не нашлось бы сотни последователей. «В интересах поддержания добронравия о некоторых преступлениях не должно не только знать, но даже предполагать, что таковые возможно совершить».

Но судьи придерживались иного мнения и отдали приказ начать расследование всей «деятельности» маркиза во время его пребывания в Марселе. Немедленно всплыло обвинение в содомии. Сами девицы в совершении содомских актов не признались. Хотя такие сношения в борделях практиковались довольно часто, однако при неудачном стечении обстоятельств девица для утех могла попасть за них в Сальпетриер или в Бисетр. Зато все дружно подтвердили, что де Сад у них на глазах предавался греческой любви со своим лакеем. Вспомнив о прошлых похождениях маркиза (Аркейское дело получило огласку по всей стране), прокурор 4 июля подписал постановление об аресте де Сада и его лакея Латура.

Небольшое отступление о тюрьме под названием Бисетр, где в свое

время доведется побывать также и де Саду. В прошлом лечебница, основанная Людовиком XIII для солдат-инвалидов, при Старом порядке она стала самым жутким местом заключения, где болезни и пороки соседствовали с преступлениями. «О, это ужасное место! Нечто среднее между больницей, богадельней и тюрьмой», — писал старший современник де Сада Фужере де Монброн. В Сальпетриер, лечебницу для бедных, устроенную Людовиком XIV на месте бывшего порохового завода, а затем превращенную в место заключения «падших женщин», де Сад попасть не мог только по причине своей принадлежности к мужскому полу. Долгое время Сальпетриер служило также лечебницей для умалишенных.

Предупрежденный о грозившей опасности, Донасьен недолго думая отправился в соседнюю Савойю, пребывавшую под юрисдикцией сардинского короля, а затем уехал в Италию, взяв с собой не только своего сообщника Латура, но и несравненную Анн-Проспер. Какие доводы он приводил, умыкая свояченицу на глазах у собственной жены? Наверняка самые убедительные: разве он мог уехать один? Возможно, Анн-Проспер сама предложила сопровождать его... Жене же Сад поручил отправиться в Марсель и там, следуя проторенной дорожкой, подкупить девиц и уговорить их забрать показания. Понимая, что с подобной задачей лучше всех справится мадам де Монтрей, Рене-Пелажи обратилась к матери за помощью, но получила категорический отказ. В отличие от мадам де Сад, чары Донасьена на Председательшу больше не действовали, и она не намеревалась прощать человека, соблазнившего ее младшую дочь. Вместе с тем она хорошо понимала, что, если об инцесте узнают газеты, семья ее старшей дочери будет опозорена безвозвратно.

Пока Донасьен, принявший на время поездки имя графа де Мазан (по названию своего третьего поместья), вместе с «супругой», за которую он выдавал мадемуазель де Лонэ, наслаждался красотами Венеции, Рене-Пелажи, оставшись без денег и с маленькими детьми на руках, развила лихорадочную деятельность. Сделав заем, она наняла нотариуса и доверила ему исполнение возложенного на нее поручения. Девицы взяли деньги и написали письменный отказ от показаний. Но дело успело получить широкую огласку, и расходы, можно сказать, оказались напрасны. В Марселе ходили слухи, что маркиз де Сад устроил в публичном доме массовую оргию, во время которой угостил девиц легкого поведения анисовыми конфетами с каким-то вредным снадобьем, отчего несчастные стали истошно вопить и кидаться друг на друга, приводя в ужас жителей соседних домов. Не осталось без внимания и похищение Анн-Проспер: шептались, что де Сад воспылил неуголимой страстью к свояченице и,

чтобы овладеть ею, с помощью лакея отравил собственную жену. Поступки, вполне достойные маркиза-живореза!

Обраставшее слухами дело шло своим чередом. В Ла-Кост прибыли судебные исполнители и, не найдя владельца на месте, описали имущество и наложили секвестр. 27 августа марсельский суд на основании показаний свидетелей обвинил маркиза де Сада в отравлении и содомии, а его лакея Латура — в содомии и приговорил обоих преступников к покаянию и к смертной казни: маркиза через отсечение головы, а Латура через повешение. Затем тела обоих содомитов должны были предать огню, а прах развеять по ветру. 11 сентября 1772 года парламент Экса утвердил вынесенный марсельским судом приговор, а 12 сентября в Эксе на площади Прешер, приговор был приведен в исполнение. За отсутствием преступников казнены и сожжены были их чучела.

Де Саду, этому любителю мрачных парадоксов, символическая казнь наверняка пришлась по вкусу. Однако последствия ее вряд ли его устраивали: казненного заочно ожидала гражданская смерть, то есть полное поражение в правах, прекращавшееся только по истечении срока давности, равного тридцати годам. Впрочем, на протяжении первых пяти лет осужденный мог явиться и потребовать пересмотра дела.

Все это время права за ним сохранялись в полной мере. Но де Сад пока возвращаться не собирался, а самому делу, как и в случае с Розой Келлер, значения не придавал: как уже говорилось, относительно развлечений с девицами легкого поведения у него имелось собственное мнение, и менять его он был не намерен.

Насколько реальна была опасность, угрожавшая де Саду? Отчего такая поспешность в объявлении приговора и заведомо недоказанное обвинение в отравлении, тем более когда жертвы остались живы и даже забрали свои жалобы?

Остановимся ненадолго и посмотрим, какие кары грозили содомитам в XVIII столетии. Самым громким процессом называют дело Бенжамена Дешофура, отягощенное убийством и похищением детей для последующей продажи высокопоставленным развратникам. Дешофур, сожженный 24 мая 1726 года на Гревской площади в Париже, по словам свидетелей, обходился с детьми крайне жестоко и нередко сам использовал похищенных мальчиков для развратных действий, поэтому приговор, вынесенный ему, сочли справедливым. Недоумение вызвало осуждение и сожжение в июле 1750 года двоих мужчин, двадцати трех и сорока лет, предававшихся греческой любви в разных уголках Парижа. В постановлении суда значилось: «оскорбление общественной нравственности» и

«преподнесение дурного примера молодежи». Однако менее десяти лет назад за такое же преступление, совершенное в провинции, «оскорбители нравственности» были оправданы. Последний костер для содомита был разведен в октябре 1783 года на Гревской площади. На нем после мучительных истязаний, напомнившим зрителям о казни Дамьена, был сожжен мужеложец и убийца, бывший монах Жак Франсуа Паскаль. Никто из вышеназванных «нечестивцев» (*infantes*, как их называли в то время) не был аристократом, а двое вдобавок были виновны в убийстве. И еще об одной публичной казни века Просвещения. Робер Франсуа Дамьен, пытавшийся перочинным ножом заколоть Людовика XV, был схвачен, осужден и 28 марта 1757 года казнен при большом стечении народа. Казнь, сопровождавшаяся жуткими пытками, продолжалась более четырех часов. Когда осужденного должны были четвертовать, лошади не смогли разорвать несчастного на части, и палачу пришлось надрезать ему сухожилия. Останки Дамьена были сожжены. Отчеты о публичных казнях и материалы процессов над ведьмами и содомитами вполне могли оказать влияние на «фантазии» де Сада, вернее, его персонажей-либертенов.

Создается впечатление, что приговор де Саду был вынесен главным образом для устрашения; судьи, казалось, были уверены, что обвиняемый на суд не явится и заблаговременно окажется вне их досягаемости. Имеются предположения, что заведомо невыполнимый смертный приговор — дело рук Монтреев: пока Донасьен в сопровождении мадемуазель де Лонэ наслаждался красотами Италии, господин де Монтрей совершил поездку в Прованс, во время которой встретился со многими важными лицами и провел с ними соответствующие переговоры. Гражданская смерть зятя устраивала Председательшу полностью: состояние Донасьена переходило под управление жены, дети отдавались под опеку семьи жены, и имя де Садов переставали трепать на всех перекрестках, чего, собственно, и добивалась мадам де Монтрей. А выплачивать зятю достойное содержание мадам де Монтрей никогда не отказывалась; она и долги его платить была готова — только бы он не поднимал шума. Увы, без скандалов Донасьен обойтись не мог...

Осталось найти способ освободить из цепких лап маркиза Анн-Проспер, но мадам де Монтрей пока не знала, как это сделать: младшая дочь последовала за ним добровольно, а старшая добровольно отпустила ее...

Донасьен повел себя совершенно непредсказуемо: когда все были уверены, что он в Италии, он неожиданно объявился в Савойе: остановился в предгорьях Альп, в небольшом городке Шамбери. Какое-то время он жил

тихо, а потом... написал в Париж теще, уверяя ее что она одна в состоянии помочь ему! Так, может быть, романтического путешествия де Сада с Анн-Проспер не было и маркиз мистифицировал родственников? Или просто пытался обмануть тещу? Ведь сам он, если судить по высказываниям его героев, инцест к преступлению отнюдь не причислял. Скорее всего, у Сада было собственное видение положения, в котором он, к своему удивлению, очутился, а из тех, к кому он мог обратиться за помощью, наиболее влиятельной фигурой была мадам де Монтрей. Написав в Париж, он выдал свое местонахождение, и Председательша, используя все имевшиеся у нее связи, добилась от министра иностранных дел герцога д'Эгийона письма к сардинскому королю с просьбой арестовать находящегося на его территории взбаломошного господина де Сада, заочно приговоренного к смерти у себя на родине. В силу буйного характера этот господин мог неожиданно въехать во Францию и попасть в руки правосудия, что было бы крайне нежелательно. Поэтому семья просила захватить означенного де Сада, именующего себя графом де Мазан, заточить его в какой-нибудь надежный замок и держать там до тех пор, пока жизнь его не окажется вне опасности. Расходы по содержанию заключенного семья, разумеется, брала на себя. Вняв благим пожеланиям родственников, поддержанных влиятельным министром, сардинский король отдал приказ арестовать де Сада и препроводить его в крепость Миолан.

Миоланская цитадель, именовавшаяся также «Бастилией герцогов Савойских», была сложена из мрачного серо-черного камня. Нависая над болотистой долиной Изера, она удивительно гармонировала с окружавшим ее унылым каменным пейзажем. У подножия гористые вершины были покрыты темным лесом, а в ясный день вдали можно было разглядеть заснеженную вершину Монблана. Когда же в сером тяжелом небе над крепостью проплывали клочковатые облака, казалось, вытянешь руку — и поймашь белесый клочок. Основанный во времена нашествия на край сарацинов, то есть до 1000 года, замок в первой трети XVI века был продан герцогам Савойским, превратившим его в тюрьму с подземными казематами, где, как говорят, было найдено немало останков несчастных узников.

Де Саду, привыкшему к солнечному Провансу, савойские пейзажи пришлись не по вкусу. Уже во время первых прогулок он внимательно приглядывался к стенам и парапетам, обдумывая возможность побега. Комендант де Лонэ постарался сделать все, чтобы облегчить узнику его пребывание в крепости: предоставил ему лучшую камеру с камином, разрешил оставить лакея, получившего право выходить из крепости и

исполнять мелкие поручения хозяина. Донасьен Альфонс Франсуа мог заказывать блюда в соседнем трактире и покупать любые продукты. А почему бы и нет? За все платила мадам де Монтрей. К сожалению, Председательша не желала оплачивать карточные долги, и это чрезвычайно возмущало узника.

Несмотря на множество послаблений, за де Садом был установлен пристальный надзор. Ведь рядом с Донасьеном жил собственной жизнью образ маркиза-живореза, который даже в заключении не оставлял своих свирепых наклонностей. Как рассказывает доктор Клернье, как-то раз сей свирепый маркиз, прогуливаясь вдоль стен крепости, увидел женщин, граблями убиравших опавшие листья. Вид женщин и острых зубьев настолько возбудил маркиза, что он, заметив стоящую неподалеку борону, схватил жену сторожа и попытался швырнуть ее на зубья. К счастью, женщине удалось вырваться из рук безумца. Эту историю вполне можно назвать садическим апокрифом.

Тем временем в Авиньоне собрался семейный совет во главе со старшим дядюшкой Донасьена — командором Жаном Ришаром Луи. Совет должен был вручить маркизе де Сад управление доходами ее супруга и опеку над детьми. По закону де Сад пока еще имел право распоряжаться своим имуществом, поэтому для получения доходов жене требовалось специальное разрешение родственников. Естественно, дела Донасьена были донельзя запутаны, и Рене-Пелажи, получив в феврале 1773 года надлежащую доверенность, попросила мать взять дело в свои руки. Несколько лет, которые мадам де Монтрей управляла владениями зятя, запомнились арендаторам и крестьянам как годы процветания и справедливости. Мадам де Монтрей старалась прежде всего ради внуков, приумножая для них состояние семьи, но де Сад не преминул заявить, что теща его ограбила.

Обустроившись в крепости, де Сад немедленно принялся строчить письма губернатору Савойи графу де Латуру, в которых требовал, во-первых, освободить его, ибо он ни в чем не виноват, арест его — происки французских властей, которых натравливает на него его собственная теща. Во-вторых, если, как его уверяют, во Франции ему грозит опасность, он готов поселиться в Савойе где ему укажут и не покидать этот уголок до тех пор, пока опасность не будет устранена. В-третьих, он не намерен отчитываться перед комендантом в каждом потраченном им гроше: «...а потому смею просить Вашу Светлость изыскать возможность сообщить вашему подчиненному, что мне уже тридцать два года, что уже десять лет как я являюсь женатым человеком, что я распоряжаюсь своим достоянием и

до сего дня всегда платил за все, что приобретал, а потому не желаю, чтобы меня опекали...». Господин маркиз вспоминал о семье, когда ему это было выгодно. О том, что в последнее время с его долгами расплачивались жена и теща, он, разумеется, забыл. Равно как и не интересовался, откуда поступали деньги на его содержание. Какие мелочи!..

Де Сад не сошелся характером с комендантом де Лонэ. Однажды он попытался вручить коменданту ящик вина и шоколада, но де Лонэ отказался, заявив, что взятки не берет ни от кого. После этого случая они рассорились окончательно. Разозленный де Сад сочинил очередное послание де Латуру, в котором обвинил коменданта в непочтительном к нему отношении. Не испугавшись угроз строптивого узника, комендант в своем ответе губернатору написал все как есть: «...он решил подкупить меня <...> заказав доставить ему из Шамбери различные презенты: вино, кофе и шоколад, которые он велел отнести на мою кухню и которые я тотчас отослал обратно, заявив, что ни от кого не принимаю подарков <...> Я отвечаю за вверенных мне заключенных и убежден, что господина маркиза де Сада следует запереть на ключ». За время пребывания де Сада в Миоланской крепости де Лонэ не раз говорил, что готов исполнить любой приказ, лишь бы этого склочного узника отправили куда-нибудь подальше.

Склочный узник близко сошелся с товарищем по заключению Франсуа де Сонжи, бароном де Лалле, вором, разбойником и распутником. Приятели вместе обедали, играли в карты и ссорились из-за карточных проигрышей. Платить за де Лалле было некому, его содержали за казенный счет, и потому он постоянно обедал вместе с Донасьеном, знавшим толк в хорошей кухне. Но все деньги, которые де Сад ему проигрывал, он брал с него до последнего су. Хотя азартные игры в крепости были запрещены, де Лонэ, желая облегчить положение де Сада, сделал для него и для его приятеля послабление. Только бы узник не замыслил побег! Заметив в компании де Сада и де Лалле лейтенанта Дюкло из крепостного гарнизона, комендант удвоил слежку за де Садом: от такой дружбы можно было ожидать только побега! Подозрения коменданта были справедливы.

Тем временем в голове де Сада окончательно сложился «образ врага», олицетворением которого закономерно стала мадам де Монтрей. Письмо, написанное де Садом сардинскому королю, является тому свидетельством: «...Теща, исполненная самых гнусных корыстных соображений, мечтает только о том, как бы меня разорить; она воспользовалась моими несчастьями и обратила против меня всю строгость закона, заставила вынести мне приговор и, как следствие, вынудила меня исчезнуть навсегда <...> Сир, если бы эта несправедливая женщина, желающая погубить меня,

боялась только моих жалоб, тогда к чему все ее старания изменить заслуженное наказание? Почему она не позволила заключить меня в тюрьму на родине? Она прекрасно знает, что король, мой повелитель, не позволил бы ей этого. Поэтому она, пребывая в нелепом заблуждении, пытается обмануть того, в чьих руках сегодня находится моя судьба. Но я надеюсь, что Ваше Величество <...> узнав, какова на самом деле истина, и признав лживыми сведения, при помощи которых вас пытались перехитрить, вскоре вернет мне долгожданную свободу, получив которую я сумею сбросить иго этой женщины, снять с себя ужасные обвинения, выдвигаемые ею против меня. Ибо она, понимая, что я не в состоянии защищаться, возобновляет свои обвинения каждодневно, желая навсегда похоронить меня в стенах сей крепости...»

Король на послание не ответил, и де Сад решил, что вызволить его из тюрьмы сможет только он сам — то есть надо бежать. Сначала маркиз предоставил действовать Рене-Пелажи, прибывшей в Савойю в мужском наряде. Пробраться в крепость и освободить супруга мадам де Сад не удалось. Она даже не сумела добиться свидания, так как не смогла придумать веских причин, чтобы это свидание разрешили. Убедившись, что жена его потерпела фиаско, Донасьен стал обдумывать способ побега и искать в крепости окно, не забранное решеткой. Такое нашлось — в отхожем месте рядом с кухней, где де Сад имел обыкновение ужинать вместе с де Лалле. Со стороны коменданта это было грубым нарушением распорядка, но де Лонэ, желая хоть как-то утихомирить знатного скандалиста, предоставил де Саду и его приятелю такое послабление. Избавиться от барона было невозможно, и Донасьен Альфонс Франсуа, посчитав, что сообщник ему не помешает, поведал де Лалле план побега. Тот план одобрил, но, приглядевшись к окошку, тяжело вздохнул: барон был толст.

Вечером 30 апреля 1773 года житель Шамбери по имени Жозеф Виолон, предупрежденный Латуром, устроился в зарослях у подножия Миоланского замка. Там же он спрятал лестницу, с помощью которой беглецам предстояло спуститься со стены — не прыгать же маркизу и барону из окна! Пока Виолон ожидал у подножия крепости, беглецы плотно поели и незаметно проникли в тесное помещение отхожего места. Латур был отправлен в камеру маркиза — оставить прощальное письмо коменданту и зажечь свечи, чтобы караульный, ночевавший в прихожей де Сада, не сразу заметил отсутствие заключенного. Донасьен рассчитал правильно: вернувшись с ужина, караульный заметит под дверью свет и не станет беспокоить знатного узника. Глядя на узкую полоску света,

выбивавшегося из-под двери, караульный действительно задремал и проснулся, когда ночь уже вступила в свои права. Обнаружив, что свет у узника все еще горит, он распахнул дверь, увидел пустую комнату и поднял тревогу. Но к этому времени беглецы были уже далеко.

А пока караульный спал, де Сад с трудом протолкнул в узкое окно нужника своего отчаянно ругавшегося приятеля, вслед за ним выбросил сверток с одеждой, а затем вылез сам. Беглецы спустились на каменный парапет, осторожно, друг за другом, перевалили через него и, цепляясь за каменные выступы, добрались до верхней ступени лестницы, подставленной Виолоном. К счастью, расстояние от парапета до земли не превышало четырех метров. Ощувив под ногами твердую почву, беглецы переоделись: протискиваясь в окно им пришлось в одних рубашках, которые от соприкосновения с нестругаными рамами и острыми камнями теперь висели на них клочьями, особенно на бароне. (Немного фантазии — и исцарапанный барон вполне мог сойти за очередную жертву маркиза!) Приведя себя в порядок, беглецы в сопровождении верного помощника углубились в заросли, над которыми словно молочный кисель растекался туман, постепенно скрывший от глаз беглецов опостылевшую тюрьму. Правда, де Лалле вскоре был вновь арестован и водворен в ненавистный замок...

Де Сад пробыл в Миоланской крепости четыре месяца и двадцать один день — с 9 декабря 1772 по 1 мая 1773 года. За это время он извел литры чернил на жалобы и письма — и, видимо, не только на них. Предупреждая коменданта Миолана и губернатора Савойи о необходимости держать де Сада в строгой изоляции, мадам де Монтрей особенно настаивала на проверке его корреспонденции: она опасалась, что де Сад успел отпечатать в Женеве памфлет, в котором содержались оскорбительные выпады и угрозы в адрес семьи его жены, главным образом в ее собственный адрес. Это косвенное свидетельство вновь говорит о том, что лавры литератора не давали де Саду покоя задолго до его заключения в Венсен. Устанавливая связи с издателями, де Сад, невзирая на свое древнее дворянство, активно стремился стать членом Литературной Республики. А если пера его опасалась сама Председательша, значит, таланта ему было действительно не занимать: мадам де Монтрей не стала бы беспокоиться из-за бездарной писанины.

Глава V.

МАРКИЗОВ ОСТРОВ

Маркиз де Сад, тридцати трех лет от роду, сеньор Ла-Коста, Сомана и Мазана, перешел на положение нелегала. Перед беглецом из Миоланской цитадели было две дороги: отдать себя в руки правосудия и требовать пересмотра дела или скрываться до тех пор, пока правосудие само не найдет его. Он выбрал вторую — надеясь, что все как-нибудь уладится само собой. Он до сих пор не допускал возможности того, что может быть наказан за «выпоротую задницу какой-то шлюхи». Впоследствии в новелле «Одураченный председатель» он припомнит своим судьям и Аркейское дело, и приговор, вынесенный парламентом в Эксе, и марсельское расследование. «...Напомните парижским судьям <...> знаменитый случай, произошедший в 1769 году. Тогда судьи, повинувшись велению сердец, взволнованных гораздо больше при виде выпоротой задницы шлюхи, нежели при виде умиравшего от голода народа, отцами коего они себя считали, начали уголовный процесс против вернувшегося из армии юного офицера, который, посвятив лучшие свои годы служению королю, по возвращении не обрел иных лавров, кроме унижения, уготованного ему злейшими врагами той самой родины, кою он защищал», — писал де Сад, вспоминая историю Розы Келлер.

«Юным» и «невиновным» предстает де Сад на автобиографических страницах своих книг. Таким же «юным» и «невиновным» он ощущал себя на протяжении всей своей жизни, и эти два чувства стали определяющими его облика, основами его характера. «Невиновный» не имеет права быть наказан, на нем нет никакой вины, а значит, он свободен во всех своих поступках. Твердая уверенность в правомочности своих действий, и прежде всего в реализации «страстей», дарованных ему Природою, подводила де Сада к тому, что на языке судей именовалось «рецидивом», то есть повторением совершенных ранее проступков, что в обществе, стремившемся стать более цивилизованным, рассматривалось как осознанная угроза порядку. В те времена юристы любой «рецидив» рассматривали как тяжкое преступление: за повторную кражу нескольких мелких монет можно было угодить на виселицу.

«Невиновность» — это альтернатива «виновности»; чтобы признать человека невиновным, нужно сначала предъявить ему обвинение, а потом

доказать его неправомерность. Внутреннее ощущение невинности в соединении с невозможностью ее доказать порождало у де Сада постоянное недовольство, отражавшееся не только в потоке жалоб в вышестоящие инстанции, но и в отношениях к близким людям, и прежде всего к жене, безропотно терпевшей все его «фантазии».

«Юный» не имеет ни жизненного опыта, ни знаний, чтобы нести ответственность за свои поступки, а тем более за поступки других. «Юный» еще не заслужил твердого общественного положения, а потому в любую минуту может оказаться маргиналом. Де Сад виртуознейше находил причины для оправдания своих действий, он никогда всерьез не помышлял занять место, определенное ему рождением, воспитанием и общественным положением, поставив, таким образом, под угрозу экономическую ситуацию семьи, за которую он, как ее глава, должен был нести ответственность. Но он эту ответственность нести не желал. В одном из писем к Милли Руссе, прозванной де Садом «святой», он сам называл себя ребенком: «Где же я, святая Руссе, и кто я, если не самый настоящий ребенок?» Письмо было написано в Венсенском замке.

Донасьену Альфонсу Франсуа было интересно исследовать «странные склонности, кои внушает нам природа», а налагаемые обществом обязанности требовали подавлять страсти и изгонять «странные склонности», то есть социального владения собственным телом, что ни в коей мере не согласовывалось с «образом мыслей» Донасьена. Его «образ мыслей» требовал реализации страстей, а главной и единственной страстью Донасьена Альфонса Франсуа был театр. Органической частью садического театра без границ являлись и эротические фантазмы маркиза, и литературное творчество. Но во времена де Сада даже успешный литератор не имел определенного статуса, который бы отличал его от нелитераторов. Порывая связи со своим сословием, не желая утверждаться ни как землевладелец, ни как военный, ни как придворный, Донасьен Альфонс Франсуа в глазах общества Старого порядка становился деклассированным элементом, отношение к которому было иное, нежели к знатному аристократу. Фактически оторвавшись от собратьев по сословию, де Сад продолжал сознавать себя человеком из высшего класса и не намеревался примыкать к «черни», обязанностью которой, по словам его героев, являлось служить страстям и потребностям либертенов. Забегая вперед, скажем, что революция возвела профессию литератора в ранг ремесла, а сочинителей приравняла к почетному третьему сословию, то есть к тем, кто сделал революцию. Общественное признание его любимого занятия не могло оставить де Сада равнодушным и наверняка явилось одной из

причин его участия в революционных структурах и отказа от эмиграции.

«Юный», «невиновный» и свободный маргинал де Сад мог счастливо существовать только по своим собственным правилам, иначе говоря, на острове, защищенном от житейских бурь и непрошенных вторжений. Его остров имел одностороннюю связь с «большой землей»: с нее к нему поступало все необходимое для организации комфортной жизни, и прежде всего продовольствие и «живой материал». В замкнутом пространстве острова-сцены де Сад мог беспрепятственно ставить спектакль своей жизни. Теперь, когда ему исполнилось тридцать три года, можно было утверждать, что возможность изменения курса корабля по имени де Сад практически равна нулю. А значит, изгнанный с одного острова, он переберется на следующий и там, убежденный в своей неподсудности, продолжит ставить все тот же спектакль и отстаивать свое право на необычность.

Бежав из Миоланской крепости, де Сад начал свой извилистый путь к «Содому». Где он скрывался изначально, не знал никто. Мадам де Монтрей не пыталась его искать: ее больше интересовали оставшиеся в крепости бумаги, среди которых могли быть письма и сочинения, компрометировавшие Анн-Проспер и семью. Пристальный интерес тещи ко всему написанному зятем является своеобразным свидетельством не только его таланта, но и его причастности к миру книгопечатников и книгопродавцев, людей, делающих рукопись достоянием публики. Донасьен Альфонс Франсуа успел пригрозить теще ослабить ее в печати.

Не обнаружив в бумагах, оставленных в крепости, ничего компрометирующего, Председательша облегченно вздохнула и занялась устройством судьбы Анн-Проспер. Но предполагаемое замужество мадемуазель де Лонэ не состоялось, а в 1781 году она умерла от ветряной оспы. В то время Донасьен уже сидел в Венсенской крепости, и Рене-Пелажи, не желая волновать мужа, не стала сообщать ему о кончине сестры. А когда расспросы де Сада об Анн-Проспер стали особенно настойчивы, Рене-Пелажи в несвойственном ей жестком тоне ответила, что по его просьбе она отношений с сестрой не поддерживает, а потому на вопросы, ее касающиеся, отвечать не будет. Де Сад же, выйдя на свободу в разгар революционных событий, забыл про маленькую канонису. История с Анн-Проспер и по сей день дает богатейшую пищу для фантазий — как романтических и сентиментальных, так и вполне в духе маркиза де Сада...

Все лето 1773 года де Сад колесил по Франции и, возможно, побывал в Испании. Направляя теще просьбу о деньгах, он писал о своем намерении посетить эту страну. На наш взгляд, де Сад, как и его герои, по натуре своей не был путешественником. Его либертены кочуют по Европе, либо спасаясь от преследования властей, либо в поисках неизведанных наслаждений. Путешествия де Сада тоже большей частью вынужденные, а потому, где бы он ни был, его неумолимо тянуло обратно, в Ла-Кост. Ла-Кост — его остров, его крепость, где он чувствовал себя полновластным хозяином и вещей, и людей. Осенью 1773 года он под покровом темноты вернулся в Ла-Кост и затаился в его стенах. Рядом с ним находилась верная Рене-Пелажи, служившая мостиком, соединявшим островок де Сада с большим миром. Рене-Пелажи отдавала распоряжения по хозяйству, заказывала для мужа книги и вела дела с управляющим Фажем — по указаниям супруга.

Наверное, в просторных подвалах замка обитали не только зловещие тени прошлого, но и духи, благоволившие к его хозяевам. Во всяком случае, осенью и зимой некто неизвестный предупреждал де Сада о грозивших ему опасностях. В начале января 1774 года ему сообщили, что на замок готовится облава, и посоветовали сменить место жительства. Действительно, в ночь на 6 января отряд жандармов, присланный из Парижа, фактически штурмом взял замок и, несмотря на протесты мадам де Сад, произвел в нем обыск. Жандармы перевернули все вверх дном, взломали шкафы, сожгли бумаги и конфисковали все относительно ценные вещи, пригрозив вернуться, чтобы непременно заарканить «негодяя маркиза» и на веревке приволочь его к мадам де Монтрей. Услышав имя матери, Рене-Пелажи поняла, что спокойной жизни мужу ее ожидать не приходится, и черная кошка, давно уже пробежавшая между ней и мадам де Монтрей, выросла до размеров саблезубого тигра.

Десант ни с чем отбыл в Париж, Донасьен Альфонс Франсуа вернулся в замок, Рене-Пелажи принялась наводить порядок, а неизвестный доброжелатель известил чету де Сад, что Франсуа Эльзеар Фаж, нотариус из Апта и управляющий делами маркиза, не только состоит в тайной переписке с мадам де Монтрей, но и регулярно обкрадывает сеньора Ла-Коста. Мадам де Монтрей также получила сообщение, что Фаж нечист на руку. Наверное, Фаж в самом деле был уличен в нечестности, ибо решение о смене управляющего было принято единогласно. На его место был приглашен Гаспар Франсуа Ксавье Гофриди, друг детства Донасьена, чей отец, Марсиан Гофриди, служил управляющим у графа де Сада.

В течение сорока лет Гофриди будет доверенным лицом всей семьи де

Сад, у него в подчинении будут находиться управляющие в Мазане, Сомане и Арле. Гофриди станет управлять землями де Сада, лавировать между Донасьеном и мадам де Монтрей, успокаивать Рене-Пелажи, терпеть гневные разносы сеньора, игнорировать необдуманные решения господина маркиза, изо всех сил сохранять недвижимость де Садов, прощать товарищу своих детских игр необоснованные обвинения и оскорбления... Гофриди не был для де Сада простым служащим — слишком много неформального было в их отношениях. Гофриди — единственный, с кем одиночка маркиз поддерживал отношения целых сорок лет.

*

Понимая, что теща не успокоится, пока вновь не упрячет его за высокие прочные стены (куда он, как ни парадоксально, постоянно стремился сам), де Сад перестал жить дома и ночевал у своих арендаторов, хотя многие пускали его с большой неохотой. В собственный замок он проникал под покровом темноты. Желая положить конец такому существованию, он решил отправиться в Италию. Но для любого путешествия нужны деньги, а у де Сада их не было. Не было их и у мадам де Монтрей. Неудачная попытка ареста зятя обошлась ей в восемь тысяч ливров, а на ее иждивении помимо собственных детей находились также дети Донасьена и Рене-Пелажи, не говоря уж о родителях этих детей. На вознаграждение де Сада за должность наместника второй год был наложен секвестр, дела, оставленные Фажем, были настолько запутаны, что ожидать доходов из Ла-Коста в ближайшее время не приходилось. Надежда была только на Мазан, где управляющим являлся спокойный и рассудительный Рипер, открыто поддерживавший отношения с мадам де Монтрей и при этом сохранивший доверие и уважение маркиза. Поистине необыкновенный человек...

Кольцо кредиторов все плотнее сжималось вокруг семьи де Сад, но Донасьен сумел убедить Рипера прислать ему деньги, необходимые для отъезда в Италию. В начале марта 1774 года, переодевшись священником, маркиз де Сад сел на речное судно, спустился по Роне до Марселя, там пересел на корабль и отплыл в Италию. Три месяца о нем ничего не было слышно, а в мае пришло письмо: маркиз просил денег! Несчастливая мадам де Сад, снова брошенная на борьбу с кредиторами, продала серебряную посуду, чтобы выслать мужу затребованную им сумму, которую он, судя по обрывочным сведениям, быстро прогулял в Марселе. Отбиваясь от

кредиторов, Рене-Пелажи по совету Донасьена сочинила жалобу в суд, где пространно описала все несчастья, случившиеся за последние два года с ее мужем, и назвала виновницу всех несчастий: мадам де Монтрей. Она обвинила мать в организации налета на Ла-Кост. Жалоба была направлена прокурору в Шатле. Прочитав эту бумагу, прокурор пожал плечами и положил ее под сукно. Слишком много эмоций и выпременной патетики: «Ужель отныне смиренной просительнице суждено влачить дни исключительно горестные, каждодневно печалиться об участи несчастных детей, невинных жертв гонений собственной бабушки, приносящей их в жертву своей ненависти к зятю? Дабы избавить детей от стыда и позора, в пучину коих хотят их погрузить, дабы оправдаться в глазах всего мира, убедить всех, что позор сей никогда не был заслуженным, дабы вернуть детям их положение и отомстить за их честь и честь смиренной просительницы, коя также была унижена, чтобы, наконец, рассеять туман клеветы, пособницей которой просительница едва не стала, не возмись она за оружие, чтобы остановить ее бег, просительница сия вынуждена обратиться к служителям закона, дабы побудить их поставить преграду притеснению». Уф! И ничего по существу. Но откуда взяться доказательствам, если похождения супруга мадам де Сад известны всем? Несчастную женщину можно только пожалеть...

В стране наступили перемены: 10 мая 1774 года умер Людовик XV, прозванный Любимым, и его место занял его сын, Людовик XVI, женатый на очаровательной австрийской принцессе Марии-Антуанетте. Де Сад был уверен, что с воцарением нового монарха прежние королевские указы потеряют силу. Но он недооценил мадам де Монтрей: теща поторопилась получить приказ об аресте зятя, идентичный прежнему, но подписанный уже новым королем. Набожный и обладавший пуританскими наклонностями Людовик XVI не мог отказать в просьбе изолировать от общества такого опасного либертена, каковым слыл де Сад,

Узнав об этом, разъяренная Рене-Пелажи отправилась в Париж — дать ход своей жалобе, но, как и следовало ожидать, нисколько в этом не преуспела. В коридорах канцелярий на нее смотрели с сочувствием, кивали и не делали ничего. А прокурор, которому была адресована жалоба, в очередной раз выпроводив мадам де Сад за дверь, сокрушенно разводил руками: «Бедная женщина сошла с ума...» Не обладая опытом ведения дел, не владея искусством составления бумаг, Рене-Пелажи могла только упорно твердить: «Супруг мой ни в чем не виновен, моя мать клеветает на него». Донасьен буквально околдовал жену, ради него она была готова на все. Повинуясь Донасьену, она бросила детей на руки матери, а в жалобе

написала, что бабушка ненавидит своих внуков; она простила ему роман с сестрой, принимала на веру все его объяснения и продавала последнее, чтобы выслать ему деньги, которые он тратил на развлечения. Что заставляло ее слепо повиноваться супругу: любовь или жалость? Стремление убедить мужа, что он не одинок? Благодарность за раскрывшиеся перед ней бездны человеческого сознания? Передававшийся от супруга мятежный дух? Страх перед постоянно окружавшим Донасьена хороводом любовниц и продажных женщин, которые могли заставить его забыть о ней? Или же чувство долга, ответственности за человека, данного ей в мужья 17 мая 1763 года в церкви святой Марии-Магдалины? Наверное, и то, и другое, и третье...

Иначе как объяснить, что, когда заскучавший в бегах де Сад решил вернуться в Ла-Кост, Рене-Пелажи приняла активное участие в создании «домашнего борделя» для фантазий мужа? Прибыв в Лион, де Сад выписал к себе Рене-Пелажи, и супруги вместе отправились на «поиски» будущих «актеров» эротического театра маркиза де Сада. Первым был ангажирован пятнадцатилетний мальчик, нанятый господином маркизом в качестве секретаря, второй — двадцатичетырехлетняя Анна Саблоньер по прозвищу Нанон, нанятая исполнять обязанности горничной. Вскоре к ней присоединились пять девушек-подростков примерно одного возраста с секретарем. Семеро новых слуг — ощутимый удар по господскому кошельку, даже когда он полон; но если денег нет, какая разница, что кроется за этим «нет» — большие или маленькие суммы? А как и откуда эти суммы возьмутся потом, де Сад не беспокоился. Для этого у него была жена, на которой он женился по расчету, и управляющий: они должны были думать, как оплачивать его расходы.

Итак, население острова подобрано. Вновь нанятые слуги присоединились к старожилам замка: горничной из Швейцарии Готон Дюффе, лакею Картерону по прозвищу Юность, двум крепким работникам, актрисе Дюплан, горничной Розетте и нескольким кухаркам. Таким образом, осенью и зимой 1774—1775 года население острова, отрезанного от внешнего мира высокими стенами Ла-Коста, составляло приблизительно два десятка человек, готовых повиноваться своему господину и сеньору. Рене-Пелажи де Сад отвел роль, более всего сходную с обязанностями содержательницы публичного дома.

Тюрьма как место заключения, замкнутое пространство, где запрещены контакты с внешним миром, всегда являлась территорией свободы либертена. Для тех же, кто попадал в садическую тюрьму не по своей воле, заключение в ней оказывалось еще более жестоким

испытанием, чем пребывание в застенках абсолютизма. Покинув Миоланскую цитадель, де Сад превратил в тюрьму собственный замок — с той разницей, что в Миолане он считал жертвой произвола себя, а здесь власть находилась в его руках и, следовательно, он сам являл собой источник произвола.

Полностью воплотить в жизнь все болезненные фантазии, записанные на тонких, склеенных один с другим листках бумаги, составивших длинный — двенадцать метров и десять сантиметров — свиток, озаглавленный «Сто двадцать дней Содома, или Школа либертинажа», де Сад не мог по многим причинам. Во-первых, у него не было средств придать своему разврату такой размах, какой могли позволить себе его герои; во-вторых, полиция, следовавшая за ним по пятам, вряд ли допустила бы столь масштабную жестокую фантазмагорию, которая представлена в романе; а в-третьих, он, очевидно, был не способен совершить большую часть измышленных им злодейств. Списки преступлений — или извращений, что в данном случае одно и то же, — составляющие содержание трех последних частей романа, больше всего напоминают эпатажный вызов обществу, не желающему признать «необычность» автора «Содома» и заставляющему его «быть как все». Представить себе господина де Сада, заталкивающего девицу в клетку с голодными кобрами, почему-то не получается... Хотя многие из перечисленных маркизом преступлений наверняка были почерпнуты им из хроник и мемуаров — невыдуманного зла всегда хватало с лихвой. Во времена Людовика XIV, например, Париж был потрясен злодеяниями банды знатных молодчиков во главе с Гастоном Орлеанским, братом короля, которые забавы ради могли начинить порохов женщиной и поджечь ее или зверски надругаться над отвергнувшим сексуальные домогательства подростком. Обладатели громких имен и огромных состояний, эти «золотые негодяи», подобно либертенам де Сада, совершали свои злодеяния безнаказанно...

Что мог позволить себе за высокими стенами Ла-Коста либертен де Сад, а что — придуманные им персонажи?

Когда четыре садических либертена — герцог де Бланжи и его брат епископ, председатель Кюрваль и банкир Дюрсе — пожелали вкушать порок во всей его полноте и освоить все способы сладострастия, они решили затвориться в принадлежавшем Дюрсе замке Силлинг, построенном в уединенной горной долине. Либертены взяли с собой жен, которые у них давно стали общими, четырех рассказчиц (сведения, полученные с помощью органов слуха, возбуждают истинных знатоков),

восемь содомитов могучего телосложения (как можно лишать себя главных удовольствий!), восемь очаровательных девочек от двенадцати до пятнадцати лет и столько же мальчиков (исключительно знатного происхождения, без единого изъяна, удивительной красоты), четырех надсмотрщиц преклонного возраста (уродливых, увечных и неопрятных), трех искусных кухарок и трех женщин им в помощь. Доставив в замок необходимое продовольствие, предметы роскоши и орудия пыток, либертены приказали разрушить перекинутый через расселину мост, единственную тропу, соединявшую замок с внешним миром, и замуровать все входы и выходы в крепостной стене. Остров-крепость Силлинг на четыре месяца был превращен в самодостаточный организм, сравнимый с феодальным владением, где над всеми и вся властвовал феодал.

Реальный Ла-Кост не обладал совершенством Силлинга: де Сад вполне понятным причинам не мог полностью отгородиться от внешнего мира, закрыть ворота перед управляющим и арендаторами. Особой роскоши в Ла-Косте также не наблюдалось: большая часть дорогой утвари была продана или заложена, а в качестве орудий для «возбуждения страсти» де Сад использовал розги, режущие и колющие предметы (скорее всего, небольшие ножи, как в случае с Розой Келлер). Будущие исполнители «фантазий» маркиза, в отличие от полностью подвластного либертенам населения Силлинга, были отнюдь не бессловесными, могли сбежать и — как это уже было — даже подать жалобу. Население Силлинга на время эксперимента составило сорок шесть человек, Ла-Коста — около двух десятков.

Разместившись в замке Силлинг, садические либертены занялись написанием правил, где с подлинным сладострастием расписали все до мелочей: убранство и назначение каждой комнаты; кто, с кем, когда и где ночует; распорядок дня; порядок проведения каждой трапезы; меню для каждой трапезы; фасоны и цвет одежды для каждого «сословия» обитателей замка; темы заседаний ассамблеи; провинности и наказания.

Подробность, деталь, перечисление, список постоянно пребывали в центре внимания де Сада, стали органичной частью его переписки, на них строятся его сочинения. Салический либертинаж — это порождение разума, анализа, жесткого диктата разделения, в результате которого индивид становился классифицируемой единицей, частью определенной иерархической системы. Либертен обожал детализировать, деталь позволяла ему отделить одну страсть от другой.

В Ла-Косте де Сад тоже ввел некий распорядок: «Мы ждем вас во вторник, дорогой адвокат... Прошу вас явиться не поздно, хотя бы к обеду,

то есть в три часа; вы очень меня обяжете, если станете соблюдать этот час каждый раз, когда будете приходить к нам в эту зиму. И вот почему: у нас есть тысяча причин, чтобы в эту зиму никого не принимать», — писал он Гоффриди, ни единым словом не обмолвившись ни об одной причине из тысячи. Впрочем, управляющий мог списать настроение хозяев замка на погоду: дни были коротки, и жизнь обитателей Ла-Коста большей частью протекала буквально во мраке, а холодная погода заставляла закрывать все двери и окна.

Для своих эротических фантазий де Сад отвел специальные комнаты — видимо, рядом с гардеробными, где в те времена ставили стульчаки, так как платья источали резкие запахи, отпугивавшие насекомых. В Ла-Косте было восемь стульчаков и шесть биде. Определял ли де Сад кого-либо из нанятых им девушек обслуживать «кабинеты задумчивости», неизвестно, но его персонажи поступали именно так. Как и либертены в его будущих романах, Донасьен Альфонс Франсуа «группировал наслаждения», заставляя принимать подвластных ему обитателей «домашнего борделя» различные позы, «комбинировал удовольствия», руководил церемонией совокупления, усиленно практиковал содомию и даже осуществлял некоторые опасные фантазии, так как впоследствии на теле девочек будут обнаружены следы истязаний. Мадам де Сад в опасных для здоровья оргиях не участвовала, возможно, супруг отводил ей роль рассказчицы, точнее чтицы, заставляя читать какое-нибудь порнографическое сочинение, — вряд ли Рене-Пелажи могла рассказывать истории, соответствовавшие моменту. Себе де Сад отвел сразу несколько ролей: драматурга, режиссера, актера, зрителя и, возможно, философа. Ибо либертен, реализуя свои прихоти и желания, обязан воплотить их в дискурс: оргия организуется для выяснения истины. Приведем небольшой пример из «Ста двадцати дней Содома»: «Все сели за стол; Кюрваль немного пофилософствовал. Твердый в своих принципах, он был таким же нечестивым безбожником и преступником после потери семени, как и в пылу темперамента. Никогда семя не должно ни диктовать, ни руководить принципами; это принципам следует управлять его потерей. Стоит ли у вас или нет, философия, независимая от страстей, всегда должна оставаться собою. Оргии состояли в выяснении истины...» В романах де Сада философствующих либертенов обычно несколько, он же всегда был один, и пытался ли он философствовать с окружавшей его «живой мебелью», неизвестно. Возможно, философию он приберегал для своих романов...

До каких границ дошел де Сад в реализации своих фантазий? Как и его либертены, он услаждал зрение, осязание, слух, обоняние. Но ублажать

вкус маркиза его статисты отказались: копрофагией^[7], занимавшей большое место среди практик четырех содомских либертенов, де Сад в Ла-Косте не занимался. И по вполне понятным причинам никого не приносили в жертву. Но не исключено, что маркиз, как и его либертены, заставлял участников оргий богохульствовать. Отвергая в идее Бога все, что ограничивало человека, де Сад тем самым отвергал и все эти ограничения. В замке Силлинг «имя Бога вообще нельзя было произносить без проклятий и ругательств», хотя таким образом под видом отрицания Бога садическая система требовала его существования. Наверное, девушки в Ла-Косте в страхе исполняли прихоти страшного хозяина, а потом, когда их, наконец, отпускали, потихоньку просили у Господа прощения...

«Сто двадцать дней Содома» — не биографический роман. Но сопоставление двух замков-островов, реального и вымышленного, показывает, что сама мысль о возможности в тишине и без помех предаваться фантазиям, которые де Сад именует также «отклонениями», будоражила воображение автора задолго до создания романа, и он пытался воплотить ее в жизнь. Уместно будет вспомнить, что в 1904 году, когда роман был впервые опубликован немецким врачом Евгением Дюреном, его восприняли как своеобразное энциклопедическое сочинение, посвященное патологическим отклонениям в области физиологии сексуальных отношений.

Эпопея садических либертенов продолжалась четыре месяца, фантазматический спектакль маркиза де Сада — менее двух месяцев. В январе 1775 года одной из горничных удалось бежать, и хотя девица оказалась не из болтливых, вскоре семьи девочек-подростков подали жалобу на де Сада, утверждая, что тот увез детей без согласия семей, а затем подверг их насилию. Последнее обвинение было особенно серьезно — в XVIII веке «развратные действия господина по отношению к слуге» карались пожизненным заключением. В случае де Сада этот проступок можно было рассматривать как рецидив, а его действия по отношению к маленькому «секретарю» — как рецидив содомии, который вполне мог привести на костер.

*

Выпутываться из неприятной истории де Сад предоставил супруге. Рене-Пелажи срочно разместила девочек в монастырях, где были готовы держать их до тех пор, пока на их телах не исчезнут следы жестокого

обращения. Самую бойкую девицу мадам де Сад отправила к аббату де Саду, пригрозив, что, если он откажется присмотреть за ней, она сделает достоянием гласности кое-какие не слишком благовидные его поступки.

Известие об открытии уголовного дела повергло мадам де Сад в ужас. Его необходимо срочно замять! Но как? Девочек нельзя возвращать до полного их выздоровления, значит, следовало вступить в переговоры с родителями и тянуть время. Для этого мадам де Сад вместе с Готон отправилась в Лион. Рене-Пелажи ужасно волновалась: вдруг без нее супруг выкинет что-нибудь такое, что окончательно погубит надежду на пересмотр решений марсельского суда! Пока Донасьен находился в бегах, она подала прошение о пересмотре дела и очень надеялась на успех.

Убедившись, что одной ей не справиться, Рене-Пелажи обратилась за помощью к мадам де Монтрей. Председательша давно не одобряла поступков дочери, считая, что они идут во вред не только ей самой, но и ее мужу. Она писала Гофриди: «У себя в замке он вместе с ней считает себя неуязвимым, в полной безопасности, и позволяет себе все. <...> А если бы ее с ним не было, у него не было бы средств для исполнения своих безумных желаний, а, следовательно, поступки его были бы неопасны. Пусть бы он развлекался, измышляя преступления в стенах дома или даже вне стен его, в любом случае у него не было бы достаточно денег, а, следовательно, стоили бы его развлечения недорого и не имели бы последствий». Практичная мадам де Монтрей подсчитала, во что обойдется подкуп родителей девочек, и тяжело вздохнула. А ведь был еще и мальчик-секретарь, пока находившийся в замке при хозяине, и Нанон, разрешившаяся от бремени девочкой, отцовство которой она приписывала собственному мужу. Но за эту темпераментную особу нельзя было поручиться: в любую минуту она могла все рассказать. И если можно было убедить судей не придавать значения выдумкам несовершеннолетних девочек, то показания совершеннолетней и замужней Нанон будут выслушаны со всем надлежащим вниманием. Тогда прощай пересмотр Марсельского дела! Поэтому Нанон также следовало временно изолировать.

Если бы не внуки, Председательша ни за что не стала бы заниматься делами дочери, так как та давно уже принимала решения исключительно по указаниям мужа. Но не помочь смыть пятно с имени де Сад мадам де Монтрей не могла еще и по другим причинам: она почувствовала поддержку семьи маркиза. Родственники, извещенные председателем парламента в Эксе о безумствах маркиза с похищенными им молодыми людьми обоего пола и о заведенном на него в Лионе деле, похоже, также

были не прочь любым способом изолировать Донасьена Альфонса Франсуа от общества и наконец прекратить сплетни и слухи, окружавшие его имя. Пера де Сада пока опасалась только его теща.

Аббат де Сад, который мог бы оказать мадам де Монтрей действенную помощь, взяв на себя переговоры с судьями в Эксе, где должен был состояться пересмотр дела, решительно отказался куда-либо ехать. Хватит того, что племянничек сплавил ему избитую и исцарапанную девицу! Не отличаясь нравственным образом жизни, аббат не любил общения с судьями: в отличие от Донасьена он не эпатировал общественность своими похождениями. Когда скандал разгорелся, аббат напрямую обратился к министру Королевского дома с требованием арестовать его обезумевшего племянника и посадить под замок.

Привыкшая ничему не удивляться Председательша, пользуясь «затишьем» в похождениях зятя, принялась действовать самостоятельно: связалась с прокурором Лиона, составила инструкцию для Гоффриди, написала письмо в Экс. Однако тревога не покидала ее, и свои сомнения она высказывала Гоффриди: «Если он и дальше станет вести себя тихо <...> быть может, через некоторое время мы сумеем забыть о нем. Однако хватит ли у них разума, и у одного, и у другой, сохранить подобное поведение? Я лично сомневаюсь...» «У них» — это у зятя и Рене-Пелажи.

*

Пока все вокруг суетились, пытаясь замять последствия «театрального эксперимента», который можно было бы назвать «Шестьдесят дней Содома», де Сад отдыхал, а чтобы не скучать, усиленно читал. В Ла-Косте стараниями графа де Сада, а затем и Донасьена Альфонса Франсуа была собрана обширнейшая библиотека, и маркиз постоянно пополнял ее. Каталог этой библиотеки, составленный на основании описей, сделанных де Садом и по его указаниям в 1769 и 1778 годах, насчитывал почти пять сотен названий, среди которых наряду с греческими (Софокл, Пиндар, Плутарх), римскими (Виргилий, Цицерон, Светоний, Гораций, Ювенал, Овидий, Петроний, Тацит, Тит Ливий) и европейскими (Боккаччо, Шамфор, Лабрюйер, Сервантес, Расин, Мольер) классиками были широко представлены писатели современные, как «первого ряда» (Бомарше, Кребийон-отец и Кребийон-сын, Дидро, Вольтер, Лесаж, Прево, Ричардсон, Руссо, Мариво, Филдинг), так и «второго» (Бакюляр д'Арно, Шарль де Фье де Муи, Клод Жозеф Дора, Ретиф де ла Бретон, Луи Себастьян Мерсье,

мадам де Граффињи, Антуан Гамильтон). В библиотеке де Сада работы по философии — сочинения Монтеスキё, Спинозы, Бейля, Декарта, Эразма, Гольбаха, Гоббса, Гельвеция, Юма, Ламетри, Паскаля, Локка — соседствовали с сочинениями утопистов Мабли и Морелли, с трудами отцов церкви и скабрёзными историями о папах и иезуитах. На ее полках мирно уживались жизнеописания святых праведников и теологические трактаты (собранные, видимо, по принципу: «врага надо разить его же оружием»), труды Мартина Лютера и мемуары герцога де Шуазеля, записки маркиза д'Аржансона и любимца Генриха IV герцога де Сюлли, апокрифические мемуары мадам де Помпадур и жизнеописание адмирала Колиньи, сочинения по истории Франции, труды по истории Англии, Италии, Голландии, России, Швеции, Польши, Туниса, Алжира, очерки о плаваниях в далеких южных морях, несколько технических трактатов (по математике и геометрии) и даже нашлось место толстому сочинению о том, как следует сохранять свое здоровье. Словом, выбор поистине огромный, позволяющий в полной мере оценить широту и разносторонность интересов маркиза, его величайшую эрудицию. Но как и любому книголюбу, книг де Саду всегда не хватало. В ту зиму, например, он много читал по истории Прованса и даже попросил Гоффриди купить ему в Париже последние новинки по этой теме. Результатом этого чтения можно считать набросок о Гильеме де Пуатье^[8], сделанный в Венсене в 1780 году, — о том, как Гильем, имея буйный нрав, решил организовать в Ниоре публичный дом под видом женского монастыря.

Шум, поднятый вокруг «дела маленьких девочек», проник за стены Ла-Коста, и де Сад почувствовал, что исход этого дела может оказаться для него плачевным. За крепкими стенами любимого замка он больше не чувствовал себя в безопасности. И решил снова отправиться в Италию, страну, где его ожидали красота, легкость бытия и сладострастие. 17 июля 1775 года после полудня де Сад в сопровождении лакея Картерона по прозвищу Юность покинул Ла-Кост и направился в сторону Систерона, решив на этот раз перебраться в Италию через Альпы. Преодоление горных перевалов оказалось настоящим героическим предприятием: его возок — к счастью, без седока и багажа — чуть не свалился в пропасть, рискуя увлечь за собой медленно спускавших его по скользкому крутому склону людей. Но все обошлось, и 25 июля де Сад вместе с Картероном прибыл в Турин, где остановился в гостинице «Англетер». Не раз Сад будет останавливаться в гостиницах с таким названием: англomania получила широкое распространение. Точнее, останавливаться будет «граф де Мазан», ибо де Сад вновь путешествует под этим псевдонимом. Назвавшись графом де

Мазаном, де Сад словно говорил, что не собирается особенно скрываться: он был уверен, что на территории Италии ему ничто не грозит. Но у инспектора Марэ, уже который год не выпускавшего де Сада из виду, в Италии была своя разветвленная агентура, и каждый новый шаг «графа» становился ему известен. Турин де Саду, очевидно, не понравился, и впоследствии устами своей героини Жюльетты он скажет о нем: «Во всей Италии нет тоскливее и безрадостнее города, чем Турин; двор здесь удручающе скучный, зная вялая и меланхоличная, чернь напоминает висельников».

Ничего интересного соглядатаи начальству сообщить не могли. «Граф де Мазан» ехал из города в город, осматривал достопримечательности, писал путевые заметки и заводил непродолжительные романы. Среди его любовниц были и знатные патрицианки, и почтенные буржуазки. Во Флоренции у него сложился роман со знаменитой красавицей полусвета Сарой Гудар, женой авантюриста и писателя Анжа Гудара. В свое время Гудар встретил Сару в лондонской таверне, где она работала подавальщицей, и, пораженный ее красотой, увез на континент, где женился на ней и приставил к ней учителей. Ученица оказалась необычайно способной, и Гудар даже подумывал поставить ее на место фаворитки Людовика XV мадам Дюбарри, но не сумел. Чтобы избежать ареста, супругам пришлось бежать из Франции, и с тех пор очаровательная парочка колесила по Европе, он зарабатывал интеллектом, она — красотой, и оба они — карточной игрой, не чураясь при этом, как говорил Казанова, «подправлять фортуна», то есть плутовать. А еще, как и многие авантюристы того времени, Гудары при случае подрабатывали шпионажем. Сару, которую Донасьен считал одной из первых красавиц Италии, не называют явным прототипом Жюльетты, но частичка прекрасной авантюристки в этой героине, несомненно, есть. Не оставлял своим вниманием маркиз и злчные заведения, но невозможность отыскать безопасный «остров», «неприступную крепость» удерживала его от оргий, подобных тем, из-за которых ему пришлось покинуть Францию.

Существует точка зрения, согласно которой приключения де Сада в Италии были гораздо более бурными, но ему удалось скрыть их от шпионов Марэ, а впоследствии они нашли свое отражение в путешествии по Италии его любимой героини Жюльетты. Верно ли это предположение в части, касающейся реализации маркизовых фантазий? Возможно, новые сведения появятся после публикации комментария к «Путешествию по Италии», объем которого превышает объем основного текста. Комментарий этот недавно был обнаружен в архивах семьи де Сад. Параллели же между

странствиями графа де Мазана и либертенки Жюльетты, несомненно, провести можно. Во всяком случае, маршрут у них один: после Флоренции и де Сад, и Жюльетта держали путь в Болонью, а оттуда в долину вулкана Пьетрамала. Проездом де Сад останавливался в монастыре, где был прекрасный приют для паломников. В этом же монастыре Жюльетта провела неделю, предаваясь сладострастным оргиям. Добравшись до вулкана, оба, и автор, и его героиня, наслаждались зрелищем раскаленного кратера. Шумные, яростные, обильные и губительные извержения либертенов в романах маркиза часто сравниваются с извержением вулкана. Недаром сразу после посещения долины вулканов Жюльетта попадает в замок гигантского монстра-либертена Минского, в любую минуту готового к мощнейшему извержению из своего вечно вздыбленного жезла.

У путешественника де Сада был пристальный взор, подмечавший множество мелочей, которые он с удовольствием разглядывал и описывал. Познакомившись во Флоренции со страстным коллекционером доктором Мени, французом, обосновавшимся в Италии, де Сад с удовольствием знакомился с его коллекцией древностей, подолгу рассматривая монеты, медали, вазы, раковины и засушенные образчики флоры и фауны. Обретя в маркизе благодарного слушателя, Мени с удовольствием служил ему гидом по Флоренции, а когда де Сад стал скупать предметы старины и произведения искусства, давал ему ценные советы. У доктора Мени было пять дочерей, из которых три были замужем, одна постриглась в монахини, а младшая жила с родителями. Де Сад завел роман с замужней Кьярой, матерью пятерых детей и ожидавшей в то время шестого ребенка. Для маркиза этот роман был очередным, бурным и непродолжительным, для Кьяры — жарким, словно ослепительное итальянское солнце, неповторимым и слишком коротким, ибо она была готова любить Донасьена вечно и тяжело переживала разлуку с ним.

Как и положено любознательному путешественнику, де Сад прочел множество путеводителей по Италии, но ни один не соответствовал его собственным представлениям об этой стране. Ему казалось, что предшественники уделяли слишком много внимания произведениям искусства и слишком мало — нравам. И он усердно списывал листы своими наблюдениями «над жизнью»:

Во Флоренции множество театральных залов, но летом можно увидеть только оперу-буфф, основной театральный сезон начинается в сентябре... тоньше, чем у женщин. Возмутительно!..

Площадь Барберини в Риме украшает великолепный фонтан Бернини с тритоном и четырьмя дельфинами. Когда струя воды, что вырывается из

чаши на голове тритона, замерзает, у тритона образуется чрезвычайно живописная прическа...

В Неаполе ассамблеи и театры начинаются поздно, а потому заканчиваются в такой час, когда практически нигде невозможно поужинать, и остается либо ложиться спать голодным, либо глотать сухие куски в гостинице. Но если до начала итальянцы все равно преспокойно сидят в кафе и ничего не делают, то почему бы не начинать общественные увеселения немного раньше? Ведь есть же люди, которые не любят торчать в кафе!..

Улицы Неаполя кишат доступными женщинами, готовыми за умеренную цену на любые фантазии либертенов. Матери предлагают вам своих детей любого пола и возраста, жены продают мужей, мужа — жен. «Так что же, спрашиваю я вас, ожидает добродетель? Нравы населения упали столь низко, что малейшая возможность получить барыш заставляет отбрасывать заботы о здоровье и, презрев такие понятия, как порядочность, честность и добродетель, подталкивает к преступлению. Порядочность и приятное обхождение, честность в отношениях между полами, способствующие зарождению благородных страстей, кои, как известно, являются пристанищем добродетели, в сем городе совершенно неизвестны, ибо население его по причине крайней грубости взглядов желает только наслаждаться».

В «Истории Жюльетты» де Сад несколько по-иному определяет причины моральной деградации: «Мы же склоняемся к мнению, что нравственное разложение, независимо от местности или режима власти, происходит только в результате высокой концентрации населения на небольшой площади: всего скорее портится то, что свалено в кучу».

И все же, откуда возвышенная филиппика в защиту морали и добродетели? Не намеревался ли де Сад уже в то время опубликовать свои заметки? Тогда подобные пассажи вполне могли быть уступками общественному мнению, костью, брошенной будущим цензорам. Ибо Донасьен не мог не понимать, что, вздумай он опубликовать сочинение, полностью созвучное его «образу мыслей», под собственным именем, его непростое положение осложнится до крайности, а тираж могут конфисковать. И если анонимные памфлеты (которых так боялась мадам де Монтрей) представляли угрозу прежде всего для того, кто в них выведен, то сочинение с именем автора на титуле с головой выдавало своего автора. Не потому ли де Сад никогда не признавался в авторстве ни «Жюстины», ни «Жюльетты», ни «Философии в будуаре»?

Заметки об Италии должны были стать первой не анонимной

публикацией де Сада — или просто первой, если отвергнуть хотя и обоснованную, но все же гипотезу о его ранних анонимных публикациях. Но известно точно: Донасьен Альфонс Франсуа очень серьезно относился к этому сочинению и по возвращении много над ним работал. Ему долго не давалось название, посредством которого он хотел отмежеваться от многочисленных авторов, опубликовавших заметки об Италии. В конце концов полное название его труда звучало так: «Путешествие по Италии, или Рассуждения критические, исторические и философические о городах Флоренции, Риме, Неаполе и Лорето, а также дорогах, к сим четырем городам ведущих. Сочинение, целью коего является описание обычаев, нравов, законодательства и т.д. как древних, так и нынешних, исследование подробное и доскональное, выполненное в духе, в коем до сих пор никто материи эти не описывал». Но при жизни де Сада «Путешествие» издано не было.

В Риме Анж Гудар устроил «маркизу де Мазану» встречу с французским посланником, кардиналом-либертенем Жоашеном де Берни, добрым приятелем Казановы, с которым де Берни делил любовь двух прекрасных венецианок. Как принял де Берни «маркиза де Мазана», доподлинно не известно, зато Жюльетту он принял «со всей изысканностью, какую только можно было ожидать от верного помощника Петрарки» (кардинал был неплохим поэтом.) Для Жюльетты де Берни на уединенной вилле Альбани устроил фантазматическое действо, достойное истинного либертена — с розгами, дефлорацией, содомией и сдиранием кожи. Тот же де Берни организовал ей встречу в Ватикане с папой Пием VI, преемником Климента XIV. В «Преуспеваниях порока» папа предстает распутником и содомитом, в то время как, по свидетельству современников, Пий VI отличался подлинным благочестием и немало сделал для улучшения положения бедных, Де Сад добивался личной аудиенции у папы, но подтверждения, что она была ему дана, нет. Известно только, что де Сад, смешавшись с толпой, пришедшей поглазеть на пышное торжество, присутствовал на церемонии вступления Пия VI на престол святого Петра. Когда об этом узнала Рене-Пелажи, она очень обрадовалась и всем рассказывала, что супруг ее собственными глазами видел папу, подразумевая, что таким образом он сделал большой шаг по пути к исправлению.

В Неаполе «маркиз де Мазан» был представлен королю Фердинанду IV и настолько пришелся ему по душе, что король предложил ему поступить к нему на службу. Служба в планы де Сада не входила. Жюльетта также была представлена Фердинанду и его супруге, которые,

как, впрочем, и все царственные особы в «жестоких» романах де Сада, оказались жуткими развратниками. Вместе с Жюльеттой они устраивали страшные оргии с массовыми истязаниями и убийствами безвинных жертв. Там же, возле Неаполя, Жюльетта и ее подруга Клервиль сбросили в жерло Везувия свою подругу, либертенку Олимпию — ведь у либертенов нет привязанностей, они повинуются исключительно сиюминутным желаниям. Де Сад поднимался на Везувий, но в жерло вулкана никого не сбрасывал.

В Неаполе де Сад принял решение вернуться домой, в Ла-Кост. Во-первых, у него закончились деньги, а во-вторых, его потянуло к себе на «остров». Но прежде чем тронуться в обратный путь, он морем отправил ящики с приобретенными в Италии предметами искусства и старины. Посылки до Ла-Коста дошли — но в каком виде! Все, что могло разбиться, разбилось, все, что могло сломаться, — сломалось. Де Сад воспринял утрату философски. Несмотря на постоянное стремление окружить себя комфортом, он легко относился к потере вещей. Из состояния равновесия его могла вывести потеря либо рукописи, либо какого-нибудь пустяка, которому он по одному ему известным причинам придавал большое значение.

*

В июне 1776 года де Сад прибыл в Гренобль, откуда путь его лежал в Ла-Кост. Но прежде чем возвратиться домой, де Сад вновь нанял себе «секретаря». Наверное, за год странствий маркиз забыл, что ему грозил арест, а пересмотр его дела напрямую зависел от его поведения. Чиновники в Эксе были готовы рассмотреть кассационную жалобу, однако прежде беглец должен был прибыть в тюрьму, чтобы в любое время быть в распоряжении правосудия. Инициативу по делу должен был проявить двор. Но пока никто так и не решился поговорить с королем о господине маркизе де Саде, опасаясь оскорбить стыдливость его величества.

В Ла-Косте де Сад чувствовал себя прекрасно. Он много читал, разбирал материалы, добросовестно присылавшиеся ему доктором Мени и «маленьким доктором» Иберти, работал над рукописью «Путешествия по Италии». Намереваясь писать о нравах, де Сад создавал «философическое» произведение. Его никто не беспокоил, и он вновь обрел уверенность в неприступности своей крепости. Но, как это бывало и раньше, после сравнительно долгого затворничества его вновь одолели «фантазии», и он помчался на поиски статистов своих будущих фантазматических

спектаклей.

На этот раз он отправился в Монпелье, где повторилась история с «маленькими девочками», с той лишь разницей, что теперь он нанимал девушек постарше. В качестве кухарки он нанял двадцатидвухлетнюю дочь ткача красавицу Катрин Трейе; впоследствии он станет звать ее Жюстиной. Подходящее имя для предмета садической любви!

Увидев будущих статисток очередных фантазмов, мадам де Сад не удивилась и внутренне приготовилась к новому сражению. Она понимала, что не имеет никакой власти над супругом и все, что она в состоянии сделать, — это по возможности оберегать его и от врагов, и от самого себя. Зная о состоянии дел Донасьена Альфонса Франсуа, она понимала, что ничем хорошим новая история с «девочками» завершиться не может, и с замиранием сердца ждала развязки, делая все, чтобы за стены Ла-Коста проникало как можно меньше слухов. Хорошо бы, конечно, превратить Ла-Кост в остров, но как платить жалованье «девочкам», покупать еду, а главное — где брать деньги? Путешественник истратил гораздо больше, чем мог себе позволить. На выручку пришла мадам де Монтрей. Теперь она действовала через Гофриди: выслала деньги ему и потребовала, чтобы он тратил их только на продукты и необходимые платежи. Такое ущемление его прав вызвало у де Сада очередной приступ ненависти к теще, и он, словно назло ей, нанял еще парикмахера и горничную. То ли девушки из Монпелье оказались более пугливыми, то ли де Сад перестал крепко запира́ть двери, но в результате «живая мебель» в считанные дни покинула замок. Добровольно осталась только «Жюстина» — Катрин Трейе. Прибыв в Монпелье, беглянки сообщили отцу Катрин, куда попала его дочь, и тот, раздобыв пистолет, помчался выручать свое дитя из «рассадника разврата».

Прибыв в Ла-Кост и с удивлением убедившись, что дочь не хочет покидать замок, ткач стал требовать де Сада выдать ему девушку против ее воли. Де Сад резонно ответил, что готов уволить кухарку, но только тогда, когда найдет ей замену. Трейе вспылil и выстрелил в маркиза. К счастью, пуля пролетела мимо, и Трейе, испугавшись собственного поступка, отправился в деревню. Там, восстановив бодрость духа в местной таверне, он отправился подавать жалобу на маркиза. Узнав об этом, маркиз немедленно велел Гофриди подать встречную жалобу, обвинив ткача Трейе в покушении на убийство. Судьям была прекрасно известна репутация де Сада, и они подозревали, что нет дыма без огня и в этом случае. Но де Сад — знатный сеньор и крупный землевладелец, и оставлять его жалобу без внимания нельзя. Поэтому судьи стали тянуть, надеясь, что все как-нибудь уладится само собой.

Надежды их полностью оправдались. Раздраженный тем, что все шло не так, как он задумал, де Сад решил ехать в Париж. Решение было необдуманно и более походило на каприз, поэтому все, включая преданную Готон, исполнявшую обязанности кухарки и горничной, уговаривали его отложить поездку. Но маркиз никогда не слушал ничьих советов; быстро собравшись, он вместе с Рене-Пелажи отбыл в Париж. Прибыв в столицу 8 февраля, де Сад узнал, что 14 января в монастыре на улице Анфер скончалась графиня де Сад. О ее смерти Донасьена Альфонса Франсуа не известил никто. Это печальное событие не взволновало маркиза: он давным-давно не поддерживал с матерью никаких отношений. В отличие от графини де Сад, следившей за делами сына и в случае необходимости пускавшей в ход свое влияние, чтобы помочь ему, Донасьен Альфонс Франсуа жизнью матери не интересовался. Зато у него появился благородный предлог, объясняющий его приезд в Париж: он спешил на похороны матушки.

Вкусить прелестей столичной жизни де Сад не успел. 13 февраля, когда он находился в гостинице, где остановилась Рене-Пелажи (сам он жил у своего старого наставника, аббата Амбле), к ним в номер явился инспектор Марэ и предъявил королевский указ о заточении без суда и следствия, на основании которого полицейские препроводили господина маркиза в Венсенский замок и заперли в камере номер одиннадцать. По сравнению с другими камерами она имела бесспорное преимущество: окно было расположено значительно выше уровня стены, и в него проникал не только воздух, но и немного солнечного света. Впоследствии это позволило маркизу у себя в камере выращивать в горшках луковичные растения. До марта 1790 года, когда его, наконец, выпустят на свободу, де Сад успеет побывать узником Венсена, Бастилии и приюта для умалишенных в Шарантоне. Тюремная камера станет его островом, и когда встанет вопрос о возможности перевести его из Венсена в Монтелимар, он, обжившийся на своем Венсенском островке словно Робинзон, от переезда откажется. Правда, когда переезд предлагать перестали, он тут же потребовал сменить ему место заключения...

*

Венсенский замок, основанный в XII столетии как охотничий замок французских королей, стоял в Венсенском лесу, где некогда рос знаменитый дуб, под которым король Людовик IX, прозванный Святым, вершил

правосудие. В XIV веке Филипп VI начал, а Карл V завершил постройку высокого квадратного донжона, увенчанного по краям четырьмя круглыми башнями. Донжон окружали толстые стены с машикулями, угловыми сторожевыми башенками и крытой галереей. Затем была возведена еще одна стена, и образовался широкий двор, достойный королевской резиденции. В 1540 году Франциск I торжественно принимал здесь Сулеймана Великолепного. Людовик XIII превратил донжон в государственную тюрьму. При Ришелье в ней сидел Анри II де Бурбон-Конде, во времена фронды — Великий Конде, герцог де Бофор, кардинал де Рец, во времена Людовика XIV — суперинтендант Фуке и отравительница Ла Вуазен. Предшественники у маркиза де Сада были вполне достойны и его самого, и его персонажей.

Оказавшись в камере знаменитой тюрьмы, де Сад тотчас потребовал перо и бумагу, намереваясь немедленно написать жалобу: он был уверен, что его арест — дело рук мадам де Монтрей. Позднее он станет утверждать, что спешил в Париж повидаться с умирающей матерью, а теща воспользовалась его несчастьем и велела заточить его в темницу. «Из всех возможных способов, коими располагают месть и жестокость, вы, сударыня, избрали самый отвратительный. Я приехал в Париж, чтобы принять последний вздох умирающей матушки, единственным намерением моим было повидаться с матушкой и обнять ее, если она еще жива, или же оплакать ее, если она уже покинула сей мир. Вы же воспользовались этим и вновь принесли меня в жертву!» — со своим обычным пафосом писал он мадам де Монтрей. С каждым годом монстр в лице тещи становился в глазах Донасьена Альфонса Франсуа все отвратительнее: ведь эта добродетельная особа, даже не принадлежавшая к родовитой аристократии, дерзала противостоять ему, и еще как успешно!

Приказ об аресте де Сада вряд ли мог свалиться с неба — его действительно выхлопотала мадам де Монтрей. Она была в курсе всего случившегося в Ла-Косте и понимала, что если зять вновь устроит шумный «спектакль», про пересмотр дела придется забыть. Аббат де Сад тоже выразил желание изолировать племянника, но сам для этого не предпринял ничего. Обезопасив себя от «фантазий» зятя, мадам де Монтрей вплотную занялась проблемой пересмотра его дела. Теперь она была почти уверена, что никто не помешает ей добиться нужного результата. Впрочем, когда речь шла о Донасьене, нельзя было быть уверенной ни в чем. Тем более что Рене-Пелажи во всем поддерживала мужа и помощи от нее не было никакой. «Пусть другие откроют ей глаза, а затем я объясню ей что к чему. И все же: как можно быть столь доверчивой? А может, она просто

прикидывается? Этого я понять не могу. Ибо, в конце концов, она должна была бы видеть, знать, *убедиться* самой, что все, что говорят о ее муже, вовсе не является клеветой!» — в сердцах писала мадам де Монтрей Гоффриди. Она просила управляющего проверить, нет ли среди бумаг зятя каких-либо скабрёзных или иных компрометирующих его и семью бумаг. Иными словами, произвести обыск в кабинете Донасьена Альфонса Франсуа в Ла-Косте,

Пока в Париже и Ла-Косте занимались делами господина маркиза де Сада, в Сомане, точнее, в соседней деревушке Виньерм 31 декабря 1777 года умер аббат де Сад. Встрепенувшись, мадам де Монтрей тотчас попросила Гоффриди «присмотреть» за замком в Сомане, ибо и замок, и мебель в нем принадлежали Донасьену. Но командор, старший брат аббата, подсуетился и вывез все подчистую, выкопав даже росшие в саду деревья. И отказался брать на себя расходы по погребению и уплату долгов аббата. Если бы Поль Альдонс де Сад оставил свои дела в порядке, мадам де Монтрей, возможно, сумела бы отстоять причитающуюся Донасьену долю движимого имущества, но она махнула рукой и решила ни во что не вмешиваться. Она слишком много трудилась ради семьи дочери, а благодарности никакой.хлопоты мадам де Сад о возможности унаследовать часть доходов аббата также не увенчались успехом.

Благодаря стараниям мадам де Монтрей, король, наконец, позволил начать процедуру обжалования приговора суда, вынесенного «на основании имевшихся подозрений в совершении преступлений — отравления и педерастии», так как «согласно общественному мнению, во время ведения дела было допущено множество неточностей, совершены неправильные действия, а потому, пересмотрев дело на суде по всем надлежащим правилам, вердикт того суда должно отменить». Для отмены вердикта требовалось ехать в Экс. Пойдя навстречу пожеланиям заключенного, сопровождать его был назначен инспектор Марэ. 21 июня 1778 года инспектор благополучно разместил своего подопечного в тюрьме Экса. Уверенный, что настали последние дни его заключения, де Сад заказывал роскошные обеды, раздавал чаевые направо и налево и даже завел платонический роман с прекрасной узницей, названной им «Дульсинеей в зеркале» — он влюбился в нее, увидев ее отражение в зеркале.

*

Процесс длился меньше месяца: 14 июля парламент Прованса вынес

окончательное постановление. Донасьен Альфонс Франсуа де Сад был приговорен к публичному внушению, а также в течение трех лет ему запрещалось посещать город Марсель. Уплатив судебные издержки в сумме пятидесяти ливров, господин де Сад мог считать себя свободным, а приказ о взятии его под стражу аннулировался. Де Сад ликовал: наконец-то он свободен! Он забыл, что наряду с законным правосудием во Франции существовало правосудие «внесудебное», опиравшееся на абсолютную власть монарха, обладавшего правом заключить в тюрьму на неопределенный срок кого угодно. Де Сад уже испытал действие королевского «письма с печатью» на себе, но был уверен, что оправдательный приговор аннулирует и подписанный королем указ о его аресте. Он уже достаточно наказан за совершенные им пустяковые проступки!

Но в отличие от любимого де Садом итальянского юриста Беккариа, считавшего, что «лишение свободы, будучи само по себе наказанием, не может предшествовать приговору...» и что «предварительное заключение... является простым задержанием гражданина до признания его судом виновным, и поскольку такое задержание является по сути наказанием, оно должно быть непродолжительным и максимально легким», французские юристы того времени расценивали тюремное заключение не как наказание, а как своего рода залог того, что человек более не совершит ни проступка, ни преступления.

«Письма с печатью», идея которых принадлежала министру полиции времен Людовика XIV Марку Рене д'Аржансону, были задуманы прежде всего как способ сохранения фамильной чести, заключение на основании такого письма — в отличие от судебного приговора — не наносило бесчестия ни семье, ни самому заключенному. Родственники де Сада во главе с мадам де Монтрей хотели, чтобы Донасьен Альфонс Франсуа перестал безумствовать, а сделать это можно было, только изолировав его от общества. В принципе никто бы не возражал, если бы де Сада отправили в пожизненную ссылку, но для этого нужны были причины гораздо более веские, чем либертинаж. К тому же непредсказуемый маркиз мог в любую минуту вернуться самовольно. Изолировать неумного либертена возможно было только одним способом: испросить у короля «письмо с печатью» и на его основании заключить Донасьена Альфонса Франсуа в тюрьму, вытребовав для него все возможные послабления и создав ему наиболее комфортные условия. А если либертен исправится, можно будет похлопотать об освобождении.

Поэтому на рассвете 15 июля в камеру к де Саду явился Марэ, но

вместо того, чтобы вручить ему приказ об освобождении, предъявил *lettre de cachet*, подписанное королем 5 июля. Суд освободил де Сада, но королевская воля (или произвол) распорядилась иначе. Утром карета с задернутыми шторами выехала из двора тюрьмы города Экса, увозя в Париж узника короля Донасьена Альфонса Франсуа де Сада и сопровождавших его инспектора Марэ, брата Марэ Антуана Тома и двух полицейских. Де Сад был на удивление спокоен, что, принимая во внимание их долгое знакомство, должно было бы насторожить Марэ. Но этого не случилось, и де Сад спокойно и тщательно обдумывал способ побега.

Первая попытка побега, предпринятая из гостиницы крохотной деревушки Валигьер, оказалась неудачной. Зато вторая удалась блестяще: обманув бдительность стражей, де Сад бежал из «Луврского трактира», расположенного на окраине Баланса. Сначала он долго отсиживался в каком-то сарае, потом добрался до берега Роны, нанял лодку, и лодочник доставил его в Авиньон, где жил старинный приятель Донасьена. Поужинав и отдохнув, де Сад ранним утром выехал в Ла-Кост и уже днем был на месте, усталый, но довольный.

*

Маркиз де Сад наслаждался домашним уютом и с удовольствием читал письма тетюшек, искренне радовавшихся снятию с него несправедливого приговора и выражавших надежду, что племянник одумается и начнет новую жизнь. Даже тетя Вильнев-Мартиньян, никогда не слышавшая суровой моралисткой, желала племяннику забыть прошлые безумства и вернуть былой блеск имени де Садов. Читать такие письма было приятно, хотя новую жизнь он начинать не собирался, а, напротив, жаждал продолжить безумства.

Как было сказано, в тюрьме де Сад влюбился в «Дульсинею в зеркале», узницу по имени Дуайан де Бодуэн. Прибыв в Ла-Кост, он немедленно написал ей письмо и начал энергично разузнавать, по какой причине она оказалась в заточении. Сведения поступили неутешительные, однако он узнал, что произвел на красавицу неизгладимое впечатление. К несчастью, вести переписку даме де Бодуэн было запрещено. Роман не состоялся, а через несколько лет де Сад получил письмо от дамы де Бодуэн с благодарностью за поддержку (де Сад несколько раз посылал ей деньги в тюрьму) — и за нежные чувства...

Именно нежные чувства отвлекли де Сада от «фантазий». Когда роман с «Дульсинеей» не состоялся, он увлекся дочерью сельского нотариуса Мари-Доротеей де Руссе, служившей в Ла-Косте экономкой. Говорят, ее пригласила в замок сама Рене-Пелажи, надеясь в ее лице дать мужу остроумную и порядочную любовницу, сумеющую положительно повлиять на него. Милли, как шутливо прозвал ее де Сад, не стала его любовницей, но сделалась его другом, что для него было гораздо важнее. Ей было за тридцать, она была некрасивая, но безмерно живая и обаятельная, умела поддерживать беседу на любую тему, кокетничала, но никогда не переступала проведенную ею самой черту. «Я привязался к ней, и привязанность эта будет сопровождать меня всю жизнь. Она всегда поступала по отношению ко мне как добрый и искренний друг, а душа моя никогда не была чужда признательности», — напишет де Сад о Милли Руссе. Их личное общение было недолгим — маркиза вскоре арестовали, но они продолжили свои беседы в письмах. Письма де Сада к мадемуазель де Руссе были то шутливыми, то злыми, то исполненными любви — даже с Милли, всегда находившей слова, чтобы умирить его, маркиз вел себя исключительно неровно. Сидя в заключении в Венсенском замке, именно Милли он просил позаботиться о Рене-Пелажи: «Таких жен, как у меня, уже не делают, и это еще одна причина, по которой я умоляю вас хорошенько о ней позаботиться ради меня», — писал де Сад в марте 1779 года.

Мадемуазель де Руссе скончалась в январе 1784 года, но де Сад узнал об этом много лет спустя: никто не решился написать ему о смерти его любимой «зверушки».

Маркиз настолько приятно проводил время у себя в замке, что не внял очередному предупреждению доброжелателя, сообщившего, что господина маркиза вновь намереваются арестовать. Хотя об этом можно было догадаться и без предупреждения — ведь мадам де Монтрей всегда стремилась доводить дела до конца. Наблюдая, как дочь ее пыталась аннулировать приказ об аресте мужа, она сочла необходимым действовать, и на заре 26 августа Ла-Кост вновь подвергся штурму, в результате которого в замок вторгся отряд полиции во главе с инспектором Марэ. Сметая все на своем пути, Марэ вытащил де Сада буквально из кровати, затолкал в карету и повез в Париж. 7 сентября 1778 года маркиз де Сад вновь был водворен в Венсенскую крепость, в камеру номер шесть. Началась долгая робинзонада Донасьена Альфонса Франсуа де Сада, монотонность которой будет нарушена двумя переездами — сначала в Бастилию, а потом в Шарантон, откуда революция вызволит его, чтобы через десять лет вновь запретить там

до самой его кончины.

Глава VI.

РОМАН В ПИСЬМАХ, И НЕ ТОЛЬКО

Очутившись в заключении, де Сад немедленно начал писать: процесс письма спасал его от бездействия, которого вспыльчивый и своенравный маркиз не терпел более всего. Его монолог в письмах, создававшийся на протяжении тринадцати лет, стал яркой и страстной исповедью возмущенной души, одержимой одной-единственной целью — вырваться на свободу. Однако душа эта зачастую смотрелась весьма неприглядно: де Сад никогда не считал нужным скрывать ни свои мысли, ни поступки, ведь согласно его теории человек, творя зло, всего лишь подчинялся природе: «Не стоит портить себе кровь из-за добродетелей, ибо во всем, что касается *этих вещей*, мы не властны выбирать, не властны иметь тот или иной вкус и, следовательно, присоединяться к тому или иному мнению, как не вольны мы стать рыжими, коли природа создала нас брюнетами. Вот моя извечная философия, и я от нее не отступлю».

Слово «философия» стало его оружием, с его помощью он постепенно убедил себя в своей полнейшей невинности. «Законы необходимы, когда человек свободен, ибо справедливо покарать зло, кое человек волен был не совершать. Но если человек не волен в своих поступках, если все его действия являются следствием неодолимого порыва, необходимости, порожденной его органами, течением его жизненных соков, одним словом, если они полностью зависят от его физической организации, тогда выбирать он не в силах, и в этом случае законы превращаются в орудие исключительно произвола, ибо отвратительно наказывать человека за то зло, которое он не мог не совершить». Поэтому, если можно сказать, что в тюрьму маркиз вошел писателем, «*homo scriptens*», то на свободу вышел писатель и философ, соединивший в своем творчестве — вполне в духе времени — эротизм и философский нонконформизм. Хотя при Старом порядке де Сад и не называл себя ни писателем, ни литератором, его страсть к писательству успела с необычайной яркостью проявиться как в письмах, так и в путевых заметках, а возможно, и в анонимных сочинениях — тех, где он «сменил перо Мольера на перо Аретино».

Как только венсенское начальство предоставило де Саду перо, бумагу и чернила, он немедленно составил письмо мадам де Монтрей, в котором, во-первых, упрекнул ее в жестоком отношении к нему, во-вторых,

пригрозил самоубийством, а в-третьих, обвинил ее в стремлении погубить его: «Амбле раскрыл мне еще один из ваших планов, и именно его я и намереваюсь выполнить. Он рассказал мне, мадам, — вне сомнения, по вашему распоряжению, — что свидетельство о смерти — это самый важный и самый желательный документ, который позволит в кратчайший срок положить конец этому злосчастному делу. <...> Клянусь вам, что позабочусь, чтобы вы весьма скоро его получили». Не менее пафосное письмо было отправлено и Рене-Пелажи; в нем де Сад, бросив камень в огород тещи, также пригрозил самоубийством, если его немедленно не выпустят: «Если моя жизнь тебе все еще дорога, пади к ногам министра, а если нужно, то и самого короля, и попроси их вернуть тебе мужа. Ужели смогут они отказать тебе? Притесняя меня подобным образом, они всего лишь исполняют жестокие замыслы твоей матери. Если спросить их, попросить их вспомнить, в чем я виноват перед королем, за что он карает меня столь жестоко, то никто не сможет назвать законной причины моего заточения, а следовательно, отказать тебе в моем освобождении».

Угрозы лишить себя жизни («...я чувствую, что долго не протяну») у Донасьена Альфонса Франсуа сочетались с требованиями прислать «без промедления» (а также «немедленно», «незамедлительно» и т. п.) те или иные вещи: «Умоляю вас, в ожидании того благословенного дня, когда я освобожусь от ужасных мучений, в которые меня ввергли, договоритесь о свидании со мной, о дозволении писать чаще, чем сейчас, о разрешении для меня совершать небольшую прогулку после еды, что, как вы знаете, важнее для меня, чем сама жизнь, и выслать без промедления вторую пару простыней». Постмодернизм какой-то, черный юмор...

В письмах господина маркиза сочетались высокопарность героя классической трагедии — «Нет, я никогда не прощу тех, кто предал меня, и не удостою их ни взглядом, пока я жив!» — и мелочность ростовщика. Так, например, когда хирург Фонтельо, поставлявший заключенным мази и бальзамы и по совместительству исполнявший обязанности цирюльника, предъявил де Саду счет на сумму в сто двадцать три ливра тринадцать су, маркиз после тщательного изучения документа написал: «Уплачено 37 ливров 13 су, реальная стоимость того, что включено в счет. Остаток в 86 ливров кажется мне весьма существенным, так что вряд ли меня станут порицать за то, что я решил все перепроверить!» Изложив на обороте свои «Замечания к настоящему счету», маркиз после скрупулезнейших подсчетов вывел, что капли, сироп из алтейного корня, камфарный спирт и молоко стоят именно тридцать семь ливров тринадцать су, и ни су больше. «Помимо ошибки, а также замечаний, которые может высказать мне

Фонтельо, к коим, обещаю, я отнесусь с величайшим вниманием, я готов просчитать все вновь, если вышеуказанный господин найдет рассуждения мои несправедливыми, хотя сам я уверен в их точности. Следовательно, уплатить по этому счету следует сумму в тридцать семь ливров тринадцать су, кои я и прошу жену мою выплатить. Де Сад».

И так во всем — все на пределе, все в высшей степени, временами доходящей до абсурда, все самое-самое... Если счет казался ему неверным, Донасьен Альфонс Франсуа составлял записку во много раз подробнее самого счета и с дотошностью бухгалтера доказывал, что его обманули, причем не важно, была ли сумма равна восьмидесяти шести ливрам или всего шести. Составляя меню, он не забывал распорядиться, чтобы все было «свежайшим». Требуя на обед суп, де Сад писал: «Вкусный суп-потаж. Далее я не стану повторять эту фразу, но суп-потаж всегда должен быть свежайшим и вкусным, как утром, так и вечером». Птица должна была быть «непреренно сочная», как и «телячьи котлетки», а артишоки непременно «нежные». «Страдания» Донасьена Альфонса Франсуа «не поддаются описанию»; так, как поступили с ним, «не поступали еще ни с кем». А поэтому ему следует присылать все только самое лучшее: «лучшую розовую воду, самую нежную и самую дорогую, какую можно найти в лавке», «губки самые лучшие, что можно достать», и т. д. и т. п.

Упоминание о меню может вызвать удивление. Однако благодаря продуктам, которые де Саду присылала жена или покупал по его просьбе надзиратель, у него действительно был собственный рацион питания. Что же касается остальных заключенных, то, по свидетельству Мирабо, трапезы их в основном были малосъедобны, а де Сад, хотя и питался отдельно, утверждал, что тюремщики обкрадывали заключенных. Тем не менее Венсен мог считаться привилегированной тюрьмой: на содержание одного узника король отводил шесть ливров в день. Для сравнения: оплата поденщика составляла один ливр в день.

А чего стоила мания «значков», или цифр, Донасьена Альфонса Франсуа! Яростно желая узнать дату своего освобождения, де Сад видел ее в любых комбинациях цифр, которые попадались ему на глаза, и страшно гневался, когда эти цифры, осмысленные по одному ему известной системе, говорили не то, что он ожидал от них. «26 марта комендант прислал взять у меня взаймы 6 ночных свечей; 6 апреля он прислал за 6 другими, из которых я одолжил только 4. В четверг 6 января, через девять месяцев после того, как у меня одолжили свечи, т. е. того же самого числа, мне вернули 25 свечей вместо 10, которые я одолжил, что, на мой взгляд, было хорошо, ибо означало, что в тюрьме мне осталось пробыть всего

лишь 9 месяцев, а в целом время моего заключения будет равно 25 месяцам». Одержимость нумерологией просыпалась у де Сада только в замкнутом пространстве — в тюремной камере или в больничной палате, на воле он забывал о ней. Источником возникновения этой цифромании могли стать труды, посвященные тайнам розенкрейцеров и тамплиеров, которыми де Сад активно интересовался, равно как и всеобщая увлеченность различного рода подсчетами — в XVIII веке закладывались основы современной статистики. Цифровые аналогии пробуждало чтение альманахов, где в изобилии были представлены разного рода числа и даты. Исполняя его просьбу, Рене-Пелажи присылала де Саду «Королевский альманах», «Театральный альманах» и «Военный альманах». Возможно, Донасьен Альфонс Франсуа придумал для себя некую игру, вроде той, в какую в XX веке играли с трамвайными билетами: если сумма первых трех цифр номера совпадет с суммой трех последних — будет счастье, а не совпадет — не будет. Если числа счастья не сулили, Донасьен Альфонс Франсуа метал громы и молнии на голову ничего не понимавшей Рене-Пелажи. «Что же касается значков, то я ничего о них не ведаю. Будь уверен, дорогой друг, что если бы я могла сказать тебе то, что ты хочешь услышать, я не стала бы употреблять значки, а сказала бы все четко и ясно», — заверяла мадам де Сад супруга.

Не только жена являлась для де Сада источником дурных значков, их еще производили отвратительные люди, получившие от де Сада именование «сигналистов» (*signaliste*). «Сигналист по сути своей неграмотен, крайне невежествен, необычайно мерзок, исключительно туп, отличается тяжелым характером, педантичен во всем, бесконечно глуп и скудоумен до крайности». Этот портрет врага вполне в духе Донасьена Альфонса Франсуа, всегда готового представить себе персонаж, для которого смысл жизни заключается в том, чтобы досаждать господину маркизу. «Разумеется, вам об этих «сигналистах» ничего не ведомо, — небрежно бросал он жене, — но так много есть вещей, которых вы не знаете».

Преувеличения, гиперболы, пристальный взгляд на любой попадавший в его руки исписанный листок бумаги, перечисления и списки... Пожалуй, письма маркиза де Сада вполне можно назвать своеобразными литературными упражнениями, подводившими его к написанию самого дорогого его сердцу романа «Сто двадцать дней Содома». В этом романе, как и в письмах, все на пределе, его герои постоянно возбуждают себя, чтобы получить запредельные удовольствия. Богатство четырех либертенов «баснословное», их жертвы «в наивысшей степени» наделены свежестью,

грацией, красотой, невинностью и душевной чистотой, кухня либертенов «самая изысканная». Возбуждение, царившее в садическом универсуме, заполнило пространство писем де Сада. Заперый в четырех стенах, лишенный в расцвете сил женского общества, автор невольно начинал отождествлять себя со своими героями, письмо становилось средством реализации его фантазмов, граница между вымыслом и действительностью размывалась, ибо и тот и другая оживали для него только в слове. Сто одиннадцатая пытка, придуманная Донасьеном Альфонсом Франсуа для мадам де Монтрей, словно сошла со страниц «Ста двадцати дней Содома»: «Сегодня утром, испытывая страдания, я увидел, как с нее заживо сдирают кожу, протаскивают через кусты чертополоха и бросают в бочку с уксусом».

А это примеры из «Ста двадцати дней»: «Он сдирает кожу с юноши, обмазывает его медом и оставляет на съедение мухам»; «...с дочери у него на глазах сдирают кожу, потом ее катают по раскаленным шипам и бросают в огонь». И так далее. Процесс деконструкции текстовой реальности, равно как и процесс конструирования совершались под пристальным взглядом автора-узника, привыкшего замечать малейшую трещину на стене своей камеры, надолго ставшей его единственным миром. Глаза вынужденно стали основным органом чувств де Сада, рука, сжимавшая перо, — основным орудием производства. Обоняние атрофировалось за ненужностью — дурной запах (пота, давно не мытого тела, лохани, заменявшей отхожее место) сопровождал его постоянно, и он, как и его герои, научился не замечать его.

Либертены из «Ста двадцати дней» с особым удовольствием предаются копрофагии; внимательно исследуя консистенцию и вкус их любимого блюда, автор обходит его запах стороной. Так же поступает он и когда речь заходит о «ветрах» или иных запахах от нечистот. «Пук в бокал с шампанским» — и никаких запахов. Зловоние, исходившее от либертенов и их пособников, являлось «причудой», не стоящей пристального внимания.

Благоухающие ароматы долетали до Донасьена Альфонса Франсуа лишь в письмах верной служанки Готон, весной извещавшей любимого хозяина о состоянии дел в Ла-Косте. Благодаря своему буйному воображению, де Сад лучше ощущал запахи весеннего сада на бумаге, чем аромат реальной душистой воды, присланной ему Рене-Пелажи.

Осенью 1781 года Готон скончалась от родильной горячки, и никто больше не писал господину маркизу о пробуждении природы, о подрезке кустарников и о цветущих яблонях...

Иногда кажется, что, перечисляя мучения, которым либертены

подвергали свои жертвы, де Сад видел перед собой своих врагов и мысленно ставил их на место жертв. А враги его, если судить по письмам, были многочисленны, мерзки и отвратительны. Это «они», «сигналисты», безликие «лилипуты», сбившиеся в кучу и всей кучей нападавшие, «подлые чудовища», «отвратительные звери, исторгнутые из ада», посадили его в тюрьму, «они» заставили его «проклинать их и ненавидеть», но главное, «они» позволяли себе все, а его заставляли подчиняться дурацкому порядку: «По какому праву подобные чудовища требуют добродетели от других? Когда, чтобы удовлетворить свои амбиции, гордыню, прожорливость, похоть, они безжалостно приносят в жертву миллионы королевских подданных, почему бы мне, если так угодно, не принести в жертву других таких же, как и они? Кто, спрашиваю я, кто дает им право делать все, что они пожелают, и наказывать меня, если я возьму на себя смелость всего лишь поступить так, как поступают они?»

Но если многочисленные «они» причислены де Садом к «лилипутам», то образ его главного врага, а именно тещи, заполнял собой все враждебное ему пространство и разрастался до поистине чудовищных размеров. «Не думаю, чтобы в мире было возможно найти создание более омерзительное, нежели ваша недостойная мать. Никогда еще ад не изрыгал подобного создания», — читала в адресованных ей письмах Рене-Пелажи. «Адское чудовище», «ядовитая гадина», «чертова мамаша» — так именовал Донасьен Альфонс Франсуа Председательшу, превратившуюся в средоточие мирового зла, ополчившегося на него. Председательша оказалась единственным человеком, кто мог противостоять де Саду. В обществе, где маркиз добровольно занял позицию маргинала, до него никому не было дела. Колесо правосудия вращалось по давно заведенному порядку. Добросердечная и влюбленная Рене-Пелажи могла лишь «заметать сор в избу», аббата де Сада племянник ни в грош не ставил, а командор никогда не поддерживал с Донасьеном Альфонсом Франсуа тесных отношений. Тетушки-монахини? Они были слишком далеки от мирской суеты, а де Сад в редких к ним письмах, разумеется, не сообщал им правды. Или сообщал, но по-своему.

Если с наиболее одиозными их «них», а именно с судьями из Экса и Марселя, де Сад расквитался в рассказе «Обманутый председатель», выведя в нем образ мерзкого и сластолюбивого взяточника-судьи, то проклятия «адскому чудовищу» мадам де Монтрей проходят красной нитью через все письма маркиза, написанные им в первые тринадцать лет заключения, причем слово «красный» иногда следует понимать буквально: в январе 1778 года он направил Председательше письмо, написанное

кровью, — ведь кровь не может лгать! В этом послании он умолял тещу сообщить, как долго продлится его заключение: «Сударыня, заклинаю вас всем, что вам дорого, избавьте меня от ужаса, в коем я пребываю! <...> дозвольте слезам моим, кровавым этим буквам, коими начертано сие письмо, смягчить ваше сердце. <...> Я останусь навеки вашим должником, и благодарность моя не будет иметь границ». Но в это время мадам де Монтрей уже не была расположена верить де Саду — слишком часто он обманывал ее ожидания и никогда не благодарил за помощь, которую ему оказывали. Она поняла: любые ее усилия, направленные на смягчение участи зятя, могли бы осчастливить любого, но только не Донасьена Альфонса Франсуа. Этот человек мог быть счастлив только в соответствии со своим «образом мыслей», а как его «образ мыслей» соотносился с окружающими, его нисколько не волновало.

Для де Сада мадам де Монтрей была особенно ненавистна тем, что в борьбе с ним использовала наиболее отвратительное для него оружие, а именно добродетель, возведенную в принцип. И сколько бы ни обвинял он тещу в присвоении его денег, в воспитании ненависти к нему у его детей и в прочих смертных грехах, он был не прав, чувствовал это, а потому злился еще больше. Получив «письмо с печатью», чтобы изолировать Донасьена Альфонса Франсуа от общества, Председательша была уверена, что делает это во имя семьи и внуков, для которых старалась сохранить семейное достояние.

А маркиз ради собственной свободы не желал даже сделать вид, что готов пойти на уступки. Эти гнусные «они» во главе с Председательшей хотели заставить его поступиться «образом мыслей»! «Если, как вы мне говорите, они готовы вернуть мне свободу при условии, что я буду готов заплатить за нее, расставшись со своими принципами или вкусами, мы можем распрощаться друг с другом навсегда, потому что я бы скорее пожертвовал тысячью жизней и тысячью свобод, если бы они у меня были, чем расстался с ними», — писал де Сад Рене-Пелажи. Под «принципами и вкусами» в данном случае подразумевался вполне реальный, не метафизический либертинаж, на практике сводившийся к изощренному эротизму и принуждению представительниц древнейшей профессии к противоестественным поступкам. Сословная мораль позволяла и поколотить такую женщину, и причинить ей увечье, но далеко не все возводили эти неписанные правила в принцип, тем более что среди качеств, присущих истинному дворянину, в то время уже числилось «уважение к правосудию».

Приказ о заточении без суда и следствия, на основании которого де

Сад очутился в Венсене, к правосудию отношение имел отдаленное, и де Сад это прекрасно понимал: «“Письмо с печатью” противоречит конституции государства и является признанным нарушением как закона, так и человеческой природы».

Если судьи определили поступки де Сада как «разнузданный либертинаж», сам он называл их «несчастной ошибкой» или «опрометчивым поступком» и не мог согласиться с лишением свободы из-за «непочтительного отношения к шлюхам». «Дворянина, который достойно служил своей стране и который, осмелюсь сказать, обладает достаточным числом достоинств, предлагают в качестве жертвы — и кому? — шлюхам!» — гневно восклицал он. А он имел несчастье поверить, что нет ничего менее уважаемого, чем шлюха, и «то, как ее используют, не должно иметь большего значения, чем то, как он отправляет естественные надобности». В письме к своему лакею и сотоварищу по либертенским похождениям Картерону^[9], который после ареста маркиза обосновался в Париже и продолжал выполнять поручения своего господина, де Сад с возмущением писал: «Во Франции тот, кто выказывает неуважение к шлюхам, не остается безнаказанным. Можно дурно отзываться о правительстве, короле, религии: все это не имеет значения. Но шлюха, господин Кирос! Будьте осторожны и никогда не обижайте шлюху». «Если бы я перевоплотился в теле какого-нибудь муниципального или государственного чиновника, я бы обнародовал закон, по которому мужчины могли бы делать со шлюхами все, что им заблагорассудится», — написал Донасьен Альфонс Франсуа, старательно подчеркнув главную мысль.

В так называемом «большом письме», адресованном мадам де Сад, маркиз подробно анализировал случаи либертинажа, которые привели его в камеру Венсенского замка, полагая, что по причине постоянной цензуры его писем доводы в его оправдание станут известны «кому надо» и, возможно, даже сумеют склонить «кого надо» на его сторону. Письмо напоминает монопьесу, монолог для одного актера с авторскими ремарками. А так как сочинительство было основным занятием де Сада в заключении, письма не могли не стать частью его литературного творчества.

Итак:

«Мои приключения можно свести к трем эпизодам.

Первый из них я пропущу: он полностью лежит на совести Председательши де Монтрей, и если кого-то и следовало за него наказывать, то именно ее.

Вторым приключением был Марсельский инцидент: я полагаю, что обсуждать его также не имеет смысла».

Дополним рассуждения: в заявленных четырех эпизодах «Ста двадцати дней Содома» также развернут только один эпизод.

«Перейдем к третьему эпизоду. Имея небольшой недостаток (необходимо признать), который состоит в том, что я, возможно, больше, чем следовало бы, люблю женщин, я обратился к известной лионской сводне и сказал ей: я хочу взять к себе в дом трех-четырёх служанок, мне нужно, чтобы они были молодыми и хорошенькими; найдите мне таких. Сводню звали Нанон, и эта Нанон была сводней известной, что я докажу, когда наступит срок. Она обещает мне найти таких девушек и находит их. Я отвожу их домой; я их использую. Полгода спустя приезжают родители и просят вернуть девиц, уверяя меня, что это их дочери, Я передаю их родителям; и вдруг мне предъявляют обвинение в похищении и изнасиловании! Но это вопиющая несправедливость!»

Доказывая правоту своего героя, автор постоянно переплавляет вымысел и реальность, изложение фактов чередуется с эмоциональными всплесками. Внезапно монолог прерывается авторской ремаркой, иначе говоря, констатацией в третьем лице:

«Каков же итог всего этого? А итог заключается в том, что господин де Сад, которого они, вне сомнения, обвиняют во всевозможных ужасах, раз уж так долго держат его в тюрьме, и который имеет самые веские основания бояться пребывания в тюрьме как по тем причинам, которые он скоро раскроет, так и потому, что он, уже в двух случаях испытал на себе, на что способна злобная молва, чтобы ему навредить, нисколько не виновен в опытах, экспериментах или убийствах: ни в самой последней истории, ни во всех остальных. Господин де Сад делал то, что делают все на свете, и имел отношения с теми женщинами, которые или уже были распутными, или были предоставлены ему сводней, а следовательно, обвинение в совращении просто неприемлемо, но господина де Сада наказывают и заставляют страдать, словно он повинен в самых гнусных преступлениях».

Первое лицо субъективно, оно живописует и убеждает (актер обязан убеждать публику в правоте своего героя); третье лицо объективно, оно констатирует (в данном случае истину, изначально известную автору), И господин де Сад готов дать соответствующие разъяснения... Впоследствии, когда Донасьену Альфонсу Франсуа вновь придется оправдываться, он еще не раз станет писать о себе в третьем лице, стремясь придать своему письму большую объективность и подчеркнуть свой социальный статус.

«Не судите о нем по его письмам, но судите по делам его. Немного

кротости и терпения с вашей стороны принесут узнику умиротворение и поведение его изменится в лучшую сторону», — взывала к тюремному начальству Рене-Пелажи, когда де Сада в очередной раз лишали прогулок, права переписки или свиданий за новый скандал, непристойный пассаж в письме или попытку поколотить тюремщика. В 1779 году, то есть через два года после ареста мужа, она даже сумела организовать петицию от имени кюре и нотаблей Ла-Коста, в которой говорилось, что по отношению к своим вассалам де Сад вел себя «скорее как отец, нежели как сеньор», что «бедные находили у него защиту», страждущие поддержку, и каждый день его «был отмечен благодеяниями». Но петиция никого не убедила, и маркиза по-прежнему судили по поступкам, которые нельзя было назвать кроткими.

По иронии судьбы де Сад, став узником номер шесть, оказался соседом Оноре Габриеля Рикетти, графа де Мирабо, своего будущего соседа по кварталу Шоссе д'Антен, будущего пламенного оратора революции. Однажды Мирабо попался де Саду под горячую руку: маркиз как раз произносил обвинительную речь против тюремщиков, а Мирабо осмелился поднять скандал из-за какого-то пустяка. Де Сад обозвал Мирабо грязными словами, назвал «подстилкой коменданта» и, угрожая отрезать наглецу уши, потребовал назвать свое имя. Обернувшись, Мирабо хладнокровно ответил: «Мое имя — имя честного человека, который никогда не резал и не отравлял женщин. В урочный час я напишу это имя своей тростью у вас на спине, если, конечно, вас раньше не колесуют. Но будьте уверены, увидев вас на Гревской площади, я не стану проливать слезы».

Де Сад возненавидел товарища по несчастью, скорее всего, потому, что они были очень похожи: Мирабо также не сдерживал своих сексуальных фантазий, был уличен в инцесте, за похищение чужой жены и разврат был приговорен к смертной казни и казнен заочно. Но в отличие от Донасьена Альфонса Франсуа Мирабо прекрасно умел приспособливать свой образ мыслей для получения выгод и послаблений. Все узники Венсена яростно ненавидели коменданта де Ружмона, личность, несомненно, одиозную и неприятную. Мирабо писал о нем: «Этот человек — надутый пузырь невежества. Он до того глуп и самонадеян, что считает себя полезным и необходимым для государства и вдобавок хочет заставить всех считать его таковым. Ради удовлетворения своего гнусного тщеславия он заставляет всех подчиняться своим фантазиям и капризам». Столь же нелестно отзывался о Ружмоне и де Сад, он даже сочинил коменданту эпитафию, в которой называл его подлецом, рогоносом и гнусным бездушным

негодяем. Только де Сад написал свой стих на стене крепости, где комендант мог с ним ознакомиться, а Мирабо высказывался о Ружмоне уже за пределами тюрьмы. А сидя в камере, он сумел найти общий язык не только с комендантом, но и с начальником полиции Ленуаром, в письмах к которому усиленно сокрушался, с каким монстром-родственничком ему приходится отбывать заключение.

Де Сад и Мирабо действительно состояли в родстве, только очень дальнем. Брачные союзы между двумя семьями заключались дважды — в 1551 и 1620 годах. Однако родство характеров и судеб обоих либертенов сомнению не подлежит. Оба уроженцы Прованса, оба со всей страстью предавались неумному разврату, и оба были наказаны за свои похождения тюремным заключением, оба совершали побеги, оба заключили браки из-за денег, и оба были наделены буйным темпераментом, яростными страстями и блистательным даром слова, оба были авторами эротических сочинений и трогательных писем, написанных в тюремной камере. И оба, порвав со своим сословием, со всей страстью устремились в водоворот революционных событий.

Для полноты картины к двум прославленным именам дворян-маргиналов хочется добавить еще одно, менее известное имя их земляка-провансальца Пьера Антуана д'Антонеля, первого мэра города Арля. Одиночка по характеру и склонный к мазохизму, Антонель задолго до революции сошел с пути, определенного дворянину. Подобно де Саду, он покинул армию, а затем занялся философией. После падения Бастилии Антонель с мрачным энтузиазмом окунулся в революционную борьбу. При создании Революционного трибунала его первым внесли в список присяжных, и он на протяжении четырех месяцев ревностно исполнял эту должность. За это время семьдесят один процент всех дел, заслушанных Трибуналом, завершился смертными приговорами. В отличие от де Сада, выступавшего против смертной казни, Антонель считал, что если народ требует голову, то ее надо отдать ему не задумываясь. Такое безоглядное стремление рубить головы показалось чрезмерным даже Робеспьеру, и кровожадный Антонель оказался в тюрьме, откуда вышел на свободу 10 термидора.

Прекрасный оратор и ловкий политик, с началом революции Мирабо быстро взлетел на политический олимп. Де Сад, чей дар слова проявлялся прежде всего на письме, и во время революции оставался индивидуалистом-маргиналом, которого любой режим стремится изолировать от общества. Мирабо в пылу политической борьбы и думать забыл о «родственничке», де Сад же неизменно презирал в своем «кузене»

и политика, и писателя: «Похоть — дитя роскоши, изобилия и превосходства, и рассуждать о ней могут лишь люди, имеющие для этого определенные условия, те, к кому Природа благоволила с самого рождения, кто обладал богатством, позволявшим им испытать те самые ощущения, которые они описывают в своих непристойных произведениях. Как красноречиво свидетельствуют некоторые беспомощные попытки, сопровождаемые слабостью выражения, такой опыт абсолютно недоступен мелким личностям, наводнившим страну своими писульками, и я не колеблясь включил бы в их число Мирабо, ибо он, натужно пытаясь сделаться значительным хоть в чем-то, притворялся распутником и в конце концов так ничем и не стал за всю свою жизнь», — написал Донасьен Альфонс Франсуа в 1797 году в «Истории Жюльетты», опубликованной, когда Мирабо уже шесть лет как лежал в могиле. И тут же добавил: «Ничем, даже законодателем. Убедительнейшим доказательством непонимания и глупости, с какими во Франции судили о 1789 годе, является смешной энтузиазм, отличавший этого ничтожного шпиона-монархиста. А кем нынче считают этого недостойного и в высшей степени неумного субъекта?

Его считают подлецом, предателем и мошенником». Как можно убедиться, де Сад не забывал ничего, и в своих сочинениях всегда был готов использовать запомнившиеся образы, сюжеты или события. От этого написанное де Садом иногда напоминает детский калейдоскоп: автор в соответствии со своим замыслом меняет местами сверкающие стеклышки, количество которых остается неизменным.

Самым изменчивым и непредсказуемым за тринадцать лет заключения маркиза являлось его отношение к жене. «Властный, гневный, вспыльчивый, легко впадающий в крайность, обладающий разнузданным воображением во всем, что касается нравов, однако в жизни не совершивший ничего, что совершал в воображении, — таков я; поэтому повторяю: убейте меня или принимайте меня таким, каков я есть, ибо меняться я не собираюсь» — так характеризовал себя Донасьен Альфонс Франсуа в одном из писем к мадам де Сад. Рене-Пелажи кротко переносила непостоянное постоянство мужа, его приступы гнева и по первому требованию бросалась выполнять его поручения. А де Сад, словно испытывая кротость и терпение своего единственного «связного» с волей, то называл Рене-Пелажи ласковыми словами и признавался ей в любви: «мой ангел», «моя голубка», «моя лапочка», «светоч моей жизни», «милая моя подруга, я буду любить тебя, несмотря ни на что, ты навсегда останешься для меня самой лучшей и самой дорогой подругой, коя когда-

либо существовала у меня в этом мире», то осыпал ее бранью и проклинал навеки: «Вы настоящая дура <...>. Если бы только можно было и вас, и вашу омерзительную семейку запихнуть в один мешок и бросить в воду, то миг, когда бы я узнал об этом, стал бы самым счастливым из всех, кои мне довелось пережить за всю мою жизнь»...

Положительно, гневные строки удавались де Саду лучше, именно они создают впечатление, что господин маркиз чаще ругал и проклинал супругу, нежели говорил ей комплименты. Например, в одном из писем он предъявил ей целых семь пунктов обвинений, включавших в себя и ответственность за свой арест в Париже, и участие в «извращенных заговорах и подлостях своей матери», и вовлечение в «эти подлости» «невинных детей». Все семь пунктов заведомо были ложны, но это разъяренного супруга несколько не волновало: он «выпустил пар». А когда пар выпущен, можно и съязвить: «Настала пора и вам сделать признание, такое же полное, как и это. Присовокупите к нему свое покаяние, затем пообещайте больше не грешить, и вы попадете прямо в рай».

Любящая и кроткая Рене-Пелажи уверяла мужа, что он может «рассчитывать на нее, как на свое второе “я”». Но такое заявление почему-то особенно возмутило супруга. Однако на ярость ему отвечали по-прежнему кротко и нежно: «Я несколько не желаю ни разъярить тебя, ни свести с ума; напротив, я хотела бы успокоить тебя, утешить и убедить, что ты глубоко заблуждаешься, сомневаясь во мне и предаваясь поэтому черным мыслям и тревогам; я собственной кровью готова заплатить за твою свободу, за сокращение сроков твоего заключения. Каждая фраза, где ты высказываешь сомнение в моем сердце, разит меня, словно удар кинжала». Мадам де Сад прощала мужу любые оскорбления; она искренне страдала, когда ее в очередной раз упрекали в том, что присланный ею ликер оказался нехорош, а бисквит — невкусен. После таких заявлений она мчалась на поиски то больших и остро заточенных перьев «Грифон», то очередной книжной новинки, то приспособлений, необходимых для удовлетворения эротических фантазий мужа, то свежей земляники.

К еде де Сад относился с повышенным вниманием. Еда — улада и узника, и либертена, для которого трапеза служила как для восстановления сил, так и для возбуждения эротической энергии, поэтому в романах де Сада блюда нередко ставили непосредственно на обнаженные тела жертв. В «аморальном» романе «Сто двадцать дней Содома» девушки и жены прислуживали господам за столом обнаженными. Возможно, поедая в огромном количестве сладости, а особенно любимый шоколад, присланный Рене-Пелажи, де Сад видел перед собой именно такие картины... Хотя

временами в вопросах питания де Сад становился истинным педантом. «Припоминаю, — писал он жене, — что пятнадцатого июня прошлого года вы послали мне великолепный пирог с угрем, который, несмотря на теплую погоду, весьма удался. Поскольку и жареное, и вареное мясо мне разрешают употреблять в пищу лишь в небольшом количестве, я думаю, что можно добавить в мою диету некоторое количество рыбы. Но следует проявлять исключительную осторожность в отношении одной вещи, которая может ускорить ее порчу, а именно: нужно проследить за тем, чтобы не добавлялось никаких специй, ибо, если будет хоть малейшая их толика, я просто откажусь это есть. Рыба не сохранится, я это знаю; и в этом случае единственно мудрое решение — сделать очень маленький пирог, и я использую его наилучшим образом».

С не меньшим педантизмом относился де Сад и к своему здоровью. При малейшем недомогании он поднимал скандал, возмущался, что врач идет к нему слишком медленно, что порошки, прописанные ему, не помогают, что настойки слишком дороги, а в одном из писем и вовсе заявил, что его хотят отравить. В тюрьме у него обострился геморрой и резко ухудшилось зрение, так что пользовавшие его врачи, братья Гранжан, лучшие по тем временам окулисты, один из которых лечил самого короля, не исключали возможность операции. Услышав про операцию, де Сад тотчас стал требовать сиделку-женщину, убеждая всех, что, если после операции за ним будет ухаживать мужчина, он «умрет уже через три дня». Слабое здоровье, немощи и хвори считались непременной принадлежностью образа одинокого философа. Больной негласно получал право говорить только о себе и о своих болезнях, в то время как другие обязаны были внимательно его слушать. А так как маркиз в основном говорил только о себе, то, чувствуя себя больным, он и вовсе забывал обо всех вокруг и исписывал листы жалобами, проклятиями и приказами.

Уверенности в превосходстве больного над здоровым, в праве больного требовать от других всего, в том числе и невозможного, де Сад не терял никогда. Во всяком случае, именно так выглядела история с «фальшивой справкой», устроенной в 1795 году де Саду доктором Гастальди с целью ускорить поступление денег в кошелек маркиза. В этой бумаге доктор заявлял, что гражданин де Сад страдает от неизвестной и тяжелой болезни, предполагающей дорогостоящее лечение, а посему те, кто управляет имуществом означенного гражданина, обязаны без промедления выслать ему его доходы, ибо гражданину категорически нельзя волноваться, иначе здоровью его может быть нанесен непоправимый ущерб. «Справка» была отослана управляющему, но денег тот все же не

выслал, так как в то время доходов с недвижимости де Сада с трудом хватало на выплату налогов и погашение неотложных платежей. Де Сад от «неизвестной болезни» также не пострадал.

*

Когда господин маркиз не знал, чем себя занять, он, по словам Рене-Пелажи, принимался забивать себе голову всяким вымыслом и, в частности, осыпать придирками супругу.

Она пришла к нему в белом платье и красиво причесанная? А для кого она, скажите на милость, вырядилась? Для меня, говорите? Не верю! Для вас, мадам де Сад, примером в одежде должна служить шестидесятилетняя женщина. Ах, вам еще далеко до шестидесяти? Но вы разве забыли, что мои несчастья сделали нас ближе к тем, кто старше нас, они, и только они должны служить нам образцом нашего поведения и манеры одеваться!

Как она посмела прийти к нему потная и растрепанная? Что? Так она шла пешком, как какая-нибудь лавочница или уличная проститутка! Ах, она хотела прогуляться? Извольте отправляться на прогулку в парк! А ко мне я запрещаю вам ходить пешком! Если вы еще раз явитесь ко мне в таком виде, клянусь, что никогда больше не покину свою комнату для свидания с вами, пока буду жив!

Моя слабость не позволяет мне ухаживать за собой, а потому поторопитесь прислать мне слугу. Вы говорите, это не от вас зависит? Так вот, сударыня, постарайтесь уяснить, что когда я имел честь жениться на вас, то сделал это вовсе не для того, чтобы ухудшить свое материальное положение, а, напротив, чтобы его улучшить.

Вы берете уроки игры на гитаре? Не лгите мне, я знаю, чему этот негодяй учитель вас учит!

Вы хотите перебраться жить к мадам де Виллет? Говорите, так вам обойдется дешевле? Не смейте экономить на моем имени! Вам разве не известно, какая репутация у ее мужа? Или, может, вам надоело спать в одиночестве?

Как, Лефевр, тот самый проходимец, что служил у моего дядюшки-аббата? Говорите, наняли его в услужение? Не верю! Не смейте лгать мне, сударыня, вы взяли его в дом совсем не для этого!

Либертен де Сад, готовый увлечься даже женским отражением в зеркале, относился к адюльтеру резко отрицательно, особенно когда речь заходила о его жене, но сам изменял супруге буквально у нее на глазах.

Хотя вряд ли он считал изменой свои отношения со жрицами продажной любви. Считал ли он изменой связь с Анн-Проспер? Если судить по той пылкости, с которой проповедовали свободу эротических фантазий садические герои-либертены, круговерть женщин вокруг своей персоны де Сад полагал вполне естественной. «Супружеская измена жены является причиной множества ужасных неприятностей, она имеет столь плачевные и столь необратимые последствия, что я никогда не мирился с этим, — писал он Милли Руссе. — Поищите в моих принципах, покопайтесь в истории моих бесчинств, и вы увидите, что я крайне редко вступал в отношения с женщинами замужними». Трудно сказать, на какие неприятности, проистекавшие от супружеской неверности, намекал де Сад. Во всяком случае, его либертены исповедовали свободу смены партнеров не только для мужчин, но и для женщин. К примеру, либертенка мадам де Сент-Анж из «Философии в будуаре», яростно защищая адюльтер, убедительно описывала его преимущества: «Адюльтер, который люди рассматривают как преступление и наказывают, лишая нас жизни, является лишь распиской права на природу. Если муж ничего не знает, он не сможет быть несчастлив. Если адюльтер не имеет никаких последствий и неизвестен мужу, ни один юрисконсульт не сможет доказать, что здесь преступление. Адюльтер с этой минуты — лишь действие, абсолютно безразличное мужу, который о нем не знает, и абсолютно прекрасное для жены, которая им наслаждается. Если муж обнаруживает адюльтер, то не адюльтер становится злом — зло заключено только в открытии, сделанном мужем, следовательно, вся вина падает на него». Наверное, как это часто бывает, в данном случае маркиз признавал проповедуемые им истины применительно к другим, но не к себе. Иначе с чего бы ему так яростно и без всякого на то основания ревновать Рене-Пелажи? Чтобы как-то успокоить мужа, мадам де Сад, уставшая от его вспышек ревности и откровенной грубости, сменила место жительства: она поселилась в монастыре Сент-Ор, куда без специального дозволения не могла пролететь даже муха.

Но супруг всегда мог найти повод для недовольства. Одним из таких поводов являлись дети, точнее, их местонахождение и воспитание: дети жили и воспитывались у бабушки де Монтрей, а значит, из них должны были получиться новые Монтреи. Де Сад никогда не задумывался о том, что поиски «наисвежайших» продуктов, книг и прочих вещей, которые он заказывал и требовал немедленно, не оставляли Рене-Пелажи времени на детей. Да и денег у нее для обустройства дома, где можно было бы дать детям достойное воспитание и образование, тоже не было — доходы шли

кредиторам, у которых маркиз до своего заключения успел сделать займов на многие тысячи ливров. Судебные процессы также обошлись недешево, равно как содержание господина де Сада и поддержание хотя бы в относительном порядке его владений в Ла-Косте, Сомане и Мазане, где все неуклонно ветшало и приходило в упадок. Когда незадолго до своей кончины мадемуазель де Руссе прибыла в Ла-Кост, она с трудом отыскала комнату, где с потолка не лилась бы вода и можно было хоть как-то прикрыть разбитое окно. Долги покойного графа де Сада, плавно перешедшие к Донасьену Альфонсу Франсуа, еще не были погашены полностью. Но в сфере интересов де Сада подобные размышления не входили, хотя в глубине души он, безусловно, сознавал, что если бы Монтреи не взяли на себя заботу о детях, жена не смогла бы каждую минуту своего существования посвящать любимому супругу. «Я вверяю их вашей заботе, мадам, — писал он в одном из писем к теще, — и пусть вы не любите их отца, главное, любите их самих».

Сам де Сад крайне неровно относился к детям — как ко всем сразу, так и к каждому в отдельности. Сегодня он называл их «отвратительными сопляками», а на следующий день радовался их успехам: «Я чрезвычайно доволен теми огромными успехами, которые делают юные господа, ваши сыновья; талант — это большая удача, и он наверняка сослужит им обоим полезную службу!» Особый интерес вызывал у маркиза старший сын, Луи Мари, более всего похожий на него и внешне, и по складу характера. Младший сын, Клод Арман, был, по презрительному замечанию маркиза, «вылитый Монтрей», а с дочерью он толком не успел познакомиться, ибо очутился в Венсене, когда ей было всего шесть лет, из которых она большую часть времени провела в доме бабушки. «Я не знаю, люблю ли я ее, — писал де Сад. — Вы говорите, моя дочь некрасива? Что ж, такое уж у нее везение! Пусть у нее будет ум и добродетель, это будет для нее лучше, чем если бы у нее было хорошенькое личико!» Эти слова — еще одно подтверждение того, что не со всем из исповедуемой им философии де Сад готов был соглашаться, когда речь заходила о его собственной семье. По словам маркиза, Мари-Лор была не слишком умна, некрасива и всю жизнь прожила подле матери. Однако пока дочь вместе с Рене-Пелажи жила в монастыре Сент-Ор, освобожденный революцией де Сад довольно часто приходил к дочери и гулял с ней по монастырскому саду, а потом сокрушался, что Мари-Лор напоминает ему глупую престарелую фермершу. Но если бы никаких теплых чувств она у него не вызывала, вряд ли он стал бы навещать ее в уединенной обители.

Пока дети были маленькие, они не знали, где находился отец: мать

убедила их, что он отправился в дальнейшее путешествие, а чтобы они не забыли его облик, постоянно показывала им его портрет. Интересно, когда в 1790 году Луи Мари и Клод Арман приехали в Шарантон сообщить отцу известие об отмене «писем с печатью» и вынесенных на их основании приговоров, узнали ли они в нем человека с портрета? Ведь в тюрьме де Сад сильно изменился, растолстел и полысел.

Отметим: до наших дней сохранился единственный портрет де Сада — набросок углем, выполненный Ван Лоо, когда Донасьену Альфонсу Франсуа было семнадцать лет.

На протяжении всего заключения де Сада преследовала мысль, что его держат в неволе из-за детей, и как только мысль эта его посещала, он тут же выплескивал на бумагу ненависть к собственным отпрыскам: «...Они будут обижены в будущем из-за ненависти, которую я, естественно, чувствую к ним из-за своего полнейшего убеждения, что меня приносят в жертву посредством ложных маневров». И тут же доверительно сообщал, что месть его будет ужасна: «У меня есть один верный способ лишить своих детей их права по рождению, и я воспользуюсь им, могу вас заверить. Я не оставлю им ничего, кроме дыхания жизни, которое они получили от своей матери, и единственная причина, по которой я его им оставляю, — чтобы они провели жизнь, проклиная отвратительное существо, которое не позволяло им иметь отца». В сущности, его отношение к детям было таким же, как к Рене-Пелажи: сегодня жена «дорогая и божественная подруга», «давний друг души», «все, что у него осталось на земле», а завтра — «перестаньте болтать, это меня утомляет», «возможно ли быть более бесстыдной, коварной и лживой?» и т. д. и т. п. Недовольство «болтовней» жены у де Сада, похоже, возникало всякий раз, когда она сообщала ему не те новости, которые он надеялся найти в ее письме, и со временем Рене-Пелажи, получив очередную гневную отповедь, нередко переставала затрагивать вызвавшую великое возмущение тему. Когда ответом на сообщение о вступлении Луи Мари в пехотный полк был яростный всплеск гнева, Рене-Пелажи перестала обсуждать этот вопрос, хотя де Сад с присущей ему велеречивостью убеждал ее: «Ничто не заставит меня смириться с тем, что сын мой будет служить младшим лейтенантом в пехотном полку, и он там служить не будет. Если вы позволите ему это сделать против моей воли, даю вам слово чести, что заставлю его покинуть этот полк и употреблю для этого все имеющиеся у меня средства. <...> Уверен: он должен служить только в полку карабинеров. Едва он встал на ножки, как я уже принял это решение, и не собираюсь его менять. Если для этого нужно 20, 40 000 франков, я готов их

дать. Ради этой цели я готов продать все, занять, пообещать, а если потребуется, то и обойтись без самого необходимого». А вот что писал де Сад сыну: «Сударь, я только что узнал, что родственники вашей матери прочат вас в один из недавно сформированных пехотных полков в чине младшего лейтенанта. Запрещаю вам, сударь, соглашаться на это предложение; вы не созданы быть младшим лейтенантом в пехоте, я этого не переживу. Вы или не будете служить вовсе, или же будете служить под командованием г-на де Шабрийана, вашего родственника, в корпусе карабинеров». А послушника де Сад знать более не желает! Впрочем, иные мысли и заботы быстро вытеснили эмоции, бурлившие по поводу поступления сына в пехотный полк; Луи Мари тем временем успешно служил в этом полку.

В пылу борьбы с «мерзкой» мадам де Монтрей, между перепалками с тюремщиками, упреками и дифирамбами жене де Сад отсылал на волю пространные заказы. Например, в сентябрьском письме 1784 года де Сад требовал от Рене-Пелажи незамедлительно прислать ему: «Корзину с фруктами, содержащую: персики — 12, нектарины — 12, груши — 12, гроздья винограда — 12, половина которых должна быть зрелыми и готовыми для употребления в пищу, а вторая половина — менее зрелых, чтобы они могли пролежать еще три-четыре дня. <...> Две банки варенья. <...> Дюжину па-ле-рояльских бисквитов, шесть из которых с суфле из цветков апельсина, и два фунта сахара. <...> Три связки ночных свечей».

Не забывал узник и о главном — о своем оправдании. Письма его можно рассматривать как своеобразную защитительную речь, которую он произносил много лет подряд. В этой нескончаемой речи он, коснувшись общей проблемы преступления и наказания, излагал свое собственное видение ответственности за совершенное деяние. По его мнению, публичный человек должен был нести более суровое наказание за свои поступки, нежели частное лицо: «Мнения или пороки частных лиц не наносят вреда государству. Верит ли частное лицо в Бога или нет, обожает ли оно или почитает потаскуху или общается с ней посредством пинков и проклятий, ни та, ни иная форма поведения не поддержит, но и не сотрясет основы государства. Но если судья, обязанность которого следить за снабжением данного города продовольствием, удваивает цены, потому что поставщики платят ему за хлопоты, если казначей, которому доверены общественные средства, оставляет наемных работников без оплаты, потому что предпочитает отложить эти деньги для себя <...> то от одного конца страны до другого будут ощутимы последствия этих злоупотреблений общественным положением. Все пойдет прахом. Так пусть король сначала

исправит то, что явно дурно в правительстве, пусть он разберется с его злоупотреблениями, пусть отправит на виселицу тех министров, которые обманывают его или грабят, прежде чем приступить к подавлению мнений или вкусов своих подданных! Еще раз: не эти вкусы и мнения подорвут его трон, а недостойное поведение тех, кто находится возле трона; рано или поздно они его опрокинут». Строки эти написаны в 1783 году, так что их вполне можно считать пророческими: неумение Людовика XVI управлять государством сыграло не последнюю роль в народных волнениях, переросших в революцию.

Рассуждая о преступлениях, де Сад виртуозно ставил все с ног на голову, недаром он учился у отцов-иезуитов и был не последним учеником в классе риторики. Какие бы примеры он ни приводил, мысль его всегда была одна: так называемые преступления против нравственности в сущности преступлениями не являются. «Разные преступления наносят разный вред обществу», — писал он и немедленно задавался вопросом: а что, собственно, следует считать преступлением? Законы карают тысячи проступков, не имеющих практичен ки никаких последствий для общества, но разве это справедливо? Например, мужчина изнасиловал девушку. Разумеется, это плохо, но подумайте, каковы последствия этого поступка? Рано или поздно девушка все равно стала бы женщиной, и человек этот всего лишь ускорил неперменное событие. Так чем же он нанес ущерб обществу? А вот другой пример. Скупец, не совершивший ни единого преступления, указанного в законе, наблюдал, как рядом с ним гибнет в нищете многочисленное семейство, члены коего, не желая более терпеть страданий, уготованных им судьбой, и не желая ступить на стезю порока, куда судьба их подталкивала, сошли в могилу. Кто виноват в их смерти? По мнению де Сада, виновником гибели несчастных будет скупец, не оказавший им вовремя помощь. Вдохновленный трактатом Беккариа, де Сад требовал от правосудия равного права на справедливость и четкого определения границ наказания. По его словам, за время его заключения никто не соблаговолил явить ему законы короля, предусматривавшие наказание подданного только после рассмотрения его дела. Хуже того, когда дело его было рассмотрено, его вновь заточили в узилище, не предъявив никаких новых обвинений. Но к этому времени он был уже достаточно наказан! Ведь «любое наказание, которое не приводит к исправлению, может только отвратить того, кому оно предназначено», а значит, такое наказание является неоправданной подлостью, «которая делает тех, кто его налагает, еще более виновными в глазах человечества, здравого смысла и рассудка». Поэтому, справедливо полагал Донасьен

Альфонс Франсуа, он давно уже отбыл свое наказание, и теперь его держат взаперти только по злой воле мадам де Монтрей и его врагов, именуемых им коротко: «они».

Любимый юрист де Сада, итальянец Чезаре Беккариа (1738—1794), автор пользовавшегося огромным успехом трактата «О преступлениях и наказаниях», выступал за смягчение уголовного законодательства. «Следует применять такие наказания и такие способы их использования, которые, будучи адекватны совершенному преступлению, производили бы наиболее сильное и наиболее длительное впечатление на души людей и не причиняли бы преступнику значительных физических страданий», — писал Беккариа.

Мысли о законности, равно как и о неприятии адюльтера, посещали Донасьена Альфонса Франсуа, когда речь заходила о нем самом. Философия зла, которую исповедовали его герои-либертены, не признавала никаких законов, кроме законов природы, губительных и равнодушных. «Каждое из совершенных мною преступлений служит природе. Чем больше она мне их нашептывает, тем, значит, более они ей нужны, и я был бы глупцом, если бы сопротивлялся ей. Таким образом, против меня только законы, но я их не боюсь: мое золото и мой кредит ставят меня над этими вульгарными запорами, в которые стучатся плебеи». Вкладывая эти слова в уста герцога де Бланжи, одного из четырех либертенов из «Ста двадцати дней Содома», де Сад попирает ненавистные ему законы и в глубине души досадовал, что сам он такого золотого ключа не имеет. Он мстил тем, кто лишил его свободы, изливая на бумагу самые мрачные, жестокие и тошнотворные фантасмагории.

Проблемы, волновавшие маркиза в заключении, носили в основном личный характер. Размышляя о несправедливости законов, он приводил доводы в пользу своей собственной невиновности, постепенно убеждая себя в том, что он был лишен свободы не только волею мстительной тещи: «они» покарали его за убеждения. Однако убеждения «узника мадам де Монтрей» сводились к тому, что нельзя сажать людей за их природные наклонности. «Предположим, что на бильярдном столе лежит яйцо, — рассуждал маркиз, — и двое слепых по очереди толкают шары. Один шар катится мимо яйца, второй сталкивается с яйцом, и оно разбивается. Но разве шар виновен в том, что яйцо разбилось? И разве может быть виновен слепой, направивший шар, столкнувшийся с яйцом?» Слепой, по мнению де Сада, это природа, шары — мы с вами, а разбитое яйцо — преступление. «Теперь вы видите, сколь несправедливы законы», — подводил итог господин маркиз. Но как должны поступать те люди, кому природные

наклонности других людей причинили зло, де Сад не задумывался.

Справедливо полагая себя философом, маркиз хотел убедить всех, что применительно к нему определение «либертен» следовало толковать не в том значении, которое оно приобрело в эпоху Регентства («человек, отличающийся свободными нравами, распущенным поведением и безудержно предающийся плотским наслаждениям»), а в том, каковое оно имело в XVII веке, то есть «человек неверующий, не исполняющий религиозных обрядов, попирающий принципы христианской морали, которые он отвергает, ибо он отвергает самую веру». Убеждения успеха не имели, тем более что за стенами темницы участились аресты по фактам разнузданного либертинажа. Так, в 1782 году узником Венсена на основании «письма с печатью» стал граф Юбер де Солаж, в вину которому вменялись «ужасные деяния», покушение на убийство и инцест; дебоши графа поражали воображение жителей Лангедока. Граф де Солаж, арестованный по тем же причинам, что и маркиз де Сад, в 1767 году был заточен в тюрьму в Лангедоке, в 1771 году переведен в крепость Пьер-Ансиз, в 1782-м доставлен в Венсен, а в 1784-м переведен в Бастилию. Камера его располагалась неподалеку от камеры де Сада. В тюрьме Солаж много читал, писал и играл на скрипке.

За либертинаж попал в тюрьму и дальний родственник де Сада — Веран де Сад. Узнай об этом Донасьен Альфонс Франсуа, он, наверное, обрадовался бы: Веран де Сад был младшим братом графа де Сада-Эгийера, которому в 1778 году была продана должность наместника, в свое время унаследованная маркизом от отца.

Новости политики де Сада, похоже, не интересовали, во всяком случае, ни гневных отповедей, ни восторженных откликов на события за стенами узилища он не оставил. Разумеется, письма де Сада часто проверяли тюремные цензоры, и иногда он и Рене-Пелажи писали друг другу лимонным соком между строк, чтобы текст можно было прочесть, только нагрев бумагу. Однако буйный нрав маркиза не был приспособлен к таинственности, преисполненный эмоций, он осыпал бранью цензоров: «соглядатай, коему дают кромсать мои письма», «бумагомаратель, презренное животное, приобретенное нашими палачами для умножения наших мук». Если бы де Сад сдерживал свои эпистолярные порывы, он, возможно, мог бы рассчитывать не только на послабления, но и на освобождение. Но маркиз предпочитал давать выход своему гневу, а Людовик XVI более всего боялся злоумышленников, уличенных в «преступном писании», *crime de l'écriture*. «Преступные» писания господина де Сада, судя по всему, носили аморальный характер, а потому

книги эротического содержания, отправленные Рене-Пела-жи мужу, иногда до него не доходили: начальство опасалось, что они слишком «разгорячат ему кровь».

Ни реформы Жака Неккера, ни указ об отмене пыток при допросах, ни заключение договора с Соединенными Штатами Америки, куда во главе отряда волонтеров отправился один из будущих вершителей революции маркиз де Лафайет, ни выборы в Генеральные штаты де Сада не волновали, так как не могли повлиять на его участь. По-настоящему его интересовали только литературные новинки, и если Рене-Пелажи задерживалась с доставкой новых книг, де Сад страшно злился и нервничал. Особенно он был раздражен, когда тюремщики вдруг не захотели пропустить «Исповедь» Руссо, первая часть которой вышла в 1782 году и сразу же попала под огонь критики. «И это после того, как мне прислали Лукреция и диалоги Вольтера! Вот уж поистине свидетельство великого ума и глубины суждений ваших начальников», — с возмущением писал он Рене-Пелажи. Стремясь быть в курсе литературных новостей, де Сад исподволь, быть может, еще неосознанно, готовил себя к профессиональной карьере литератора.

Круг чтения де Сада во время заключения был чрезвычайно широк, чтение, а затем и сочинительство, на которое де Сад отводил все больше и больше времени, спасало его от праздности и тоски, тем более что верная Рене-Пелажи всегда была готова обсудить прочитанную супругом книгу. Она стала первым ценителем пьес, написанных де Садом в Венсене. «Я буду читать все, что выходит из-под твоего пера, — писала она, — но я не могу быть беспристрастной, а потому не могу судить верно». Донасьен Альфонс Франсуа не во всем полагался на вкусы супруги и, когда речь заходила о книгах, велел ей советоваться с аббатом Амбле, чьему выбору он безоговорочно доверял. Аббат искал для него новые пьесы и романы, извещал о философских и научных новинках. Де Сад читал и «Опасные связи» Шодерло де Лак-ло, и «Естественную историю» Бюффона, и «Путешествия» капитана Кука, и «Путешествия» капитана Бугенвиля, «Философские разыскания об американцах» Корнелия де Пау, «Историю падения Римской империи», «Историю Ганноверских войн», «Историю военных действий в Бовэ», «Историю Франции» и даже «Иисус на Голгофе» и проповеди отца Масийона, которым в свое время внимал Людовик XIV.

Книги помогали де Саду при его работе над собственными сочинениями. «Что, по-вашему, я должен делать без книг? Для того чтобы работать, нужно находиться в их окружении, в противном случае

невозможно сочинить ничего, кроме волшебных сказок, а к этому у меня нет таланта», — писал маркиз жене, заказывая очередной труд. Бюффон учил маркиза обращать внимание на мельчайшие детали, трактаты по математике и физике — комбинаторике, де Пау познакомил с каннибальскими обрядами и изощренными пытками, которые применяли американские аборигены, мореплаватели рассказали о нравах, царивших на далеких островах, а мысли из проповедей отца Масийона можно было вложить в уста Жюстины. Из истории войн между Англией и Францией Донасьен Альфонс Франсуа заимствовал описание осады Бовэ для злополучной пьесы «Жанна Ленэ». Надежды, которые де Сад возлагал на эту пьесу, не оправдались: труда на ее неоднократную переработку было затрачено много, но поставлена она не была.

Не все жанры литературы доходили до узника. Среди рекомендованных аббатом Амбле изданий вряд ли были памфлеты, направленные против откупщиков, аристократов и самой королевы. С этой живучей многотиражной продукцией де Сад познакомился уже на свободе. Тем не менее она оказала определенное воздействие и на его сочинения, и на него самого. Исследователи не раз ставили рядом имена Марии-Антуанетты и маркиза де Сада, ибо и королева, и маркиз во многом стали жертвой своих «бумажных образов». В памфлетах королева представала разнузданной шлюхой, лесбиянкой, содомиткой, изменницей, жестокой развратницей, преступницей, готовой на все ради наслаждений. «Истории» и «дела» Донасьена Альфонса Франсуа породили целую серию очерков и статей, в которых образ безнравственного маркиза приобрел поистине чудовищные очертания, а после публикации его «непристойных» романов и вовсе слился с образами его персонажей-либертенов — Сен-Фона, Нуарсея, Бриссака...

Памфлетный образ Марии-Антуанетты стал тяжелым камнем на чаше весов революционного правосудия, отправившего ее на гильотину. Вымышленные истории и слухи о маркизе де Саде способствовали созданию образа автора-монстра, которого следовало запереть в сумасшедшем доме. Начало памфлетной кампании против королевы было положено ее собратом по сословию — графом Прованским, братом Людовика XVI и будущим королем Людовиком XVIII. Мерзкие «они», враги де Сада, также принадлежали к властям предержащим. Таким образом, знатные нарушители привычных устоев оказывались между двух огней — их побивали и «снизу», и «сверху».

В начале 1784 года тюрьма в Венсене была закрыта. В то время в ней было всего три узника, и их без труда разместили в Бастилии, где

свободных помещений хватало — не потому, что их было много, а потому, что в стране неуклонно нарастали протесты против государственных тюрем, и король был вынужден отменить «письма с печатью». Узники, принадлежавшие либо к титулованной, либо к интеллектуальной аристократии, попадали в крепость в основном по личному распоряжению короля, а потому в день, когда маркиз де Сад был переведен в знаменитую тюрьму, ее сорок две камеры были заполнены едва ли на четверть.

Несколько слов о новом месте пребывания маркиза де Сада. Первый камень в основание Бастилии был заложен 22 апреля 1370 года купеческим старшиной Парижа Югом Обрио, а в 1382 году работы по строительству массивной крепости с восемью башнями уже завершились. Государственной тюрьмой для элиты Бастилия стала при кардинале Ришелье.

*

Все, что делалось не по его воле, де Сад воспринимал как личное оскорбление. Поэтому, когда в конце февраля 1784 года его разместили на третьем этаже бастильской башни, именуемой, словно по иронии судьбы, башней Свободы, он тотчас принялся жаловаться: на дурную кухню, на маленький и вонючий двор для прогулок, на то, что вещи, которые он просил перевезти из Венсена (картины, книги, гравюры) никак не дойдут до него (они прибудут только в конце апреля), что ему не дали взять с собой подушку, без которой ему никак нельзя поправить свое самочувствие, резко ухудшившееся вследствие переезда. В письме к жене от 8 марта 1784 года де Сад описывает свое сражение с венсенскими тюремщиками за большую подушку: «Вам хорошо известно, что приступы головокружения и частые кровотечения из носа, которые у меня случаются, когда я не лежу, опершись головой на что-нибудь как можно более высокое, вынуждают меня пользоваться очень большой подушкой. Когда я попытался забрать с собой эту несчастную подушку, то вы бы подумали, что я пытаюсь выкрасть список тех, кто устроил заговор против государства; они варварским образом вырвали ее у меня из рук и заявили, что иметь объекты такого масштаба никогда не позволялось».

Перевод в Бастилию, нарушивший размеренное существование маркиза, всколыхнул в нем новые силы: он решил требовать освобождения на основании того, что земли его пришли в запустение и ему необходимо ими управлять. Зная, что к делам у него никогда не было склонности,

родственники предложили ему подписать доверенность на управление имуществом, но он категорически отказался и потребовал впредь к нему с подобными просьбами не обращаться: он ничего подписывать не будет. А если родственники радуют о его благе, пусть лучше попросят короля отменить указ о его заточении, дабы он вышел на свободу и лично занялся собственными владениями.

Воспользовавшись своим правом, семейный совет во главе с командором Ришаром Жаном Луи де Садом обошелся без согласия маркиза и вновь официально утвердил Гофриди главным управляющим делами маркиза, а командора — контролирующим решения Гофриди и ответственным за «воспитание, поведение и устройство» детей де Сада. Последнюю обязанность командор разделил с мадам де Сад, «матерью означенных детей». На деле же в части, касавшейся детей, не менялось ничего — о них по-прежнему заботились Монтреи. Мадам де Сад получила право взимать доходы с имущества, принадлежавшего лично ей, и право ежегодно получать четыре тысячи ливров «на собственное содержание». Юридическое оформление постановлений семейного совета означало лишение маркиза де Сада права управлять своим имуществом, а также лишение его родительских прав. Для узника эти постановления, в сущности, не меняли ничего — ведь на страже его личных интересов стояла верная Рене-Пелажи, а где она добывала деньги, де Сада никогда не интересовало.

В Бастилии после нескольких месяцев брюзжания де Сад устроился с таким комфортом, с каким вообще мог устроиться в камере древней крепости заключенный, не ограничивавший себя в средствах. Камеру оклеили новыми обоями, устлали коврами, повесили оранжевые занавески, в тон которым были заказаны покрывало и наволочки для подушек, на заказ был сделан и туалетный столик со специальными ящичками и золочеными ручками. Библиотека, одежда, семейные портреты, прибывшие из Венсена, также обрели свои места в новом месте заключения маркиза. Подсчеты, сделанные Ж.-Ж. Повером, говорят о том, что содержание маркиза в Бастилии в среднем обходилось семье в четыре тысячи ливров в год, в то время как жалованье коменданта господина де Лонэ составляло шесть тысяч ливров в год, его помощника — пять тысяч, надзирателя — полторы тысячи ливров, а лекаря — тысяча двести ливров в год. На содержание в крепости незначительного узника отпускалось тысяча сто ливров в год, финансиста, судьи или литератора — три тысячи шестьсот пятьдесят, советника парламента — пять тысяч, маршала Франции — двенадцать тысяч ливров в год. За время царствования Людовика XVI, то есть с 1774

по 1791 год, в Бастилии побывало всего около двухсот сорока человек, в среднем по шестнадцать человек в год.

Однако перевод в Бастилию, традиционно считавшуюся самой мрачной цитаделью деспотизма, не мог не повлиять на настроение де Сада, причем не лучшим образом. Спасением от мрачных мыслей стало сочинительство. Если в Венсене из-под пера де Сада вышло всего несколько пьес, «Диалог священника с умирающим» и были сделаны первые наброски «Ста двадцати дней Содома», то в Бастилии написаны и новеллы для сборника «Преступления любви», и «Рассказы и короткие истории», и большой роман «Алина и Валькур», и повесть «Жюстина, или Злоключения добродетели», и «Сто двадцать дней Содома» — почти половина его литературного наследия.

Донасьен Альфонс Франсуа буквально одурманивал себя работой. Неудивительно, что от такого напряжения у него болели глаза и обострялся геморрой. Получив от Рене-Пелажи очередную посылку с деликатесами, маркиз подстегивал свой мозг, свое воображение, а затем садился к столу, брал перо и погружался в мир садических грез. Де Сад уже не хотел писать «в стол», он очевидно намеревался когда-нибудь опубликовать свои сочинения — все, за исключением романа «Сто двадцать дней Содома», рукопись которого состояла из склеенных листочков, исписанных с обеих сторон. Лента легко превращалась в свиток, который можно было спрятать в кармане, в рукаве или между камнями в стене. Но когда восставшие парижане захватили Бастилию, свиток был утерян — для де Сада навсегда.

Пьесы свои Донасьен Альфонс Франсуа, несомненно, намеревался поставить. «Я уже накопил в своем портфеле больше пьес, чем самые уважаемые современные авторы <...>. Если бы меня предоставили самому себе, у меня было бы готово для постановки около пятнадцати пьес, когда я выйду из тюрьмы», — писал он в 1784 году. Он внимательно прочитывал критические отзывы о своих сочинениях для театра, которые по его просьбе писали как аббат Амбле, так и Рене-Пелажи. Последнее письмо аббата Амбле датировано 1786 годом; далее об этом человеке ничего не известно...

В Бастилии де Сад даже попытался устроить для офицеров тюрьмы читку своей пьесы «Жанна Лене, или Осада Бовэ», пригласив на нее королевского наблюдателя шевалье дю Пюже, единственного человека, с кем он во время заключения пытался установить дружеские контакты. Педант во всем, что касалось рукописей, осенью 1788 года де Сад составил «Комментированный каталог» своих сочинений: объем их оказался равен пятнадцати томам, не считая «содомского» свитка. Еще он привел в

порядок черновики, к которым относился с таким же вниманием, как и к окончательным вариантам. Когда тюремное начальство арестовало эти черновики, де Сад в отчаянии написал Рене-Пелажи, чтобы она умолила «их» вернуть ему его листки. «Бессмысленно брать черновики того, что в чистовом варианте уже прошло цензуру», — справедливо рассуждал он, — а уж тем более бессмысленно забирать то, что еще не имеет никакой формы и, следовательно, неизвестно, какого — хорошего или дурного — качества получится. А мне черновики особенно нужны. Если среди отобранных у меня бумаг найдут сочинения завершённые, не важно, плохие или хорошие, пусть хранят их сколько угодно, вплоть до моего освобождения, только — умоляю — пусть вернут мне черновики».

*

Тем временем обстановка в стране накалялась. Выборы в Генеральные штаты, собрание трех сословий, не созывавшееся с 1614 года, пробудили общественную активность. 5 мая 1789 года в Версале долгожданные Генеральные штаты начали свою работу, а уже 17 июня депутаты третьего сословия провозгласили себя Национальным собранием — высшим представительным и законодательным органом французского народа. 20 июня в Зале для игры в мяч депутаты произнесли знаменитую клятву не расходиться до тех пор, пока не будет выработана и принята конституция. В эти дни жители Парижа находились в постоянном возбуждении, и комендант Бастилии де Лонэ запретил узникам прогулки на смотровых площадках башен, дабы те криками или жестами не привлекали к себе внимание возбужденных парижан. Было отдано распоряжение зарядить пушки и приготовить бочки с порохом: гарнизон спешно готовился отражать нападения.

2 июля, узнав об отмене прогулок, де Сад немедленно пришел в ярость и принялся бушевать, но тюремщики настояли на своем и водворили бесновавшегося маркиза обратно в камеру. Тогда де Сад схватил жестяную трубу с воронкой на конце, с помощью которой он опорожнял ночные сосуды в сточную канаву, и, подскочив к окну, выставил воронку наружу как рупор и истошно завопил, что в Бастилии режут и убивают заключенных. А потом стал заклинять народ прийти к ним на помощь. Зевак в ту пору на улицах было много, и перед крепостью быстро собралась большая толпа. С трудом призвав к порядку нарушителя спокойствия и уговорив толпу разойтись, комендант почувствовал, что ему

необходимо любой ценой избавиться от неуживчивого узника. Пустив в ход все свои связи, он добился своего: через день в камеру маркиза пришли стражники и, не дав узнику даже переодеться, увезли его в Шарантон, приют и больницу для умалишенных. По словам де Сада, его привезли в Шарантон «голым как ладонь», без вещей, без рукописей и без надежды, что хотя бы здесь ему определят срок его заключения. Пока де Сада везли из Бастилии в Шарантон, комиссар Шатле опечатал его камеру со всем ее содержимым. Ни он, ни тем более де Сад не знали, что Бастилия доживает последние дни.

Глава VII.

УТРАЧЕННЫЕ ЛИСТКИ

«...Сможете ли вы войти в эти ужасные камеры? Сырые, с голыми стенами, кишашие насекомыми, с прибитой к стене койкой, они являются собой пристанище клопов и пауков, чей покой вот уже сотню лет никто не тревожил; рядом с койкой находятся колченогий стул и прогнивший стол, а в дверное окошечко, вернее, жалкое отверстие, несчастным обитателям сего жилья просовывают еду», — писал де Сад о Шарантоне адвокату Матону де Лаварену. Переведенный из Бастилии в Шарантон, где ему довелось провести почти девять месяцев, де Сад описывал свое новое место пребывания как «пристанище горестей». Однако современники, и в частности небезызвестный Латюд, представляли это заведение несколько иначе: большой дом, окруженный садом с дорожками для прогулок, библиотека с книгами, газетами и настольными играми, общие гостиные, неназойливое наблюдение. Плата за пребывание в Шарантоне была довольно высока, поэтому тамошними обитателями были в основном буржуа и мелкие аристократы, попадавшие туда по приговору суда или по королевскому «письму с печатью». Среди пансионеров были как собственно душевнобольные, так и лица, которых желали изолировать от общества. В то время душевнобольных лечили суровыми методами, и наверняка их содержание, особенно тех, за кого не могли платить, отличалось от содержания платных пансионеров. Но у господина маркиза были собственные комнаты с мебелью и предметами обихода, и он постоянно пользовался библиотекой. Когда де Сад покидал Шарантон, его долг милосердным братьям составлял более тысячи ливров...

В октябре 1789 года в одной из парижских газет де Сад прочел отчет Матона де Лаварена об одном из заключенных Шарантона, попавшем туда по недоказанному обвинению. Воспользовавшись возможностью в очередной раз привлечь внимание к себе и своему делу, де Сад написал адвокату письмо, в котором живописал ужасы дома заключения и призвал французов не останавливаться на достигнутом и разрушить также и эти «инквизиционные застенки, куда из прежнего своего храма переселился деспотизм». «Прежний храм» — это Бастилия, взятая восставшим народом 14 июля

1789 года. Де Сад остро сожалел о своем переводе из Бастилии: тогда

бы восставший народ в числе последних узников освободил бы и его. (Среди семи освобожденных было четверо фальшивомонетчиков, сообщник Дамьена, отсидевший к этому времени тридцать лет, граф де Солаж и душевно-больной граф де Мальвиль, помещенный в крепость по просьбе родственников: в то время в лечебницах для умалишенных с больными обращались хуже, чем в тюрьмах с заключенными.)

В 1794 году в письме о собственной благонадежности, отправленном в Комитет общественной безопасности, маркиз писал: «Во время своих прогулок по двору (Бастилии. — Е. М.) я вопрошал солдат, неужели они решатся подвергнуть себя бесчестью и начнут стрелять в народ. Недовольный их ответами, я из своего окна, выходящего на улицу Сент-Антуан, с помощью жестяной трубы предупредил народ о готовящейся измене. Народ собрался, меня слушали, и я успел трижды выкрикнуть свое предупреждение. Обеспокоенный комендант написал министру Вильдею (у меня есть это письмо): “Если вы не удалите Сада из Бастилии, если не переведете его в подвалы Шарантона, я не смогу отвечать перед королем за сохранность вверенной мне крепости”. Этот ужасный перевод осуществился, я на девять месяцев был брошен в ужасную камеру и вышел оттуда только 3 апреля

1790 года. Таким образом, я пребывал в рабстве на целых девять месяцев больше, чем другие, и следовательно, способствовал взятию Бастилии, а потому стал подозрительным в глазах короля; так могу ли я быть подозрительным в глазах Нации?»

*

Очутившись в Шарантоне, куда его доставили в страшной спешке, де Сад, по обыкновению, стал обустраиваться и потребовал доставить его вещи из его Бастилии. Рене-Пелажи он поручил принести самое дорогое — его бумаги и рукописи. Но мадам де Сад выбрала не самый удачный день для похода в Бастилию — вторник 14 июля, когда крепость была взята штурмом, офицеры перебиты, а коменданту де Лонэ кухонным ножом отрезали голову и, насадив ее на пику, долго таскали по улицам. Толпа, захватившая крепость, перевернула все вверх дном, в том числе и опечатанную камеру маркиза. Его вещи, библиотека в шесть сотен томов, мебель, одежда и — самое главное! — рукописи были разодраны, испорчены и разграблены. Исчез и спрятанный свиток «Ста двадцати дней Содома»; более де Сад его не увидит. Сразу скажем: рукопись не пропала;

долгое время она хранилась в частных собраниях, а в 1904 году берлинский врач-психиатр Иван Блох осуществил первое издание романа. В 1929 году свиток был приобретен французской семьей Ноайль, а несколько лет назад его купил коллекционер из Женевы, и рукопись вновь «скрылась из виду».

Донасьен Альфонс Франсуа лукавил, патетически восклицая: «Все погибло!». Когда боевой пыл погромщиков прошел, бумаги, найденные в Бастилии (которая была полностью снесена к 14 июля 1792 года), отвезли в аббатство Сен-Жермен, где де Сад впоследствии и обнаружил большую часть своих трудов: там были и «Жюстина, или Злоключения добродетели», и философический роман в письмах «Алина и Валькур», около дюжины пьес, несколько записных книжек с набросками и планами, «Портфель литератора», новеллы и короткие рассказы. Текстов вполне могло хватить на небольшое собрание сочинений. Когда Ж.-Ж. Повер попытался подсчитать объем рукописной продукции, произведенной де Садам за время заключения в Венсене и Бастилии, получилось 7200 машинописных листов^[10].

Конечно, де Сад писал не каждый день — иногда не писал вовсе, иногда — только письма, а иногда — буквально не вставал со стула: «Жюстина, или Злоключения добродетели» (1787) была написана всего за две недели. История добродетельной сиротки Жюстины занимает в творчестве де Сада особое место. «Жюстину», созданную в 1787 году и впервые изданную в 1930-м, условно можно назвать «первой книгой» трилогии. Вторая книга, «Жюстина, или Несчастья добродетели» (1791) является первым (известным) опубликованным сочинением де Сада. Третья книга, «Новая Жюстина» (1797—1799) стала одновременно первой частью объемного труда, полное название которого «Новая Жюстина, или Несчастья добродетели, продолженная Историей Жюльетты, ее сестры». Его героини соотносятся между собой как негатив и позитив: то, что доставляет страдания Жюстине, приносит наслаждение Жюльетте. Все три «Жюстины» являются одной и той же историей, которая каждый раз разбавляется новыми эпизодами, обширными рассуждениями и незавуалированными описаниями сексуальных ритуалов. Больше всего дополнительных эпизодов в «Новой Жюстине», и все они отличаются особой жестокостью. Например, в первых двух книгах либертен граф де Бриссак подсыпает матери (тетке) яд, и та умирает. В «Новой Жюстине» Бриссак травит мать собаками, а потом силой вынуждает Жюстину вонзить нож в грудь несчастной жертвы. В первых двух книгах героиня сама рассказывает свою историю, в третьей эта обязанность достается рассказчику, не без иронии вззирающему на терзания Жюстины.

В «Злоключениях» Жюстина, назвавшая себя Софи, рассказывает, как она и ее сестра Жюльетта (возможно, уже при работе над первой книгой де Сад предполагал написать и историю Жюльетты), потеряв родителей, оказываются на улице без средств к существованию. Жюльетта решает зарабатывать на жизнь своими прелестями и отправляется к сводне, а Жюстина пытается жить честно и добродетельно. Но каждый ее поступок влечет за собой зло и ввергает ее в очередную пучину страданий. Дю Гарпен, у которого она работает служанкой, уговаривает ее обокрасть жильца, но она отказывается. Дю Гарпен сам крадет драгоценности, но обвиняет в краже Жюстину. Девушку сажают в тюрьму, и ей грозит казнь. До революции воровство, особенно со стороны слуг, каралось крайне сурово. Слуга, укравший у хозяина любую мелочь, мог быть приговорен к смертной казни.

В тюрьме Жюстина знакомится с преступницей Дюбуа, которая поджигает тюрьму и совершает побег, увлекая за собой и девушку. Дюбуа приводит ее в свою банду. Сбежав от разбойников, Жюстина немедленно попадает в лапы распутника графа де Бриссака, который определяет ее служанкой к своей матери, с тем чтобы Жюстина отравила хозяйку. Жюстина в ужасе раскрывает мадам де Бриссак гнусный замысел. Тогда граф сам подсыпает яд в чашку матери и обвиняет в убийстве Жюстину. Несчастная бежит и после скитаний попадает в дом хирурга Родена, который тайно проводит опыты над живыми людьми. Пытаясь спасти очередную жертву, Жюстина сама становится жертвой: ей отрезают по пальцу на каждой ноге, вырывают два зуба, ставят клеймо воровки и выбрасывают на улицу. Стремясь припасть к живительному источнику веры, девушка заходит в обитель Сент-Мари-де-Буа, но оказывается, что монахи этой обители — ужасные развратники. Они помещают Жюстину в гарем, устроенный в подвале монастыря, и ей приходится выполнять все их жестокие эротические фантазии. Когда настоятеля монастыря переводят «на повышение», прибывшие ему на смену священники отпускают девиц из гарема на все четыре стороны. Остановившись в гостинице, Жюстина встречает там Дюбуа, и та убеждает ее принять ухаживания соседа по гостинице. Пока Жюльетта гуляет с кавалером, Дюбуа его обкрадывает, обвиняет в краже Жюстину, а затем подсыпает кавалеру яд, разумеется, обвинив в отравлении Жюстину. Девушка вновь попадает в тюрьму, и ее везут в Париж. По дороге некая знатная особа проникается к ней симпатией и просит Жюстину поведать свою историю. Дама оказывается Жюльеттой: она преуспела в жизни благодаря порочности своей натуры. Жюльетта проникается жалостью к сестре, берет ее к себе и окружает заботами. Но

Жюстине не суждено быть счастливой: влетевшая в окно молния убивает ее. Жюльетта раскаивается в своих поступках и уходит в монастырь.

Изначально «Злоключения» предназначались автором для сборника «Рассказы и фавлю XVIII века», то есть для публикации, а потому подробные описания эротических «фантазий» в повести отсутствуют. «Начинаются оргии, но описать их тебе в подробностях я не могу», — говорит давняя узница монастырского гарема, знакомя новенькую Жюстину с его правилами. И автор, описывая разврат и сексуальное насилие, прибегает к традиционным эвфемизмам и многозначительному умолчанию, что несколько не вредит ни занимательности, ни живости повествования. Своей краткостью и выразительностью «Злоключения» вполне можно поставить в один ряд с «Кандидом» и «Простодушным» Вольтера. Изящная, ироничная повесть с финалом в духе черного юмора и непременным наказанием порока.

В «Несчастьях» и «Новой Жюстине» героиню за ее неуклонное стремление сохранить невинность и творить добро подвергают все более изощренным мучениям, «фантазиям» и заставляют выслушивать все более длинные рассуждения, обличающие религию, мораль и добродетель и восхваляющие природу. Природа, великая и всеобъемлющая, пребывающая в вечном движении, несколько не заботится о роде людском, для нее равны все организмы и все субстанции, и мертвые даже предпочтительнее живых, ибо мертвая материя служит питанием новым организмам. Суть природы — действие и воспроизводство, а не сохранение того или иного вида, поэтому те, кто исполняют веления природы, иначе говоря совершают преступления, на которые толкает их данный природой темперамент или живое воображение, ответственности за эти преступления не несут. Те же, кто повинуются искусственному институту под названием мораль, лишь умножают зло и страдают сами* Поэтому, кому бы Жюстина ни сделала добро, в ответ ее каждый раз подвергают еще большим жестокостям: вызволенный из логова разбойников Сент-Флорент обкрадывает и насилует ее, спасенный от гибели Ролан приводит ее в логово фальшивомонетчиков, где ее ожидают постоянные оскорбления, насилие и каторжный труд. Странствия Жюстины подводят к мысли, что из любого добра произрастает зло, ибо зло заложено в самой природе.

Судя по рабочим заметкам де Сада, злоключения Жюстины задумывались как высмеивание серии добродетелей. Писатель составил план из десяти пунктов — кратких сюжетов, часть из которых затем вошли в трилогию, а часть — нет. Например, в набросках имеется эпизод о замужестве Жюстины: «7. Сострадание. Молодой человек влюбляется в

Жюстину, женится на ней и вскоре разоряется. Девушка работает день и ночь, чтобы помочь ему, а муж продает ее сластолюбивому старику, который насилует ее. Ее покарали за сострадание к мужу». Жюстина страдает и от стихийного зла: «8. Благоразумие. Она стоит перед бурным потоком, через который надо переправиться. Через поток перекинут мост, возле берега качается на волнах утлая лодочка. Прислушавшись к голосу благоразумия, она переправляется по мосту, но когда доходит до середины, мост рушится». И так далее, на протяжении всех трех романов о Жюстине, причем если в набросках де Сад еще предполагал выводить на сцену абстрактное зло (рухнувший мост, рухнувший свод собора), в книгах его не остается, и торжествующие силы порока постепенно сливаются в единый образ полиморфного либертена. Вокруг героини образуется порочный круг, за пределы которого она при всех своих поистине титанических усилиях вырваться не может: любой ее добрый поступок оборачивается злом, а она сама становится соучастницей преступлений. Жюстина бросается спасать из огня ребенка, но оступает, ребенок падает в огонь, она сама с трудом избегает гибели, а когда оказывается вне опасности, ей предъявляют обвинение и в поджоге, и в убийстве ребенка. К концу третьей книги выстраивается четкая оппозиционная система: несчастья добродетели — преуспевания порока; добродетель призрачна, порок циничен и реален.

В набросках де Сада имеется план повести о Сеиде, также посвященной развенчанию добродетели. Сеид наделен способностью предвидеть будущее, и все его действия обусловлены этой способностью. Увидев, как мужчина спасает женщину, он хватает обоих и топит их, зная, что женщине этой предстоит убить мужа и двух своих детей и, таким образом, мужчина хотел спасти преступницу. Сеид не подает милостыню, так как знает, что человек, который просит у него, немедленно пропьет эти деньги, а чтобы раздобыть следующие, вступит в шайку разбойников, его поймут и повесят. Встретив ужасных преступников, которых ведут на казнь, Сеид освобождает несчастных, ибо знает, что они раскаются и окажут обществу множество полезных услуг, а если их казнят, общество этих услуг не получит. И так далее — чтобы прийти к выводу, что «если страсти против воли вашей влекут вас к поступкам, которые вы считаете преступлением, не отягощайте свою совесть раскаянием, совершив их, ибо так называемое зло может быть источником великого добра, но знать об этом может только провидение; нас же оно таковой способностью не наделило». Де Сад подводит к мысли о несовершенстве человеческих законов и о несправедливости смертной казни, ибо только провидению дано знать, каково предназначение того или иного человека. Мысль эту

маркиз еще не раз станет развивать в своих сочинениях.

Жюстина — образ условный, наделенный не индивидуальностью, а принципами, «образом мыслей», поэтому для де Сада важно постоянно увеличивать количество эпизодов-доказательств, подтверждающих порочность ее принципов, то есть добродетели, веры и морали. Образ Жюстины — с соответствующими изменениями — напоминает самого де Сада, который, постоянно доказывая свою невиновность, несмотря на все приводимые им доводы, оказывался гонимым и виноватым. И подобно Жюстине, предпочитавшей «тернии добродетелей» «опасным колючкам», сопровождающим преступление, де Сад предпочитал заточение отказу от своего «образа мыслей». По настрою, по пафосности рассуждений «Злоключения» можно рассматривать как своеобразный беллетристический парафраз переписки маркиза — к счастью, без плачевного конца добродетельной героини.

«Злоключений» современники де Сада не прочли, автор вынес на их суд вторую книгу — «Несчастья добродетели», увидевшую свет в 1791 году, в разгар революционных событий. Но так как в «Несчастьях» уже не было ни заместительной лексики, ни наказания порока, маркиз не решился опубликовать роман под своим именем и издал его анонимно. Впрочем, анонимность была непродолжительной. Первые рецензии на «Злоключения» были, пожалуй, скорее настороженными, нежели ругательными. Несмотря на резко увеличившийся после снятия цензурных запретов поток эротической и откровенно порнографической литературы, именно «Жюстина» привлекала к себе внимание рецензентов, что косвенным образом подчеркивало как необычность произведения, так и мастерство автора. Как отмечает Ж.-Ж. Повер, среди книг, упомянутых в крупном книжном обзоре «Feuille de correspondance du libraire» с июня по декабрь

1791 года, только одно сочинение в жанре романа было удостоено развернутой рецензии, и это был роман «Жюстина, или Несчастья добродетели». Редактор посчитал нужным известить читателя, что книга сия может быть прочитана не без пользы только закоренелыми развратниками, которые, «испуганные отвратительными картинами возмутительнейших преступлений», столь живо нарисованными автором, «рухнут в пучину стыда, осознав, сколь отвратительным излишеством они предавались», и вернутся на стезю добродетели. Но, увы, давно доказано, что «страшнее всего, когда развращена душа, ибо от душевной порчи лекарства нет», а книга сия может оказать крайне опасное воздействие на души юные и неокрепшие, тем более что названием своим она может

любого ввести в заблуждение. Поэтому редактор «обязан предупредить лиц, ответственных за воспитание молодежи», дабы они заботливо убрали ее от юных глаз, а если юным впечатлительным созданиям необходимы эмоции сильные и отвращающие от порока, пусть наставники сами прочтут им наиболее благопристойные куски «из сей сочащейся ядом книги». Что ж, рецензия вполне в духе предпосланного к изданию эпиграфа: «Друг мой! Приносимое пороком счастье подобно молнии, обманчивый свет которой лишь на миг украшает небо, чтобы тем вернее низвергнуть в пучину смерти несчастных людей, ослепленных этим блеском».

Второе (а возможно, даже третье) издание, сделанное в 1792 году, вызвало значительно более гневные отклики; осуждению подвергся основополагающий принцип романа: торжество порока над добродетелью. Такая постановка вопроса должна была бы насторожить автора, ведь очередной виток революции и провозглашение Республики перевели понятие «добродетели» в сферу политическую: истинный гражданин Республики был гражданином добродетельным, аморальный аристократ-либертен остался в стане сторонников монархии, то есть врагов Республики. Критики писали, что автор, обладающий воображением «в своем роде богатым и блестящим» и щедрый на «измышление самых невероятных событий» и описания «самых удивительных мест», без сомнения, преуспел бы, если бы «решил направить свой талант на пропаганду единственно верных принципов общественного и природного миропорядка». Но де Сад был не склонен менять свои убеждения, а потому в предисловии к новому изданию «Несчастий добродетели» от имени издателя (разумеется, анонимного) написал:

«Наши предки, желая подогреть читательский интерес, вводили в сочинения свои различного рода колдунов, злых гениев и прочих сказочных персонажей и наделяли их всеми пороками, необходимыми для закручивания интриги романа, и никто не считал способ сей недозволенным. Но, к несчастью для рода человеческого, существует множество людей, склонность которых к беспутству доводит их до таких же ужасных преступлений, какие прежние наши авторы приписывали своим сказочным людоедам и великанам. Но разве не вправе мы предпочесть действительность сказке? Разве должны мы отказываться от выгодных драматических эффектов только потому, что кто-то боится нанести оскорбление сей действительности? Почему не можем мы разоблачить темные преступления, совершенные, кажется, только для того, чтобы навечно остаться в потемках неведения? Увы, нет никого, кто бы не знал об этих отвратительных преступлениях! Гувернантки рассказывают о

них детям, женщины легкого поведения возбуждают ими воображение своих клиентов, а судейские, в преступной неосмотрительности лицемерно ссылаясь на свою любовь к порядку, дерзко марают их подробностями листы протоколов Фемиды. Так почему же романист не может их показывать? Разве он не вправе использовать в качестве инструмента своего любые виды пороков, любые преступления? Разве он не имеет права рисовать их все, дабы отвратить от них людей? Горе тому, кого могут развратить картины «Жюстины»! Но не мы в этом повинны; о чем бы мы ни писали, эти люди не станут лучше, ибо для них добродетель — яд».

Хотя эти строки были написаны на свободе, де Сад остался верен себе и не упустил возможности бросить камень в огород судейских. Не заботясь о возможных последствиях, де Сад отстаивал мысль о том, что «сочинитель, желающий писать в жанре романа, должен знать все пороки и все страсти и уметь их описывать». Он оставался на поле литературы, забыв, что во время революции литература начала смыкаться с политикой.

Во вступительном слове к «Жюстине» де Сад писал: «Замысел этого романа (не слишком романтического, как может показаться), без сомнения, новый, ибо привычное развитие сюжета, когда добродетель одерживает верх над пороком, добро вознаграждается, а зло терпит наказание, сегодня уже всем приелось. Но вывести повсюду порок торжествующим, а добродетель жертвою, показать несчастную, на которую обрушивается беда за бедою, игрушку негодяев, обреченную на потеху развратников; дерзнуть вывести положения самые ужасные, прибегнуть к приемам самым дерзким с единственной целью дать высший нравственный урок человечеству, означает идти к цели по новой, почти не проторенной дороге». Но какие бы вступления он ни писал, в них усматривали всего лишь уловку автора, попытку сбить с толку читателя и исподволь развратить его — как персонажи-либертены пытались столкнуть Жюстину со стези добродетели. «Я докажу тебе, Жюстина, — вещал Бриссак, — что путь добродетели не ведет к успеху и бывают обстоятельства, когда лучше совершить преступление, чем отказаться от него». Но критики, видимо, не предполагали, что читатель может оказаться столь же стойким и невосприимчивым к бумажным салическим порокам.

Вопрос об отображении в романе человеческих страстей всегда волновал де Сада-литератора. Наиболее четкий ответ на него он дал в статье «Размышления о романе», предпосланной к сборнику «Преступления любви»: «Далеко не всегда торжество добродетели занимает читателя; разумеется, все мы, насколько сие возможно, стремимся к победе добродетели и хотим, чтобы все люди следовали ее законам ради

нашего всеобщего счастья, но правила такого не заведено ни в природе, ни у Аристотеля; изображение добродетели не может быть главным в романе, ибо оно не всегда вызывает интерес читателя: ведь когда торжествует добродетель, порядок вещей является таковым, каким он и должен быть, а посему слезы наши высыхают прежде, чем пролиться. Но ежели мы видим, как после многих суровых испытаний добродетель оказывается поверженной, а порок торжествует, душа наша непременно испытает жесточайшие страдания, и роман взволнует нас столь сильно, что, используя выражение Дидро, *заставит кровоточить самые потаенные уголки нашего сердца*; такой роман непременно увлечет нас и стяжает лавры его автору». «Трагические и героические» (добавим: и мелодраматические) истории, вошедшие в сборник, относятся к разряду художественного вымысла и испытали на себе влияние литературных жанров своего времени. Живые и красочные, они уводят читателя с поля философии на поле драматической беллетристики.

В «Преступлениях любви» де Сад словно задался целью перепробовать для себя все возможные темы и сюжеты, черпая их в многочисленных источниках — как у барочных новеллистов XVII века Франсуа де Россе и Жана Пьера Камю, так и у своего современника Бакюляра д'Арно. Иногда даже создается впечатление, что де Саду было неинтересно самому придумывать сюжетные ходы и он брал готовые, видоизменял их в соответствии со своими замыслами и трактовал поступки героев согласно своему «образу мыслей». «Двойное испытание» — литературное отражение галантных празднеств, устраивать которые было модно во времена маркиза. Большую часть новеллы занимают описания фантастических театральных зрелищ: рыцарских турниров, битв титанов, путешествий на волшебные острова и проч. и проч., свидетельствующих о пристрастии автора к театру и театральности и о его прекрасном знании театральной техники своего времени. А постановочные фантазии времен де Сада были поистине безграничны. К примеру, очевидцы писали, что на празднестве, устроенном принцем Конде в его загородном владении Шантийи, из гигантских ананасов выскакивали настоящие карлики, а в «Опера-Комик» устраивали настоящий фейерверк. В новелле «Родриго, или Заколдованная башня» де Сад попытался создать фантастическую сказку, соединив историю (король Родриго — персонаж исторический), мотив мести и средневековый сюжет схождения в потусторонний мир. Но любые шаги, уводившие из мира страстей, приводили де Сада в иллюзорный мир театра: странствия Родриго по иным мирам напоминают перемещения актера в театральных декорациях.

Де Сад часто использовал аксессуары готического романа, а также любимые романтиками «тайны рождения». Но если Анна Радклиф или Мэтью Грегори Льюис использовали пещеры, подвалы, скелеты и призраки для создания зыбкой атмосферы таинственности и страха, а тайна рождения накладывала на героя особый отпечаток, делала его непохожим на других, то де Саду уединенный замок нужен прежде всего для охраны самого героя от вторжения извне. Разбойник Франло (новелла «Факселанж») селится «в пустынной долине, окруженной горами», потому что она «недоступна ни для праздных путешественников, ни для полиции». Тайна рождения нужна писателю, чтобы показать слепую игру случая и подчеркнуть неотвратимую волю рока. Несчастная Флорвиль (новелла «Флорвиль и Курваль»), узнав тайну своего рождения, понимает, что невольно стала супругой собственного отца, любовницей брата и убийцей своего сына, и немедленно убивает себя. Благородный Доржевиль (новелла «Доржевиль, или Преступная добродетель»), желая спасти девицу от бесчестия, уговаривает ее стать его женой, а потом узнает, что женился на собственной сестре. Больше всего готического антуража в повести «Генриетта Штральзон, или Последствия отчаяния»: «Святая обитель была затянута черным, и посредине, на погребальном ложе, в окружении горящих свечей, покоилось тело Вильямса, пронзенное тринадцатью кинжалами, все еще торчащими из кровоточащих ран». Трепетная Генриетта собственной рукой вырвала кинжал из сердца мертвого возлюбленного и вонзила его в тело негодяя, погубившего его. В этой новелле, носящей подзаголовок «Английская повесть», де Сад в полной мере отдал дань и Ричардсону, и Радклиф.

Исторические повести «Лауренция и Антонио» и «Жюльетта и Ронэ, или Заговор в Амбуазе»^[11] имели неожиданно счастливый конец (негодяи посрамлены, влюбленные воссоединяются), и даже вопреки исторической правде: в хронике, откуда почерпнут сюжет «Жюльетты и Ронэ», события завершались трагически, но, как указывал автор, ему захотелось показать, что благородство души заслуживает вознаграждения. Из сходных соображений он отступил от исторической правды и в своем позднем романе «Маркиза де Ганж», убив главного мучителя маркизы. Новелла «Графиня де Сансерр, или Соперница собственной дочери» переносит читателя, согласно канонам популярного в то время нарративного жанра, в условное средневековье, где совершается страшное преступление, порожденное роковой страстью. В рассказе «Факселанж, или Заблуждения честолюбия» выводится образ разбойника Франло, еще не благородного, но уже не без привлекательности. Франло стоит в первых рядах целой когорты

благородных (и не очень) разбойников и авантюристов, прочно занявших свое место в литературе конца XVIII—XIX веков. Придумывая образ Франло, де Сад вполне мог опираться на истории прославленных разбойников своего времени — Луи Доминика Картуша (1693—1721), терроризировавшего Париж и его окрестности, и своего земляка Луи Мандрена (1725—1755), грабившего исключительно сборщиков налогов и снискавшего этим немалую популярность у местного населения.

Особое место в сборнике занимает трагическая повесть «Эжени де Франваль», о которой автор написал: «Во всей европейской литературе нет ни одной повести, ни одного романа, где бы опасности либертинажа были явлены столь ярко». Но лукавый маркиз явил в повести не только опасности либертинажа: он представил систему воспитания либертена, основанную на руссоистских принципах — развивать в человеке заложенные в нем самой природой основы здоровья и... безнравственности. Отвергая, как и Руссо, принципы насилия над личностью, он подводит к мысли, что нравственность и мораль чужды природе, являются пустыми домыслами досужих людей и лицемерных служителей Верховного существа, и если не забивать ребенку голову этой ерундой, он станет развивать в себе наклонности и желания, заложенные в нем самой природой, которая, презрев людские законы, следует только ей одной ведомому промыслу, идет путем трансгрессии и преступления. Если у Руссо основы нравственности заложены в человеке от природы и правильное воспитание лишь помогает их развить, у де Сада все происходит с точностью до наоборот. «Эжени де Франваль» — это своего рода «Анти-Эмиль», антипод романа воспитания Ж.-Ж. Руссо «Эмиль» (1762). И Руссо, и де Сад призывают своих героинь к одному и тому же: «Старайтесь быть такой, какой создала вас природа, ведь мы обычно стремимся быть такими, какими нас хотят видеть люди», только, следуя этим словам, у Руссо получается благонравная Софи, а у де Сада — монстр Эжени.

Либертен Франваль с малолетства воспитывает свою дочь Эжени: развивает ее физические и умственные способности, но не посвящает в обязанности ни моральные, ни религиозные, и когда Эжени взрослеет, она по собственному желанию становится его любовницей. Эжени — Галатея преступного Франваля, и он хочет сохранить ее для себя. Но окружающие препятствуют его идиллии: это его жена и его приятель Вальмон, который, увидев единственный раз прекрасную Эжени, влюбился в нее и с согласия матери девушки решил на ней жениться. Франвалю приходится убить Вальмона, а потом он убеждает Эжени отравить мать. Увидев умирающую

в страшных муках госпожу де Франваль, Эжени раскаивается и замертво падает возле ее тела. Узнав о кончине жены и дочери, Франваль также раскаивается и убивает себя. Преступники наказаны, но добродетель не восторжествовала.

Пара Франваль — мадам де Франваль чем-то отдаленно напоминает чету де Сад: властный, самолюбивый супруг и мягкая, преданная супруга, готовая на все ради мужа и поддержания мира в семье. Однако у Донасьена Альфонса Франсуа не было предчувствия, что его брачный союз не вечен... Мадам де Франваль вполне может считаться родной сестрой мадам де Бламон из романа «Алина и Валькур» — обе добродетельны, обе любят своих мужей-либертенов, и обе погибают, став жертвами их коварства. Образцовые садические супруги...

Однако современники, прочитавшие эти повести, написанные в 1780-е годы, только в году 1800-м, когда де Сад уже был признан всеми автором «Жюстины», «Жюльетты» и «Философии в будуаре» (сам маркиз продолжал от них возмущенно отрекаться), быстро разглядели в них не восхваление добродетели, а апологию рока и темных человеческих страстей. Любопытный отзыв поместила газета «Journal de Paris». Бесстрастно оценив «Размышления о романе» и слегка похвалив исторические повести, автор заключил: «Новеллы» не лишены длиннот, кои следует отнести на счет буйного воображения автора. Последняя повесть сборника необычайно мрачная. Будь в нашем веке и в нашей стране побольше благонравия, подобные картины непременно ввергли бы души наши в бездну отчаяния. Но, надо полагать, автор понимал, что мрачный колорит еще долго будет окрашивать реальность нашу, и столь же долго реальность сия будет превосходить любой вымысел». Собственно, упрек не автору, а действительности...

Далеко не все были настроены благодушно к создателю «Преступлений любви». Журналист Вильтерк сразу же разглядел в них сочинения аморальные и развращающие, ибо в них всегда «ПОПИРАЕТСЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ» (выделено Вильтерком), и с возмущением отмечал, что автор не ограничивается одним преступлением, а старательно громоздит горы трупов, явившихся результатом наигнуснейших преступлений: инцеста, измены, необузданного разврата. Взывая к великим авторам — Руссо, Вольтеру, Мармонтелю, Филдингу и Ричардсону, Вильтерк риторически вопрошал: неужели и вам следовало описывать преступления, а не рисовать картины нравов? И тут же давал ответ: увы, прощайте, великие; вас больше не станут читать, ибо в ваших книгах матери не душат своих детей, дети не подсыпают яд матерям, а невинного человека не

пронзают картинно тринадцатью кинжалами. Рецензия Вильтерка настолько разозлила жаждавшего литературного признания де Сада, что свой ответ «Вильтерку, газетному писаке» он издал отдельной брошюрой. В ней он, как это было ему свойственно, не считая откровенно оскорбительных выпадов, обвинил оппонента сразу во всех грехах: этот невежда не прочел книгу, а уже приписал ему «аморальные сочинения», посмел рассуждать о статье «Размышления о романе», а сам ничего не понимает в литературе... Неужели Вильтерк не знает, что преступления — это тоже нравы, только нравы преступные? Впрочем, и в самом деле не знает, иначе разве стал бы он громоздить глупость на клевету? Словом, де Сад выпустил пар, Вильтерк ответил коротенькой заметкой, где написал, что от «ГРАЖДАНИНА ДЕ САДА» (выделено Вильтерком) иного ответа и не ожидал, и полемика заглохла.

Примерно в одно время с «Преступлениями любви» были написаны короткие истории, составившие сборник «Короткие истории, рассказы и фавлю», изданный в 1927 году: двадцать шесть историй сборника были подобраны по принципу сохранности текстов. Согласно записным книжкам, маркиз готовил к изданию несколько сборников рассказов, но успел издать только один — «Преступления любви», рассказы же в духе Боккаччо, забавные анекдоты о мужьях-рогоносцах, доверчивых провинциалах и сластолюбивых священниках (один из сборников де Сад даже хотел назвать «Французский Декамерон») при жизни автора остались неопубликованными, и часть из них утеряна.

Помимо «Ста двадцати дней Содомы» не предназначался для печати и «Диалог священника с умирающим», написанный в 1782 году в Венсене и впервые опубликованный в 1926 году. В диалоге умирающий, апеллируя к природе, убеждал священника, явившегося исповедать его, в том, что человек «не нуждается ни в религии, ни в Боге», а единственно в добром сердце. Убежденный материалист, умирающий требовал от священника рационального доказательства существования Бога, ибо природные следствия объясняются природными причинами, а если «Бог сам по себе нуждается в объяснении... следовательно, Бог излишен». Излагая постулат о небытии (впоследствии об этом не раз будут рассуждать маркизовы либертены), он забивал одну из опорных свай для фундамента здания садической философии: «В мире ничто не погибает и не разрушается. Сегодня ты — человек, завтра — червяк, послезавтра — муха. Разве это не означает существовать вечно?» Победив в философском диспуте, умирающий в нарушение всех традиций приглашает женщин и предлагает священнику разделить с ним его последнюю радость. И «уже через краткое

время пребывания проповедника в их руках природа празднует свою победу над ним», — завершает автор свой пылкий антиклерикальный диалог.

Чем дольше маркиз пребывал в заключении, не зная, когда настанет час его освобождения, тем сильнее кипели в нем возмущение и обида на весь мир, к которым прибавлялись проблемы сексуального характера, переживавшиеся им крайне остро. Занятия литературным трудом были для него своего рода отдушиной — ускоряли бег времени, позволяли сохранять живость мысли и воображения. Наибольшей продуктивности де Сад достиг в Бастилии — «Сто двадцать дней Содома» были начаты «22 октября 1785 года и завершены ровно через тридцать семь дней». Однако замысел скорее всего зародился гораздо раньше, возможно, уже в Ла-Косте, во время его собственного «садического эксперимента». И не исключено, что «листочки», которые стремилась и одновременно боялась найти в замке мадам де Монтрей, как раз и были первыми черновыми набросками будущего «дьявольского» романа. Во всяком случае, рассматривая отрывок, в котором маркиз де***, узнав о том, что его казнили заочно, радостно кричит: «Ах, какая пакость, какое бесчестье, дайте же мне скорее спустить!», многие подчеркивают биографический характер данного эпизода. Узнать о вынесенном тебе приговоре и в честь этого совершить извержение — поступок вполне в духе садических персонажей-либертенов. Де Сад никогда не упускал возможности посмеяться — по-своему.

Полагают, что сочинять «Сто двадцать дней Содома» де Сад начал ради сохранения здоровья — как умственного, так и физического. Погружаясь в фантазматический мир причудливых эротических видений, он освобождал от них свою плоть и одновременно изощрял ум, изливая на бумагу самые невероятные способы мучений, придуманные его либертенами для своих жертв. Вспыльчивый, капризный, он вполне мог воображать на месте безликих жертв своих врагов. Разумеется, де Сад был искренен, когда писал: «Я либертен: я замышлял все, что можно замышлять в моем положении, но я, разумеется, исполнил далеко не все, что замыслил. Я либертен, но не преступник и не убийца». Своевольный и несдержанный, он не обладал бесстрашием своих персонажей, а потому мог нафантазировать любую страшную месть — именно нафантазировать. Диктат разума господствовал в философических рассуждениях маркиза, его либертены были хладнокровны и рассудительны, но сам маркиз часто напоминал пороховую бочку и действовал не раздумывая. Размышления начинались потом, и вывод всегда был один: «я делал то, что делают другие, и за свои поступки ответственности не несу, потому что на них

меня неумолимо толкал мой темперамент»; «дорога добра, на которую меня постоянно хотели направить, противна природе, коей должно следовать; человек не вправе судить другого человека, ибо те, кто судят, чаще бывают хуже осужденных, а наказание, которое не исправляет, хуже преступления».

В напряженном письме «Ста двадцати дней» присутствует нагнетание отвратительного — словно каждой страницей де Сада стремился доказать несправедливость своего наказания и бессмысленность своего заключения, ибо никакое заключение не заставит его отказаться от своих фантазий, а, напротив, лишь приумножит их и сделает окончательно неприемлемыми для общества. И ему блестяще это удалось: написан роман, нарушающий все языковые запреты, сложившиеся за долгую историю культурных традиций общества. Классическим литературным языком описаны отправления, которые согласно устоявшейся традиции люди совершают в скрытом от посторонних взоров пространстве. А так как роман, собственно, и посвящен детальному описанию этих процессов, ибо только в них — разумеется, наряду с преступлением — содомские либертены находят удовольствие, то текст производил действительно отталкивающее впечатление. Но маркиз не намеревался нравиться читателю, наоборот, он делал из него свою жертву. И в отличие от бессловесных жертв садических либертенов читатель оказался злопамятным и не простил де Саду не столько апологию преступления, сколько создание текста, невозможного для произнесения. И хотя роман стал достоянием общности только в XX веке, первые читатели, воспринявшие его на уровне референции, определили его как каталог сексуальных извращений. Тем более что примерно за два десятка лет до публикации «Ста двадцати дней Содома» вышла книга немецкого врача-психиатра Крафта-Эбинга «Половая психопатия» (1886), в которой примеры сексуальных отклонений совпадали с «фантазиями» либертенов де Сада. Только работы последних десятилетий убедительно показали, что читать «главный» роман маркиза следует на уровне смысла, тогда постоянная гиперболизация действительно переходит в разряд черного юмора. «Я уважаю любые вкусы, любые фантазии, — писал маркиз в одном из писем, — сколь бы прихотливы они ни были, и считаю, что все они достойны уважения не только потому, что мы над ними не властны, но и потому, что самая странная и самая невероятная фантазия, когда в ней хорошенько разберешься, всегда проистекает из утонченности». А утонченности знатному аристократу де Саду было не занимать.

По построению роман напоминает «Декамерон» или сказки «Тысячи и одной ночи» (рассказчицы каждый день услаждают либертенов своими

историями), а по содержанию — утопию. В изолированном от внешнего мира замке либертены устраивают маленькое государство, где они являются верховными правителями, их рассказчицы и надсмотрщицы — своего рода старейшинами-управителями, слуги — неприкосновенными рабами, в жизни замка не участвующими, а очаровательные юноши и девушки — жертвами, предназначенными для исполнения прихотей либертенов. В замке Силлинг все регламентировано, вся жизнь осуществляется под суровым надзором правителей и старейшин и согласно строгому распорядку, соблюдение которого обязательно для всех, в том числе и для правителей. Но если утопии Морелли или Кампанеллы были устроены для создания благ для общества и члены их воспроизводили некий продукт, в салической утопии не создается ничего, она устроена только ради услаждения правителей. Это своеобразная затратная, самоуничтожающаяся утопия: в ней поглощаются ресурсы, завезенные в замок, амортизируются тела либертенов и их жертв, растрачивается сперма и экскременты (которым не дают превращаться в «золото», так как они потребляются на месте). Если довести пребывание членов этой утопии в отрезанном от «большой земли» замке до логического конца, то им станет полное самоуничтожение — не выживет никто. Целью любых действий либертенов является получение наслаждения, включающего в себя две составляющие: эротический акт и его теоретическое обоснование; акт связан с нарушением запретов и уничтожением других индивидов (преступление против закона сохранения вида) и никогда не подразумевает воспроизведение вида (преступление против закона воспроизведения вида). Салическая утопия (как, впрочем, и любая другая) может существовать только при сохранении *status quo*, и прежде всего в том, что касается ее членов: жертвам надлежит быть инертными и бессловесными, либертенам — богатыми, чтобы иметь возможность отгородиться от мира, и философами, дабы исследовать тончайшие нюансы процедуры (ритуала) наслаждения. Нарушение кем-либо из обитателей салической утопии установленной иерархии выйдет за рамки системы, и стройное здание, выстроенное исключительно умозрительно, рухнет.

Подзаголовок романа — «Школа либертинажа» вписывался в характерные для того времени сочинения: например, «Школа нравов, или Последствия либертинажа». Эпоху Просвещения отличало желание поучать и наставлять. А Ретиф де ла Бретон в романе «Господин Николя» даже заявил, что читал в рукописи вторую часть романа де Сада под названием «Теория либертинажа». Исследователи полагают, что, вероятнее всего, Ретифу удалось раздобыть часть (или черновик?) последнего,

сожженного романа де Сада под названием «Дни в замке Флорбель»; но об этом романе мы будем говорить ниже. Зато прочесть в «Парижских ночах» Ретифа подлинную историю о некоем обществе из четырех человек, проживавших в разных кварталах города и каждый триместр обменивавшихся женами, де Сад мог вполне и, подхватив идею, основать свою содомскую утопию на магической цифре четыре (четыре: времени года, телесных тумора, стороны света, первоэлемента, темперамента...). Для пополнения растраченного за годы заключения эротического багажа он наверняка прочел «Записки об “Отель дю Руль”» (известный парижский публичный дом времен Казановы и де Сада), а изощренные пытки жертв подсказали ему книги Корнелия де Пау об американских аборигенах и Жака Никола Деменье об обычаях и традициях дальних народов. Короткая поэма «Истина» и столь же краткий авторский комментарий к ней, написанные около 1787 года и опубликованные в 1961 году, можно назвать своеобразным резюме «Диалога» и «Ста двадцати дней». В поэме, сконцентрировав всевозможные отрицательные эпитеты, автор с присущим ему темпераментом поносит Бога, затем объясняет, какой вред наносит человеку вера в него, потом возносит хвалу природе и призывает следовать внушенным ею страстям (инцесту, содомии, убийству, насилию и так далее) и, наконец, обрушивается на глупые законы, пытающиеся воздвигнуть преграду на пути тех, кто подчиняется великой природе, и объясняет, почему преступны именно служители этого закона. «Так предадимся же всем страстям, что внушает нам природа, — пишет он в комментарии, — и будем счастливы. Какое нам дело до мнения других людей: оно всего лишь результат людских предрассудков! И не следует бояться совести, ибо мы всегда можем смягчить ее: постоянно предаваясь страстям своим, мы заставим ее молчать, а вскоре она сама станет расценивать поступки наши как величайшее удовольствие. Совесть не является органом, данным нам от природы; не стоит заблуждаться, она всего лишь один из предрассудков, а посему его нетрудно победить». Чем больше люди убивают, разрушают, портят, тем более дороги они природе, поэтому тот, кто хочет быть полезен природе, должен «разрушать или препятствовать рождению». Встать на пути у преступления означает нанести оскорбление законам природы, стремящейся исключительно к преступлению. А потому давайте подражать «содомитам, убийцам, детоубийцам, поджигателям, мастурбаторам». Конспективно, ясно, зло, без намека на иронию, в жанре аксиомы. На фоне этого коротенького текста многотомные философские романы Сада кажутся его развернутыми иллюстрациями.

Еще одно произведение, написанное де Садом в заточении (между

1785 и 1788), — философический роман в письмах «Алина и Валькур» (72 письма), изданный практически через десять лет после написания — в 1795 году. К тому времени де Сад несколько переработал его в «духе времени», попытавшись сделать визитной карточкой собственной благонадежности. Роман изначально создавался «для печати», поэтому, несмотря на присутствие «вечных» садических тем (либертинаж, инцест, каннибализм, атеизм), в нем нет яростного прозрачного языка, присущего «Ста двадцати дням Содома» и остальным «анонимным» сочинениям, так что появление его не вызвало скандала. Но и успеха, на который рассчитывал автор, роман также не снискал, и энциклопедическая эрудиция де Сада, в сущности, осталась незамеченной. Причина здесь, скорее всего, в том, что роман, написанный до революции, был издан уже после ее завершения, когда многие проблемы, волновавшие общество, коренным образом изменились. Свою роль не могли не сыграть также изрядные длинноты и общая рыхлость романа, невыразительность главных его персонажей, имена которых вынесены в название.

Дочь председателя Бламона Алина любит Валькура, но ее либертен-отец сам имеет на нее виды, а потому хочет выдать ее замуж за своего приятеля-либертена Дольбура. Мадам де Бламон выступает защитницей дочери, однако, будучи добродетельной и набожной, не считает себя вправе перечить мужу и только пытается оттянуть неприятную минуту. В конце концов Бламону надоедает препятствие в лице супруги, он отравляет ее, увозит Алину и назначает день свадьбы. Алина убивает себя кинжалом, Дольбур раскаивается, председатель скрывается, Валькур чахнет от тоски.

В романе имеется вставной эпизод, занимающий едва ли не половину всего объема повествования — история Леоноры и Сенваль, представляющая гораздо больший интерес с точки зрения и выразительности персонажей, и занимательности, и философских рассуждений.

Леонора и Сенваль пожелали соединить свои сердца и руки против воли родителей. Сенваль выкрадывает Леонору из монастыря, юная чета бежит в Венецию, там Леонору похищают пираты и увозят в неизвестном направлении. В поисках друг друга влюбленные претерпевают множество приключений, судьба забрасывает их то в Африку, на континент, считавшийся со времен античности «обиталищем чудовищ», то в Испанию, страну инквизиции, ловких мошенников и цыган. В конце концов они обретают друг друга, а Леонора даже находит свою настоящую мать, которой оказывается мадам де Бламон. Леонора — наиболее энергичный и самостоятельный персонаж «Алины и Валькура». Как можно заметить по

названиям, главными действующими лицами у де Сада чаще всего выступают женщины; пожалуй, только в «Ста двадцати днях Содома» главными персонажами являются мужчины. Леонора наделена основным садическим достоинством — неверием, она умеет обратить себе на пользу любую ситуацию, и если бы не любовь к Сенвалю, из нее наверняка получилась бы образцовая либертенка. Леонора — предшественница Жюльетты. Несмотря на всевозможные испытания, она хранит верность Сенвалю, но ее верность не множит ее несчастья, как множатся несчастья Жюстины из-за ее приверженности к добродетели, Сенваль значительно более сентиментален, чем его возлюбленная; сюжет строится так, что Сенваль, даже оказавшись в двух шагах от Леоноры, не может отыскать ее и едет дальше, навстречу новым приключениям.

В романе щедрой рукой рассыпаны зерна сентиментализма, эротизма, авантюризма, ужасов, каннибализма, описаний далеких экзотических земель, в нем имеются ссылки на труды по истории и естественным наукам. Известно, что для описания Испании и Португалии де Сад прочел массу книг, доставленных по его заказу Рене-Пелажи, в том числе «Путешествие вокруг света» капитана Луи Антуана Бугенвиля, и очерки о плавании капитана Джеймса Кука. В XVIII веке великие географические открытия уже были в прошлом, но на океанских просторах все еще было разбросано немало неизвестных островов, и там мореплаватели, озаренные идеями Просвещения, надеялись найти не только золото, но и идеальный общественный строй. В поисках путей создания справедливого общества измышлялись утопические системы, где каждый шаг их счастливых обитателей был просчитан заранее. Например, в утопическом государстве, представленном Этьеном Габриэлем Морелли в его труде «Кодекс природы, или Истинный дух ее законов» (1755) жизнь граждан с пятилетнего возраста переходила под контроль общества, определявшего, какую кому носить одежду, каким ремеслам учиться, когда и с кем вступать в брак; было даже предписано, в каких науках допускается вольнодумство и игра ума, а в каких — строго воспрещается. Списки наук, искусств и ремесел, разумеется, также определялись государством, вводившим специальные науки, изучать которые были обязаны все, дабы научиться не впадать в заблуждения и не предаваться пустым мечтаниям. С двадцати до двадцати пяти лет каждый житель государства Морелли должен был трудиться в сельском хозяйстве.

Многим казалось, что счастье можно обрести только вдали от пороков цивилизованного общества, в условиях «естественного состояния», на лоне природы, где не властны ни честолюбие, ни стяжательство. В обществе

«естественных людей» (иначе говоря, аборигенов, дикарей) все равны, все живут собственным трудом и повинуются велениям сердца. Поэтому изданный в 1787 году сентиментальный роман Бернардена де Сен-Пьера «Поль и Виргиния», в котором влюбленные переживают идиллию на фоне пышной африканской природы и погибают, вернувшись в цивилизованный мир, сразу завоевал огромный читательский успех. Увлечение Марии-Антуанеты играми в пастушков и пастушек создало моду на «простую жизнь» на лоне природы. Но в реальном мире дела обстояли иначе. От тяжкого труда и поборов крестьяне рвались в города, где становились жертвами развращенных нравов. Ретиф де ла Бретон показал этот процесс в одном из лучших своих романов — «Совращенный поселянин». Аборигены далеких земель не всегда были дружелюбны к пришельцам: всем известный капитан Кук был съеден туземцами Гавайских островов. Нравы «детей природы», в том числе и в отношениях между полами, также были не слишком совершенны и нередко шокировали даже выдавших виды матросов. Абориген, доставленный, по словам капитана Бугенвиля, с острова Киферы ко двору Людовика XV, был примечателен только тем, что готов был любить белых женщин в любое время и в любом месте. А жестокие пытки, которым американские индейцы подвергали своих пленников, де Сад заимствовал для своих «ужасных» романов. Так кто же он, «природный человек», — страшный каннибал, которого разумное общество должно цивилизовать, или, наоборот, образец для подражания?

Де Сад не остался в стороне от этой полемики, и в «Истории Леоноры и Сенваля» вывел две туземные утопии, одной из которых — Бютуа, расположенной в дебрях Африки, правит ужасный каннибал Бен Маакоро, а другой, раскинувшейся на острове Тамоз, — философ и вегетарианец Заме. Подданные людоеда Бен Маакоро, почитающие кровожадное божество с телом змеи и рогами козла, употребляют в пищу побежденных врагов, нищих, преступников, тех, кто не имеет средств к существованию, но при случае могут съесть и соседа. (Женщин не едят — вкус неважный.) Женщины исполняют всю тяжелую работу, к ним относятся как к рабочему скоту; особенно плохо обращаются с теми, кто ждет ребенка, ибо к рождению относятся отрицательно, поощряют содомию и прочие плотские удовольствия, не приводящие к воспроизводству себе подобных. Злобное гибридное божество требует человеческих жертв, равно как и забавы правителя, содержащего гарем из двенадцати тысяч женщин. Гарем пополняют соседние племена — данники Бен Маакоро.

Мадам де Сад, первой прочитавшая рукопись, так отозвалась о царстве короля-людоеда: «Обычаи и традиции этих народов, их отношение к своим

женщинам и детям, деспотизм старейшин и монарха известны и описаны у многих авторов, и они доказывают, что цивилизация необходима человеку для его же счастья». К сожалению, ответ де Сада на отзыв супруги неизвестен.

Подданные Заме поклоняются Солнцу, в государстве царит равенство, вегетарианство, никто никому не завидует, так как все живут в одинаковых условиях, нет ни воровства, ни нищенства, институт развода уничтожил адюльтер, общество взяло на себя воспитание детей, устранив почву для раздоров между поколениями. Карательного законодательства не существует, ибо правитель старается устранять сами причины совершения преступлений. Редких преступников наказывают общественным презрением, убийц — изгнанием или работами, полезными для родственников погибшего. Главное в наказании — его наглядность, нарушитель постоянно находится на виду, его не изолируют от общества.

Истинную позицию де Сада, заключавшуюся в софизме: «Никто не вправе руководить поступками другого» и замаскированную пространными рассуждениями Заме, заметила мадам де Сад и в своем отзыве написала: «Конечно, народ Заме — само совершенство, и ему не нужны ни судьи, ни законы. Так как судьи и священники являются людьми, у них есть страсти, и они ими злоупотребляют, но злоупотребление лиц не делает дурным институт. Зло исходит от человека, потакающего своим страстям, вместо того чтобы исповедовать добродетель, как это ему пристало по занимаемой им должности. Вот какой прекрасной максимой должен был бы руководствоваться Заме: “Я хочу иметь руки связанными для сотворения зла и свободными для сотворения добра”».

Несмотря на внешние различия, оба государства пугающе похожи, оба инкапсулированы сами в себе. В обоих живут за счет натурального хозяйства, дети воспитываются обществом, а не семьями, науки и искусства либо развиты слабо, либо не развиты вовсе. И оба оторваны от внешнего мира, точнее, поддерживают с ним односторонние отношения. На Тамоэ приплывают с соседних островов и привозят товары для обмена, но сами жители остров свой не покидают. Бютуа окружено непроходимыми лесами, где водятся хищные звери, неведомые чудовища и живут племена, составляющие пищу каннибалов. Политика и экономика каннибалов из Бютуа неукоснительно ведет к сокращению населения: они буквально поедают самих себя. Замкнутый мир обитателей Тамоэ также рухнет при первом же вторжении извне, ибо правитель устранил причины не только преступлений, но и прогресса и совершенства, ограничив и производственную, и культурную активность своих подданных. И вновь у

автора выстраивается замок Силлинг, обреченный на гибель при нарушении системы или окончательном разрыве связей с внешним миром.

Общество, приближенное к идеальному, находит Леонора — когда попадает в огромный цыганско-разбойничий табор, во главе которого стоит философ Бригандос, «враг Господа, служитель дьявола и друг чужой собственности», строящий отношения среди своих подданных не на правилах, а на согласии. В общине Бригандоса поклоняются дьяволу, и Леонора, с детства питавшая отвращение к религии, с удовольствием выполняет требование отречься от Бога и принять веру в дьявола. Разбойники служат природе и исполняют все ее законы. Поощряется кража, ибо она устанавливает равенство, отнятое у людей несправедливыми законами, одобряется инцест, как изначальная форма сексуальных отношений, преступление дозволено, ибо оно не противно законам природы. А в целом подданные Бригандоса вполне порядочные люди и всегда готовы прийти на помощь униженному и оскорбленному. Наверное, де Сад очень смеялся, когда соединял несоединимое: преступление и добродетель. Работая над «Алиной и Валькуром», де Сад создавал просвещенческий роман, вкладывая в него свой «образ мыслей», но сохраняя при этом «величайшую пристойность выражений», ибо, как говорил один из персонажей романа, «таким образом можно рассказать обо всем».

Узники Венсена, Бастилии, других привилегированных крепостей не расставались с верным своим оружием — пером. В заточении не переставали писать ни Вольтер, ни Дидро, на волю передавал предназначенные для печати листы Мирабо. Нередко распространению написанных в тюрьме сочинений способствовали сами полицейские. За продажу конфискованной запрещенной литературы был арестован полицейский инспектор, возглавлявший налет на Ла-Кост. Де Сад знал об этом, но не знал, что бывший его недруг повесился у себя в камере. Наверное, де Сад, если бы захотел, мог бы с помощью Рене-Пелажи, еще сидя в тюрьме, напечатать кое-что из своих сочинений. Но подобных попыток он не делал, возможно, готовился сразу издать несколько солидных томов. Он даже начал составлять каталог своих сочинений. И если бы после выхода из тюрьмы де Сад больше не сочинил ни строчки, он уже вошел бы в историю мировой литературы как писатель и философ.

А сколько было сделано выписок для новых сочинений, набросков и планов! Одна из его заметок 1780 года относится к Гоффриди. «Имя Гоффриди всегда было именем предателей, — заявляет он и продолжает: — В 1648 году министром при герцоге Пармском состоял некий Гоффриди, который

продал своего господина и страну испанцам, а позднее нанес огромный ущерб Франции, помешав маршалу Праслену прибыть на осаду Кремоны. Однако несчастный недолго наслаждался плодами своего преступления и вскоре погиб на эшафоте». Де Сад не пишет, что его управляющего зовут Гоффриди (фамилия не самая редкая во Франции), но, зная вспыльчивый характер маркиза, можно предположить, что написаны эти строки были в период очередного недовольства именно Гаспаром Франсуа Ксавье Гоффриди. Тем более что литературной мстью он уже годом раньше угрожал своей теще. «Немного бумаги, немного чернил и несколько подкупленных мошенников — это все, что мне понадобится. Мне не нужны будут полиция или министерства. Несколько живых и ясных воспоминаний, чуть-чуть денег и издатели в Гааге», — заявлял он в письме к Рене-Пелажи. Многоликий, талантливый, несчастливый маркиз де Сад, кожей ощутивший величие пугающей власти слова, после падения Бастилии и перевода в Шарантон оплакивал свои рукописи, не подозревая, какие потери ждут его впереди.

*

Рукописи в основном нашлись, а самой большой потерей де Сада стала Рене-Пелажи. Безмерно уставшая, напуганная революционным кипением и выплеснувшимся наружу атеизмом, она восприняла происходящее как крушение всех своих надежд. Беззаветно помогая супругу переносить тяготы заключения, она в глубине души надеялась, что, быть может, когда-нибудь сумеет обратить Донасьена Альфонса Франсуа к Богу. Ведь обратился же в конце концов к Господу его отец! Спасение от нарастающей бури Рене-Пелажи видела только в вере, тем более что проживание в монастыре лишь укрепило ее в исполнении религиозных обрядов. Если прежде ей приходилось противостоять все возраставшему буйству Донасьена Альфонса Франсуа (во время их кратких свиданий в Бастилии он даже набрасывался на нее с кулаками), то теперь буйствовал весь окружающий ее мир. Затворившись в обители, она прекратила писать супругу, а когда де Сад велел ей вновь отправиться в Бастилию на поиски пропавших вещей, наотрез отказалась исполнить его повеление. Постепенно в ней вызревало решение подать в суд прошение о раздельном проживании с де Садам.

Де Сада освободила революция, но не 14 июля, а 16 марта 1790 года, когда Национальное собрание приняло декрет, согласно которому все

тайные королевские приказы, повлекшие за собой ссылку и иные наказания, были отменены навсегда, а арестованные на основании этих приказов были вольны «идти куда им угодно». Через два дня после принятия декрета сообщить эту долгожданную новость к маркизу прибыли оба его сына — Луи Мари и Клод Арман. Они передали ему пожелания счастья от их бабушки мадам де Монтрей. Впрочем, провожая внуков на свидание с отцом, она выразила сомнение в том, может ли зять ее в принципе быть счастливым. Прекрасно изучив его характер, она знала, что он принадлежал к тем людям, которые не благодарили судьбу за то хорошее, что она им давала, но упрекали ее за то, что она им не дала. Так как формулировка нового декрета позволяла при наличии веских причин оставить узника в заточении, Председательша всерьез обдумывала, какие можно отыскать обстоятельства, чтобы задержать маркиза там, где он был, а еще лучше — отправить его куда-нибудь подальше и где стены повыше. Но революции было не до маркиза, тем более что де Сад не только щеголял званием «узника деспотизма», но и считал себя причастным к падению Бастилии.

2 апреля 1790 года Донасьен Альфонс Франсуа де Сад вышел из Шарантона на свободу.

Глава VIII.

ТЕАТРЫ ГРАЖДАНИНА САДА

Итак, долгожданная свобода. Наконец-то Донасьен Альфонс Франсуа мог идти куда угодно, делать все, что ему угодно, начинать новую жизнь, о которой он мечтал с самого первого дня своего заключения. Однако восторг быстро сменился растерянностью. Попав в заточение в одном государстве, он вышел на свободу в другом. На первый взгляд вроде все было как прежде, но и таявшие с каждым днем стены некогда неприступной Бастилии, и королевские указы, подписанные «Людовик, милостью Божьей и Конституции король французов» (а впереди еще король «милостью нации»), свидетельствовали о глубоких переменах, произошедших за время пребывания де Сада в тюрьмах абсолютизма. Революция свершилась и набирала обороты.

Немного истории: на разборе Бастилии было занято восемьсот рабочих; камни от стен крепости были использованы для фундаментов домов, строительства мостов и даже на украшения: парижские модницы носили кольца, серьги и колье из отполированных мелких осколков камней бастильских стен.

Создана Национальная гвардия — вооруженная сила революции, во главе которой стоял маркиз де Лафайет, герой борьбы за независимость американских колоний. Национальное собрание приняло на себя функции собрания Учредительного; большую часть его депутатов пока составляли сторонники конституционной монархии.

Была принята Декларация прав человека и гражданина, первая статья которой гласила: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Неотчуждаемыми правами человека и гражданина провозглашались свобода личности, свобода слова, свобода совести. Семнадцать статей Декларации вылились в чеканный лозунг революции: «Свобода, равенство, братство», в котором маркиза де Сада (как, впрочем, и гражданина Сада) устраивала только первая его часть. Принятая Декларация об отказе дворянства и духовенства от феодальных привилегий также вряд ли была встречена им с восторгом: крупный землевладелец де Сад не терпел ущемления своих прав сеньора даже со стороны короля. Было проведено решение об испытании новой «машины для казни», названной гильотиной по имени ее изобретателя доктора Жозефа Игнация

Гильотена. Продукт рациональных технологий сочли более «гуманным» и постановили казнить преступников посредством гильотины. Этот механизм был сооружен «для использования» весной 1792 года.

5 октября 1789 года начался поход на Версаль; огромная толпа народа, главным образом женщин, презрев грязь и слякоть, двинулась к резиденции короля. Шествие возглавила «амазонка революции», бывшая актриса и содержанка, красавица Теруань де Мерикур, преподавшая де Саду первые уроки «политпросвета». В политику Теруань толкал бурный темперамент и желание встать вровень с мужчинами. 10 августа 1792 года, когда она вместе с восставшими парижанами шла брать Тюильри, она увидела журналиста-роялиста Сюло, опубликовавшего о ней целый ряд грязных статей, и — по одним источникам — в упор застрелила его, по другим — отсекла ему голову, а по третьим — выдала разъяренной толпе, которая без промедления разорвала его на куски. Есть предположения, что Теруань принимала участие в сентябрьской резне 1792 года в Париже, но они отвергаются большинством исследователей.

В 1790 году Теруань жила в той же гостинице, где поселился бывший «узник деспотизма» гражданин Сад. Неординарные личности познакомились, но свелось ли их знакомство только к дружескому «политпросвету» или же отношения вылились в нечто большее, неизвестно. Через много лет один из современников де Сада, присутствовавший на обеде у директора шарантонской лечебницы Кульмье, услышал, как маркиз заявил, что Теруань де Мерикур была единственной женщиной, которую он по-настоящему любил. Во всяком случае, он всегда отзывался о ней с восторгом и вполне мог наделить некоторыми ее чертами свой главный женский персонаж — Жюльетту. Но только некоторыми, ибо испытания «главным удовольствием» либертенгов, а именно розгами, Теруань не выдержала: когда в мае 1794 года разъяренная толпа «вязальщиц», или, как их иногда называли, «женской гвардии Робеспьера», схватила ее и, обвинив в защите жирондиста Бриссо, высекла розгами, рассудок у нее повредился. Умерла она в 1817 году в приюте для умалишенных.

Среди врачей, лечивших Теруань, был знаменитый психиатр Эскироль, чей доклад о спектаклях маркиза де Сада с участием пациентов шарантонской лечебницы послужил одним из поводов запрета этих спектаклей. По мнению Эскироля, некоторые спектакли действительно могли действовать успокаивающе, но терапевтический эффект их Эскироль полностью отрицал. Возможно, для образа Жюльепы де Саду больше подошла бы Олимпия де Гуж, которая активно выступала за равноправие

женщин, была автором «Декларации прав женщины и гражданки» (1791), десятая статья которой гласила: «Никто не должен быть наказан за свои убеждения. Если женщина имеет право взойти на эшафот, она должна иметь право подняться на трибуну». Подняться на трибуну женщинам не позволили, а Олимпию в числе многих других женщин в 1793 году отправили на гильотину.

Прежде чем идти дальше, скажем несколько слов о розгах, обладавших для де Сада едва ли не сакральным значением. Во время революции наказание розгами стали проводить публично и оно приобрело оскорбительный характер. Революционными жертвами публичных порок часто становились неугодные толпе аристократки или монахини. Бывали случаи, когда орава рыночных торговек врывается в женские монастыри, оскорбляла сестер-монахинь, гонялась за ними с розгами и нещадно их избивала. Из орудия наслаждения розга превращалась в орудие позора.

*

Больше всего де Сада наверняка порадовала свобода печати: в 1790 году в Париже вместо двух десятков газет, существовавших до революции, издавалось уже четыреста. В этом же году был отменен институт наследственного дворянства и все связанные с ним титулы, и маркиз с гордостью присвоил себе звание «литератор», получить которое он стремился уже давно. Тем более что никто толком не мог сказать, какими талантами должен быть наделен носитель сего звания. К примеру, можно ли так было назвать некоего Дравеньи, написавшего за пять революционных лет более ста сорока патриотических пьес? Скорее, сей господин должен был удостоиться звания графомана. Де Сад с полным правом взял себе почетный титул литератора: его рабочий стол был буквально завален сочинениями, написанными великолепным литературным языком, в дружбе с которым состояли далеко не все новоиспеченные «литераторы».

Вопрос с самоопределением в новом обществе был решен, но прочие проблемы, и прежде всего бытовые, стояли перед Донасьеном Альфонсом Франсуа во всей их остроте. Де Сад вышел на свободу пятидесятилетним стариком, грузным, обрюзгшим, с одутловатым лицом. По его собственным словам, он «из-за отсутствия физических упражнений настолько растолстел, что даже передвигался с трудом». Но несмотря на полноту, на одолевавшие его мигрени, ревматизм, слабость зрения и многие другие

недуги, ум его был ясен, а в минуты хорошего настроения он с иронией называл себя «самым толстым человеком» в Париже. Именно таким предстает де Сад на портрете, который создал в тридцатые годы XX века известный американский фотохудожник Мэн Рэй: грубо высеченный могучий профиль маркиза вырисовывается на фоне охваченной пламенем Бастилии.

Первым пристанищем на свободе стал для де Сада дом его бывшего парижского поверенного Милли, адрес которого ему еще в Шарантоне сообщила Рене-Пелажи. Супруга де Сада также растолстела, страдала одышкой и редко выходила из монастыря Сент-Ор. Поначалу де Сад хотел поселиться там вместе с ней, но Рене-Пелажи в краткой записке отказала ему и сообщила, что подает прошение в суд о раздельном проживании. Разговаривать с Донасьеном Альфонсом Франсуа она отказалась наотрез. После двадцати семи лет преданного служения капризному и часто неблагодарному супругу Рене-Пелажи решила общаться с ним только через своего поверенного. Скорее всего, она боялась вновь попасть под влияние его непостоянной натуры: когда де Сад хотел, он прекрасно исполнял роль обаятельного обольстителя.

Сообщение о разрыве не произвело впечатления на Донасьена Альфонса Франсуа: он был уверен, что это всего лишь очередная причуда, очередной тихий протест, который, как всегда, ни к чему не приведет. Но если, пребывая в тюрьме, де Сад на любое роптание отвечал вулканическим извержением гнева, теперь он решил смолчать, понимая, что развод неминуемо повлечет за собой раздел имущества и выяснение денежных отношений. Денег у него не было, а он крайне в них нуждался. Первый заем, чтобы расплатиться с милосердными братьями и кое-как обустроиться, пришлось сделать у мадам де Монтрей — кто еще в революционном Париже мог ссудить крупной суммой «узника деспотизма»? Друзей у него в столице не было, а официальные власти были не склонны швыряться деньгами. К примеру, когда в марте 1791 года к ним обратился Латюд, и, утверждая, что умирает с голоду, потребовал десять тысяч франков компенсации за годы, проведенные в тюрьмах абсолютизма, ему было отказано под предлогом того, что он состоял в переписке с мадам Помпадур — то есть «пресмыкался перед куртизанкой». Конечно, у де Сада был источник доходов — его имения в Провансе, и он немедленно написал Гоффриди, прося срочно прислать ему денег. Возможность обратиться с такой просьбой к управляющему наверняка доставила маркизу немало удовольствия — он вновь получил право распоряжаться собственным имуществом! Но пока письмо и надлежащие бумаги о его освобождении

дошли до Гоффриди, пришлось вновь обращаться к теще.

После гостиницы Донасьен Альфонс Франсуа снял квартиру у своей дальней родственницы, очаровательной сорокапятилетней умницы Маргариты Фаяр Дезавеньер. Она была вхожа в театральные круги (ее пьеса «Полина» была принята к постановке «Комеди Франсез») и не возражала ввести в них обаятельного родственника, грезившего о лаврах драматурга. Правда, постепенно к этим грезам все чаще присоединялась мысль о театральных сборах: гражданину литератору хотелось получать дивиденды с имевшихся у него рукописей. И основные свои надежды он возлагал на пьесы. Еще в Бастилии де Сад писал аббату Амбле: «Самая лучшая повесть зачастую имеет всего 200 читателей, в то время как самая слабая комедия (пьеса) собирает от четырех до пяти тысяч зрителей».

Однако для начала нужно было освоиться с новой жизнью. Для него она была вдвойне новой, так как за годы заключения он отвык жить на свободе. Если бы он освободился при Старом порядке, то, возможно, немедленно уехал бы к себе в Ла-Кост и за стенами любимой крепости вновь предался своим «фантазиям». Но ему подарил свободу новый мир, приспособившись к которому в пятьдесят лет было трудно, и особенно трудно было вновь выстраивать отношения с людьми. За время заключения де Сад привык к одиночеству и к созданному им собственному миру, который больше напоминал театр масок, чем подлинную жизнь. Легче всего ему давались отношения с женщинами, и, на его счастье, первыми его шагами руководили именно женщины: Теруань де Мерикур, Маргарита Фаяр Дезавеньер и очаровательная юная кузина Дельфина, супруга Станисласа де Клермон-Тоннер. Умеренный роялист, Клермон-Тоннер постепенно стал привлекать де Сада к участию в заседаниях клуба «Беспристрастных», созданного в противовес якобинскому клубу. Маркиз охотно общался со сторонниками ограниченной монархии, ибо не имел ничего против короля. Но возврата к Старому порядку не хотел — он слишком досадил ему.

В новой жизни Донасьена Альфонса Франсуа устраивало далеко не все. К примеру, он долгое время вынашивал мысль отправиться в Прованс и расшевелить «нерадивого» Гоффриди, который либо не присылал денег, либо присылал, но не столько, сколько хотелось бы де Саду. Но «великий страх», охвативший французскую провинцию после падения Бастилии, массовая паника, основанная на слухах о нашествии бандитов и убийц, грабежи и поджоги феодальных замков, не прекратившиеся после отмены феодальных повинностей, заставляли Донасьена Альфонса Франсуа постоянно откладывать поездку. Забегая вперед, скажем, что он отважится

совершить это путешествие только в 1797 году, после чего с грустью поймет, что его Прованс утерян безвозвратно, и у него впервые возникнет мысль о продаже Ла-Коста. Но пока его замку ничто не угрожает — может, потому, что он представляет собой незавидную добычу. А свои обязанности по отношению к сеньору крестьяне давно уже перестали выполнять — за отсутствием сеньора. Тем более что среди соседей де Сад слыл отнюдь не чудовищем, а всего лишь завзятым волокитой, не пропускавшим ни одной юбки, что в глазах деревенских жителей было делом житейским. Еще во времена устройства театра де Сад завязал приятельские отношения со многими жителями Ла-Коста, и теперь эти связи позволили ему сделать заем в пятнадцать тысяч ливров у одного из своих арендаторов. Свободная жизнь постепенно налаживалась.

Огромной ложкой дегтя в новой жизни маркиза де Сада стал развод с Рене-Пелажи, повлекший за собой раздел имущества, чего де Сад боялся больше всего, ибо согласно брачному договору он был обязан вернуть бывшей супруге ее приданое. Конечно, он немедленно обвинил мерзких Монтреев, и прежде всего гнусную змею тещу, сумевшую уговорить Рене-Пелажи на такой гадкий поступок. Мысль о том, что жена хотела спасти состояние семьи ради детей, ему в голову не приходила. Иначе ему пришлось бы признаться в своей привычке безрассудно тратить деньги, не думая ни о детях, ни о жене, ни о собственном будущем. Но он знал, что о детях и о жене всегда есть кому позаботиться, иначе зачем ему было жениться на дочери Монтреев? Положение спас управляющий Рейно, выступивший представителем интересов де Сада. Умный и рассудительный, Рейно уговорил мадам де Монтрей и мадам де Сад не требовать у Донасьена Альфонса Франсуа возврата приданого — денег у него все равно нет. Не сажать же его снова в тюрьму! И Рене-Пелажи согласилась получить в счет приданого ипотечное право на имущество, принадлежавшее ее супругу, при условии, что он станет выплачивать ей ежегодное содержание в четыре тысячи ливров. А после развода к главному управляющему Гоффриди полетело горькое сентиментальное письмо: «О, мадам де Сад! Какие изменения произошли в душе вашей! Какие ужасные изменения! Друг мой! Мой дорогой адвокат! Если бы вы только знали, сколь недостойно поступила со мной эта женщина!.. Пишу вам, а из глаз льются слезы. Более я ничего не могу сказать». Однако Донасьен Альфонс Франсуа недолго оплакивал свою участь: он понял, что у Рене-Пелажи не хватит ни сил, ни мужества требовать с него означенные четыре тысячи, а значит, их можно не платить. И он не выплатил их ни разу.

Переписка де Сада с Гоффриди — настоящий роман в письмах,

написанный гораздо более эмоционально, чем, к примеру, «Алина и Валькур». Кипевшие в личных посланиях маркиза негодование и обида в любой строчке могли смениться на ностальгию, отчаяние, лицемерие, лесть. Де Сад требовал, негодовал, рвал и метал, Гоффриди подолгу молчал, а потом пускался в пространные объяснения, почему он не смог прислать господину (гражданину) Саду требуемую сумму. Сад, которого никогда не интересовало хозяйство, возмущался: зачем ему знать, что что-то там сгорело, а что-то не выросло, что-то не продали, а баранов не успели остричь? Ксавье Франсуа Гоффриди — единственная ниточка, связывавшая его с Провансом, но, как и в отношениях с Ре-не-Пелажи, де Сад то и дело проверял эту ниточку на прочность. Де Сад и Гоффриди знали друг друга фактически всю жизнь, за это время отношения их переросли рамки отношений магнат — управляющий, и за этими рамками именно магнат не мог обходиться без своего управляющего.

Только Гоффриди де Сад мог адресовать из революционной столицы такие строки: «Вы спрашиваете меня, дорогой адвокат, каков мой образ мыслей, дабы вы могли следовать ему. Разумеется, вопрос сей далек от утонченности, и я, к величайшему своему прискорбию, вряд ли смогу правильно на него ответить. Прежде всего, будучи литератором, я здесь каждодневно обязан работать то на одну партию, то на другую, что порождает определенную подвижность моих мнений и, несомненно, влияет на мои внутренние убеждения». Только с ним он мог делиться своими политическими размышлениями: «Я против якобинцев, я их смертельно ненавижу; я обожаю короля, но ненавижу злоупотребления Старого порядка. Многие статьи Конституции мне нравятся, но многие приводят в возмущение. Я хочу, чтобы дворянству вернули его былой блеск, ибо лишение дворянства его привилегий не приведет ни к чему хорошему; я хочу, чтобы король был главой нации; я не хочу никакого Национального собрания, а хочу двухпалатный парламент, как в Англии, парламент, определенным образом ограничивающий королевскую власть, поддерживаемую нацией, непременно разделенной на два сословия; третье сословие (духовенство) совершенно бесполезно, я не сторонник его существования. Таков мой символ веры. Так кто же я теперь? Аристократ или демократ? Пожалуйста, адвокат, скажите мне, ибо я сам уже ничего не понимаю». Когда Гоффриди, который всегда придерживался монархических взглядов, был вынужден скрываться после неудачного участия в роялистском заговоре, де Сад ничтоже сумняшеся призвал его к себе в Париж, не думая о том, какой опасности подвергнется в столице заговорщик-управляющий. Но де Сад не имел привычки думать о ком-

либо, кроме себя, поэтому его порыв наверняка был искренним, и он действительно хотел сделать как лучше...

Переписка с Гофриди во многом была для де Сада такой же отдушиной, какой была его переписка с Рене-Пелажи. Он жаловался управляющему на потерю рукописей, на провал своих пьес, на жестокость супруги, на происки мадам де Монтрей — и одновременно упрекал его в шпионаже в пользу все той же мадам де Монтрей... Де Сад бесцеремонно выплескивал на управляющего все свои эмоции, чаще всего отрицательные, а когда ему требовались деньги, любой отказ или отсрочку воспринимал как заговор. Маркизу всегда казалось, что Гофриди недостаточно расторопен. Но именно рассудительность, неторопливость и нелюбовь к переменам сделали возможным сосуществование де Сада и Гофриди, хозяина и подчиненного, связанных мостиком из бумажных листочков-писем — как личных, так и деловых. Отношения вспыльчивого магната и флегматичного управляющего осложнялись еще тем, что долгое время на имущество де Сада был наложен секвестр, а из-за путаницы с именами снять его было крайне сложно. В один из дней, когда финансовое положение маркиза было действительно не блестящим, он, разозлившись, написал Гофриди оскорбительное и незаслуженно жестокое письмо. И у старого нотариуса (а Гофриди к этому времени было уже за семьдесят) лопнуло терпение: он в одностороннем порядке снял с себя тяжкое бремя управляющего имуществом де Сада. Когда маркиз остыл и осознал, что своим гневным выпадом лишил себя давнего друга, то направил управляющему письмо с извинениями — кажется, впервые в жизни. Гофриди извинения принял, однако от дел отошел и писать маркизу перестал. Возможно, если бы в то время де Сад не оказался в Шарантоне, он продолжал бы писать Гофриди. Но в Шарантоне у него появилась новая забота — театр, и образ управляющего постепенно померк, отодвинулся в дальний угол памяти. Когда же де Саду пришла нужда в поверенном, способном проследить за исполнением его последней воли и соблюсти интересы мадам Кене, он вновь обратился к Гофриди. И в конце письма приписал: «Быть может, теперь вам будет интересно узнать новости и обо мне? Так вот, я обделен счастьем». Кому еще де Сад мог сказать такие слова?

*

Мадам Констанс Кене (в девичестве Ренель), тридцати трех лет от

роду, актриса на вторых ролях, брошенная мужем, с маленьким сыном на руках, в меру хорошенькая, спокойная, рассудительная, получила от Донасьена Альфонса Франсуа прозвище «Чувствительная» и заняла место Рене-Пелажи. Она заботилась об одежде гражданина Сада, о его столе, о перьях и бумаге, вела его небольшое хозяйство. Де Сад полностью доверял Констанс, она стала его опорой в трудные минуты и прошла с ним весь оставшийся ему путь, до самого конца. Когда де Сада поместили в Шарантон, она добилась разрешения проживать в лечебнице вместе с ним.

Какие чувства соединяли этих двух не слишком молодых людей, что побуждало Констанс в течение четверти века преданно служить маркизу, читать его рукописи и переписывать их набело, выполнять его капризы и терпеть вспышки его гнева, заботиться о его здоровье и содержать его, когда у него кончались деньги? Двадцать пять лет выдерживает не всякий брак... Какие чувства связывали их: нежная дружба? любовь? страх одиночества? удивительное взаимопонимание? Одно точно — корыстные соображения руководить Констанс не могли: извлекать деньги из революционного воздуха де Сад не умел, рассчитывать на баснословные доходы от его сочинений не приходилось, а земля в провинции стремительно обесценивалась. Когда де Сад захотел купить дом в Париже, ни один из управляющих не сумел выручить для него нужной суммы. Попытки протиснуться в ряды наследников состоятельной тетушки тоже ни к чему не привели.

Наверное, Констанс Кене, моложе де Сада на семнадцать лет, была похожа на Рене-Пелажи в юности; во всяком случае, красота ее тоже была неброской. По складу характера и той самоотверженности, с какой она погрузилась в омут под названием Донасьен Альфонс Франсуа, она напоминала его бывшую супругу. Но в отличие от Рене-Пелажи Констанс была самостоятельной, имела множество знакомых в самых разных кругах и в любую минуту могла расстаться с маркизом, ибо никакие иные интересы, кроме нежной привязанности, их не связывали. Наверное, Рене-Пелажи недоставало именно самостоятельности, де Сад действовал на нее словно удав на кролика и безнаказанно этим пользовался. А когда у него бывал очередной приступ дурного настроения, жена наверняка напоминала ему тещу, и всю свою ненависть к Председательше он обрушивал на беззащитную Рене-Пелажи. В отношениях с Констанс де Сад, скорее всего, старался сдерживаться, понимая, что в любую минуту она может его покинуть, а он не сумеет найти ей замену. Несмотря на внутренний «изолизм», он привык, что рядом всегда есть кто-то, готовый в любую минуту подставить свое плечо под груз его проблем. Во время Террора

Констанс без преувеличения спасла Донасьена Альфонса Франсуа, сумев перевести его из тюрьмы в пансион Куаньяра, и де Сад был ей за это благодарен. Точно никто не знает, как она сумела раздобыть денег на подкуп нужных людей в Конvente и трибунале, какие гарантии предоставила заимодавцам и не пришлось ли ей расплачиваться также и вполне определенного рода услугами. Союз де Сада и Чувствительной, милой, но не слишком образованной, многим напоминал союз Жан-Жака Руссо с его подругой Терезой Левассер. Но в отличие от Руссо, который заставлял Терезу рожденных от него детей отдавать в воспитательный дом, де Сад поселил у себя шестилетнего Шарля, сына Констанс, и время от времени не без удовольствия занимался его воспитанием, внушая мальчику почтение к матери.

Осенью 1790 года де Сад снял маленький дом на улице Нев-де-Матюрен, куда вскоре к нему переехала Констанс. Рядом проходила модная улица Шоссе д'Антен, на которой проживали крупные финансисты, содержанки, бывшие министры, а также давний недруг — Мирабо. Соседство с де Садом вряд ли произвело впечатление на Мирабо, скорее всего, он даже не знал об этом, так как с головой ушел в политическую борьбу. Но де Сад, узнав о своем соседе, пережил немало неприятных минут. Впрочем, вскоре на него обрушилась новая напасть: отправленные из Ла-Коста для нового жилища мебель, утварь и книги прибыли в Париж в ужасном виде: поломанными, разбитыми, залитыми чернилами и вареньем. «Дорогой адвокат» Гоффриди сложил все заказанные ему предметы в один ящик. К таким неприятностям де Сад относился философски. Другое дело, когда пропадали рукописи. «Можно отыскать кровати, шкафы, столы, но нельзя отыскать утраченные идеи», — писал он Гоффриди. К каждой бумажке, испещренной темной вязью строк, он относился поистине благоговейно. Недаром он, невзирая на четыре поколения благородных предков, с легкостью отрекся и от титула, и от дворянских корней, заменив их скромным званием «литератор».

Не все так легко расставались со своим дворянским прошлым. После взятия Бастилии началась первая волна эмиграции. Бывший жених Анн-Проспер де Лонэ, Антуан Франсуа де Бомон, прежде чем уехать, письменно выразил свое несогласие с лишением его «благородства, присущего французскому рыцарю». Никто не вправе отменять «единожды приобретенное благодаря добродетелям дворянское звание», — писал он.

Господин литератор был готов доказать, что не зря присвоил себе новый титул. И хотя в его портфеле были и повести, и огромный философский роман, уповал он в основном на пьесы, ожидая от них не

только славы, но и денег. Театр еще до революции «покончил с аристократами» в монологе Фигаро из комедии Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1778). «Вы дали себе труд родиться, только и всего!» — говорил Фигаро своему господину графу Альмавиве, выражая требование третьего сословия уравнивать его в правах с дворянством. Знаменитая фраза Людовика XVI о том, что поставить эту пьесу означает разрушить Бастилию, оказалась пророческой. Не разглядев разрушительной силы «Безумного дня», Мария-Антуанетта поставила комедию у себя в любительском театре, Бастилия была разрушена, над ее руинами взвился лозунг «Свобода, равенство, братство», театр вошел в моду и очень быстро начал политизироваться. Охватившая всех жажда обновления порождала заказные пьесы-однодневки, дышащие революционным энтузиазмом, их ставили во время празднеств, а для празднеств использовали любой повод: возвращение Неккера, создание Национальной гвардии, освящение знамен новых батальонов. Парижане проводили время на улицах, уличная жизнь требовала зрелищ, и любая церемония превращалась в театральное действо. Устное слово восторжествовало над словом печатным. Утром народ слушал речи ораторов, в обед читал газеты, где были напечатаны те же самые речи, а вечером отправлялся в театр, где смотрел пьесы, «способствовавшие формированию правильного мировоззрения граждан».

Если при Старом порядке театральных залов в Париже было чуть больше десятка, то после закона от 13 января 1791 года, согласно которому любой гражданин был вправе открыть свой театр, они стали расти как грибы. Привилегированный театр «Комеди Франсез» распался на две труппы — роялистский Театр Наций и республиканский Театр Республики. В начале революции репертуар тяготел к классицистической трагедии: ставили Корнеля, Расина, Вольтера, трагедии революционного классицизма Мари-Жозефа Шенье («Карл IX», «Кай Гракх»), Антуана Арно («Лукреция»), Шарля Ронсена («Людовик XII»). Конфликты носили мировоззренческий характер: против деспотов, чье время ушло, действовали герои, наделенные гражданскими доблестями и выступавшие за интересы всего народа, такие как Спартак, Вильгельм Телль, народный трибун Гракх. Большим успехом пользовались комедии «реального факта», в которых перевоспитывались аристократы или побеждали герои из третьего сословия. С приходом к власти якобинцев на первый план выступили постановки, разоблачавшие тиранов (Сильвен Марешаль. «Страшный суд над королями», 1793), и так называемые «пьесы большого зрелища», когда на сцену выводились целые армии, гремели взрывы и

захватывались дворцы. Пьесы эти строились непременно на борьбе идей, главным героем был выходец из народа, побеждавший с помощью и при поддержке народа. Кое-где, как, например, в пьесе «Преступления дворянства» (май 1794), принадлежавшей перу успешной в то время сочинительницы гражданки Вильнёв, появляются детали, имеющиеся и в сочинениях литератора Сада. Так, в «Преступлениях дворянства» возникли элементы «черного» романа: злобный аристократ де Форсак запирает в мрачном подвале свою дочь и ее возлюбленного, крестьянина Анри, чтобы влюбленные умерли в муках голода. Но штрихи эти терялись среди сцен борьбы крестьян против жестокого аристократа. Де Сад наверняка мог бы ставить такие масштабные действия, но вот сочинять...

«Я совершенно не могу сопротивляться своему призванию; меня неумолимо притягивает театральное поприще, и что бы ни произошло, я не смогу от него отказаться», — писал де Сад о своем пристрастии к театру, естественно, предполагая, что он будет сочинять пьесы, а театр их ставить, ибо отдельной должности режиссера-постановщика в те времена не существовало. А так как драматургом он оказался слабым, то судьба, желая вознаградить маркиза за многие несправедливости, позволила ему во второй половине жизни создать в шарантонской лечебнице для душевнобольных свой собственный театр, на представления которого съезжался весь Париж. И хотя утверждали, что зрителям было любопытно взглянуть на «сумасшедших на сцене», нам кажется, что ездили смотреть именно постановки блестящего режиссера де Сада.

Пьесы, созданные де Садом незадолго до революции и извлеченные им из «Портфеля литератора», не могли конкурировать ни с сочинениями великих классицистов (автор не умел прославлять добродетель), ни с современными пьесами — автору был чужд идеологический подход к героям и пафосное восхваление достижений революции. О месте и роли пьес в творчестве де Сада много спорят, но в одном едины все: пьесы маркиза слабее его романов и рассказов. Автор разрывался между своим «образом мыслей» и необходимостью явить зрителю торжество добродетели, так как на сцену допускались только высоконравственные произведения. А писать о добродетели с энтузиазмом и подъемом, как требовали веяния времени, де Сад не мог, точнее, мог, но только когда речь шла о поругании оной добродетели. Если судить по сложным постановочным сценам в его романах, которые вполне можно представить как длинную череду живых картин, прокомментированных устроившимся в уголке дивана философом, де Сад был превосходным режиссером и сценографом, но отнюдь не мастером выстраивания сложной интриги —

таковой нет ни в его пьесах, ни в романах. А сюжеты повестей в подавляющем большинстве заимствованы из разных источников. Мечтая увидеть свои пьесы на сцене, де Сад не мог писать их тем же дискурсивным языком, что и «ужасные» романы, не мог открыто проповедовать зло. Но он не мог и создавать живые характеры, не умел убеждать зрителя в том, во что не верил сам, и в результате получались банальные комедии положений и искусственные драматические конфликты. Театр де Сада не давал зрителю ни реальных сцен жизни, ни новых идей, ни новых героев, ни востребованных временем тем и сюжетов.

Единственной пьесой, увидевшей сцену, стала сделанная в 1791 году переработка «Эрнестины», одной из лучших повестей сборника «Преступления любви». В повести граф Окстьерн, негодяй и либертен, обманом увозит юную Эрнестину в свой дом и возле окна, за которым на площади совершается казнь Германа, возлюбленного девушки, овладевает ею. Отец девушки вызывает графа на дуэль, но в результате его козней вступает в поединок с дочерью и убивает ее. В пьесе «Окстьерн, или Несчастья либертинажа» граф, коварно овладевший девушкой и посадивший в тюрьму ее жениха Германа, везет Эрнестину к себе в замок, обещая жениться на ней. На самом же деле он намеревается развратить ее, а потом бросить. В хозяине гостиницы проснулось чувство справедливости, он помчался в Стокгольм, нашел отца девушки, освободил Германа, и все стремительно отправились в гостиницу, где еще пребывали граф и Эрнестина. Отец Эрнестины вызвал на дуэль Окстьерна, но коварный граф вновь обманул его, и он вступил в поединок с дочерью. Окстьерн был вынужден выйти на поединок с Германом, и Герман убил графа и спас Эрнестину. Либертен наказан, добродетель отомщена. Но для успеха на сцене революционного Парижа этого явно было мало. 25 июля 1791 года Мирамон, директор театра «Фейдо», написал «гражданину литератору», что поставить его пьесу он не может, потому что «стиль плох» (на полях де Сад пометил: «Это неправда!»), и перечислил неувязки сюжета (трактирщик не мог за один день съездить в Стокгольм, отыскать там отца Эрнестины и вернуться обратно; не мог уладить дела и освободить Германа, посаженного в тюрьму влиятельным графом; юная Эрнестина во время поединка не могла долго сопротивляться своему отцу, опытному фехтовальщику... и так далее).

В театре «Фейдо» отвергли и пьесу «Будуар, или Легковерный муж» (около 1788) — о ревнивом муже, подслушивающем под дверью будуара супруги. Узнав об этом, супруга и ее возлюбленный начинают вести ученые беседы. Муж успокаивается: столь мудрый разговор могут поддерживать

только философы. По словам Мирамона, театр «аплодировал элегантною легкости стиля», но пьесу принять не смог, ибо она «полностью противоречит правилам благопристойности, равно как и все характеры непременно вызовут тревогу у друзей добронравия».

Тем не менее драматург и моралист Сад нашел своего постановщика: драма «Окстьерн, или Несчастья либертинажа» была поставлена 21 октября 1791 года в театре Мольера. Зал вел себя, по словам де Сада, «весьма сдержанно», а на следующий день в отчете о спектакле было написано: «Пьеса отличается живостью и пробуждает интерес, однако образ Окстьерна возмутительно жесток». Второй спектакль актерам до конца доиграть не удалось, потому что часть зрителей потребовала прекратить представление. Третий — и последний — раз «Окстьерн» был сыгран 3 декабря 1799 года труппой любительского театра в Версале.

В 1792 году Итальянский театр рискнул поставить пьесу «Соблазнитель», но революционно настроенная публика сорвала первое же ее представление. Де Сад решил, что пьесу провалили потому, что автор ее из «бывших», и, оскорбленный, в письме к Гоффриди написал: «Я рожден, чтобы быть жертвой». Уверенный, что с ним обошлись несправедливо, де Сад возмущался совершенно искренне. Гнев его отчасти был справедлив: закон, согласно которому каждый театр три раза в неделю обязан был играть патриотические пьесы, причем один раз бесплатно — для народа, был принят только в августе 1793 года. Тогда же директоров театров под угрозой ареста призывали убрать из репертуара пьесы, извращавшие патриотический дух и напоминавшие о постыдном старом режиме. А у де Сада все пьесы были старорежимные. И все же автор не оставлял надежды увидеть свои детища на сцене: пытался подкупить актеров, отказывался от своей доли сборов, предлагал провинциальным театрам пьесы «оптом», был готов сам их ставить. Огромные надежды он возлагал на патриотическую пьесу «Жанна Лене, или Осада Бовэ» (1783), основанную на историческом эпизоде снятия осады с города Бовэ в 1472 году, во время которого отличилась дочь градоправителя Жанна. Тяжеловесный александрийский стих, хромавшая интрига и вдобавок, похоже, плагиат (к тому времени осада Бовэ и ее героиня Жанна Лене были показаны на сцене уже в двух разных спектаклях) побудили актеров «Комеди Франсез», куда была отдана драма, решительно ее отвергнуть. Но так как пьеса попала в театр по протекции, формулировку отказа смягчили и написали «отправить на доработку». Впрочем, метания по театрам с пачкой пьес под мышкой имели и кое-какую положительную сторону: если пьесу принимали к рассмотрению, автору обычно предоставляли право бесплатно посещать

театр довольно долгое время. Так, в «Комеди Франсез» Донасьен Альфонс Франсуа ходил бесплатно целых пять лет.

В уличных манифестациях 1789 года зарождались новые национальные праздники, первым из которых стал день 14 июля. В 1790 году его отметили как праздник Федерации, ставший, по свидетельствам очевидцев, самым грандиозным революционным торжеством. Местом его проведения было избрано Марсово поле; в строительстве праздничных сооружений принимал участие весь Париж. Люди с заступами и лопатами, прихватив корзинки с едой, шли на Марсово поле как на трудовой пикник и под ритмичную мелодию куплетов «*Ca ira!*», названных историком Жюлем Мишле «моральной опорой», бодро орудовали лопатами. В результате с двух сторон эспланады были сооружены трибуны со скамьями для зрителей, с третьей стороны — крытые трибуны для короля, офицеров и депутатов, с четвертой — триумфальная арка с тремя проемами. И при подготовке к празднеству, и во время его проведения в сердцах людей царила радость, пьянящее чувство свободы и единения нации, и даже дождь, разразившийся в самый разгар торжеств, не смог помешать их проведению. Посланцы провинций с песнями и танцами возлагали цветы на алтарь отечества, а зрители на трибунах, спрятавшись под зонтиками, радостно их приветствовали. Когда же выглянуло солнце, Талейран, епископ Отенский и депутат, отслужил торжественную мессу, а затем король, председатель Национального собрания и Лафайет принесли присягу на верность Федерации. Франция была провозглашена конституционной монархией. В этот день, наполненный патриотическим энтузиазмом, чувством единения нации со своим королем, де Сад тоже стоял на трибуне; всеобщее ликование охватило даже такого закоренелого индивидуалиста, как «божественный» маркиз. Правда, описывая свои впечатления от торжеств, де Сад не преминул пошутить: «Это зрелище описать в деталях невозможно, его надо видеть. Я находился на прекрасных местах, но тем не менее в продолжение шести часов дождь беспрестанно барабанил по моей спине. Это обстоятельство все омрачило, и многие заявляли, что таким образом Господь хотел сказать, что причисляет себя к аристократам». В первую годовщину революции подобные шутки еще сходили с рук, а перлюстрация писем еще не приняла массовый характер.

Зрелище гражданину Саду понравилось, и он почувствовал, что не прочь и сам принять участие в подобном спектакле. Следующей столь же торжественной церемонией, состоявшейся 4 апреля 1791 года, стали похороны Мирабо, «самые пышные и самые народные похороны, которые

состоялись до перенесения праха Наполеона», как писал Мишле. Из писем де Сада к Гоффриди известно, что маркиз присутствовал в рядах той молчаливой толпы людей со скорбными лицами, что выстроились вдоль улиц, по которым гроб с телом великого оратора несли в недавно построенную церковь святой Женевиевы, предназначенную теперь для упокоения праха великих людей. А когда на 11 июля 1791 года назначили перенесение в Пантеон праха великого Вольтера, де Сад, к тому времени вступивший в Общество драматических авторов, тотчас попросил включить его в состав депутации, которой, как было ему известно, предстояло следовать впереди траурного катафалка, то есть находиться в самом центре событий. Он даже пожелал произнести небольшую похвалу нации. Со стороны де Сада, недавно вышедшего на свободу, желание это достаточно дерзкое, ибо оратором он никогда не был, а во время долгого заключения все свои обвинения и слова в защиту излагал на бумаге. Впрочем, возможно, он и рассчитывал выступить по бумажке — как Робеспьер, который всегда зачитывал свои речи. Воздух свободы пьянил бывшего маркиза, и он вместе со всем народом не упускал ни единого повода выразить свои патриотические чувства и заодно подтвердить свою благонадежность. Создатель пока никому не известной содомской утопии, построенной на принципах паноптикума, всеобщей прозрачности, он, возможно, уже кожей ощущал, как власть с каждым днем стремилась сделать видимым каждого подчиненного ей гражданина, и, как мог, доказывал свою благонадежность, совершая общественно значимые поступки.

Одним из шагов по пути создания системы «видимости» граждан было деление Парижа на сорок восемь секций, декрет о котором был принят в мае 1790 года. Секция, иначе говоря, собрание активных граждан, осуществляла власть на местах: выдавала вид на жительство, свидетельства о благонадежности, делила граждан на пассивных и активных, определяла врагов нации, а во времена Террора выявляла неблагонадежных. В 1793 году в секциях были созданы местные революционные комитеты. Улица, на которой жил де Сад, входила в состав секции площади Вандом, впоследствии переименованной в секцию Пик. Это была одна из самых активных и революционно настроенных секций Парижа, членом которой был сам Робеспьер, проживавший на улице Сент-Оноре.

Де Сад и Робеспьер не могли не встретиться хотя бы на одном из заседаний секции, которые де Сад посещал регулярно. Бывшие воспитанники коллежа Людовика Великого вряд ли хоть раз перекинулись словом. Скорее всего, невысокий, худощавый и подчеркнуто аккуратный

Робеспьер удостоил невысокого, толстого и не слишком аккуратного «бывшего» презрительным взглядом и отвернулся. Де Сад заметил его надменный взгляд, но у него хватило благоразумия промолчать. Многие современники выделяли надменность и желчность как основную черту характера вождя революции, надменность в полной мере была присуща и де Саду. При Старом порядке за подобный взгляд де Сад мог бы наброситься на адвоката с кулаками, но теперь постарался скрыться за спинами санкюлотов... А может быть, оба в тот раз были в зеленых очках, так как глаза из-за постоянного чтения и письма крайне уставали и у одного, и у другого?

Жюль Жанен, известный своим негативным отношением к де Саду, сравнил двух знаменитых членов секции Пик: «Коллеж Людовика Великого выпустил в жизнь своеобразных людей. Представьте себе, как в его просторном дворе, вокруг часовни, гулял маркиз де Сад, а спустя десять лет, другой молодой человек, скрестив на груди руки, прохаживался тут же, пугая соучеников своим исключительно мрачным видом. Юношу звали Максимилиан Робеспьер. Поистине, достойная парочка! Маркиз де Сад и Робеспьер! Первый в сочинениях своих придумал столько убийств, сколько совершил второй. Первый, у которого была страсть к крови и пороку, смог утолить только страсть к пороку; другой, у которого была одна страсть — кровь, удовлетворил ее досыта. Оба эти человека вознеслись из руин общества, и оба стали позором этого общества; первый явил собой позор столь отвратительный, что общество устами Бонапарта, возглавившего это общество, объявило его сумасшедшим; второй, напротив, явился позором столь ужасающим, что общество оказало ему честь, отправив его на эшафот. Так воздали по справедливости обоим: Робеспьер умер, как все честные люди, которых он убивал, маркиз де Сад умер среди тех несчастных сумасшедших, которых он создал».

В своих воспоминаниях некоторые современники, характеризуя Робеспьера, употребляли определение «*infâme*»^[12]. «*Infâmes*» называли непристойные романы и персонажей де Сада. «Смерть есть начало бессмертия», — говорил Робеспьер. «Смерть есть переход материи из одного состояния в другое», — писал де Сад. Де Сад всегда был противником смертной казни. Робеспьер в самом начале революции тоже предлагал отменить смертную казнь. Воинствующая добродетель Робеспьера стоила жизни ему самому и тысячам жертв принятых с его одобрения законов. Воинствующее стремление к злу бумажных либертенов де Сада стоило жизни тысячам бумажных жертв и заключения в сумасшедшем доме для их создателя. Де Сад ненавидел мадам де Монтрей

за ее добродетели. Робеспьер ненавидел аристократов за развращенные нравы, за аморальность, несовместимую с добродетелью.

«Спасти отечество означает освободить его от смрадного дыхания либертинажа», — звучало с трибуны Конвента. Наверное, судьба специально свела в одной секции де Сада и Робеспьера, двух антиподов, рожденных философией эпохи Просвещения, чтобы показать, сколь глубоки и страшны могут быть бездны разума, если лишить его веры. Просветители сформировали культ разума, разум признал себя порождением природы, отбросил все лишнее, восторжествовал... и породил чудовищ. Если воспользоваться аналогией Александра Сергеевича Пушкина, назвавшего Робеспьера «сентиментальным тигром», де Сада можно назвать «кровожадным буйволом».

*

Луи Сад, как стал называть себя Донасьен Альфонс Франсуа, получил карточку «активного гражданина», так как обладал необходимым имущественным цензом. Не помешал даже неудачный на тот день выбор имени, которое после казни короля многие бросились менять на имена героев античности: Брутов, Гракхов, Сцевол. Бывший маркиз обрел право участвовать в выборах и быть избранным и начал вживаться в образ активного гражданина. Считаясь богатым, — а в то время каждый, кто имел доход свыше тысячи двухсот франков в год, считался богатыми, — он не уклонялся от налогов, и безропотно вносил все необходимые платежи, в том числе и в Провансе, куда по требованию местных комитетов он отправил шестьсот ливров на экипировку шестерых волонтеров. Он записался в Национальную гвардию, но, пока было возможно, в караулы не ходил, а вносил соответствующую сумму, чтобы за него это делали другие; но начиная с 1793 года отвертеться от личного участия в дозорах и патрулях стало невозможно.

Не намереваясь ввязываться в политическую борьбу, которая, очевидно, его не интересовала, он иногда посещал заседания как якобинского клуба, так и клуба друзей монархической конституции — для соблюдения политического равновесия. Несмотря на видимую легкость, с которой он отбросил свой титул и отрекся от дворянского происхождения, в душе он никогда не считал себя равным простолюдинам, даже тем, кому удалось многого добиться. В письме, написанном незадолго до революции, он называл таких «выскочек» «омерзительными и грязными жабами». Если

судить по высказываниям де Сада, разбросанным по его письмам, его вполне устраивала ограниченная, или парламентская, монархия на английский манер. Возможно, поэтому, когда в июне 1791 года после неудачного бегства королевская семья была задержана в Варение и под конвоем доставлена обратно в Париж, де Сад, стоя в толпе, встречавшей короля угрюмым молчанием, неожиданно выскочил наперерез карете, бросил в окошко свернутое в трубочку послание и скрылся. Подобный поступок был вполне в духе эксцентричного маркиза, однако сомнительно, чтобы в его возрасте и с его комплекцией он сумел проделать его с надлежащей быстротой, дабы его не задержал конвой. Но «Обращение гражданина Парижа к королю французов» он действительно написал, а его верный издатель Жируар напечатал его. Было ли оно зачитано публично, как тогда читали воззвания, неизвестно, но документом, свидетельствовавшим о лояльности де Сада, служить могло вполне. Возможно, де Сад преследовал именно эту цель, возможно, хотел предостеречь короля от дальнейших ошибок, а возможно, пользуясь моментом, решил упрекнуть за его «письма с печатью», на основании которых он тринадцать лет просидел в заточении. А может, хотел разом убить всех зайцев. Укоряя короля за совершенные им ошибки, за «страдания бывших жертв» его деспотизма, «несчастных, которых одна только его подпись, плод заблуждения или наговоров, вырвала из лона льющей слезы семьи, дабы навеки швырнуть в казематы ужасных бастий», де Сад, по примеру многих своих умеренных современников, основную вину сваливал на дурных советчиков — Марию-Антуанетту и нерадивых министров. «Сердце его полно исключительно добрых помыслов, злые помыслы — порождение его министров», — писал он о короле; но был ли он при этом искренен? «Воссоединитесь с нацией, верните супругу ее семье и научите ваших наследников уважать народ, которым они имеют честь править». Интересно, стал бы де Сад писать эту прокламацию, если бы чувствовал, что монархии скоро придет конец?

*

Неудачное бегство короля вызвало очередную волну эмиграции, на которую Законодательное собрание ответило рядом декретов, приравнявших эмиграцию к преступлению, а эмигрантов — к заговорщикам против государства. Вареннский кризис подтолкнул республикански настроенных граждан к действиям, и 17 июля 1791 года на

Марсовом поле собралась огромная толпа, чтобы подписать петицию против монархии. Манифестация была мирной, но части Национальной гвардии под командованием Лафайета открыли огонь, люди разбежались, не обошлось без жертв. Несмотря на народное возмущение, депутаты пообещали наказать зачинщиков демонстрации, ибо они выступили против конституции. Но никакая конституция не могла поднять престиж власти короля, и в обществе после некоторого затишья вновь задули ветры, предвещавшие бурю.

Сыновья де Сада эмигрировали, но у бывшего маркиза даже мыслей подобных не возникало. Да и что бы он стал делать в эмиграции? Служить в армии он не мог по состоянию здоровья, имущества, которое можно было бы вывезти, у него не было, друзей, которые могли бы поддержать его за границей, — тоже. А здесь он был литератором, активным гражданином, у него была собственность, обустроенный быт, верная Констанс и издатель, всегда готовый напечатать любые его труды. А главное, он надеялся снискать славу на литературном поприще. За два года свободной жизни он сумел создать себе определенную социальную нишу, свой мирок, ограниченный тремя измерениями: письменный стол — секция — театрально-литературный мир Парижа. За письменным столом писались письма, шлифовались написанные ранее произведения, создавались новые фантазмы. В секции, большинство членов которой составляли мелкие рантье и ремесленники, то есть люди не бедные, грамотные, но не аристократы, де Сад чувствовал себя прекрасно; до революции в Провансе его круг общения также составляли люди из третьего сословия, и он привык находить с ними общий язык. Несмотря на неудачи с пристройством на сцену своих пьес, в театральных кругах он пользовался определенной известностью, равно как и среди издателей. Несомненно, де Сад тревожился о сохранности и доходности своих владений, но пока беды и разрушения обходили их стороной, и деньги из Прованса поступали более или менее исправно. Официально доход гражданина Сада равнялся восьми тысячам франков в год, то есть он считался сверхбогатым человеком. Но по бумагам гражданин Сад выплачивал четыре тысячи бывшей жене, тысячу — мадам Кене, да и рента поступала нерегулярно. Так что по подсчетам де Сада на жизнь оставалось не более тысячи франков в год. Поэтому он даже предпринял попытку получить от муниципалитетов Ла-Коста, Мазана и Сомана новую «справку о доходах», на основании которой он, видимо, хотел потребовать снижения налога. Гражданин Сад осваивался в новой жизни.

Тем временем над революционной Францией сгустились тучи

интервенции: Австрия и Пруссия заключили против Франции военный союз и стягивали войска к ее границам.

Монархическая Европа приготовилась к наступлению. В апреле 1792 года Франция первой объявила войну, но, несмотря на патриотический энтузиазм масс, терпела одно поражение за другим. Руководители якобинцев Марат, Дантон и Робеспьер призывали народ к революционной войне, на декрет «Отечество в опасности» откликнулись санкюлоты, повсюду началось формирование отрядов волонтеров. Под звуки новой «Песни Рейнской армии», сочиненной саперным инженером Руже де Лилем, в Париж вступили отряды федератов из Марселя. Вскоре «Марсельеза», как стали называть принесенную в столицу песню, превратилась в боевой гимн всего французского народа, а в дальнейшем и в национальный гимн. Манифест герцога Брауншвейгского, в котором Пруссия и Австрия извещали о своих намерениях покончить с анархией во Франции, восстановить власть короля и покарать бунтовщиков, вызвал бурю негодования во всей стране, а комиссары парижских секций потребовали от Законодательного собрания немедленного низложения Людовика XVI и созыва национального Конвента. К такому повороту событий монархическое большинство депутатов не было готово, и народ стал готовиться к восстанию.

Ощущал ли де Сад приближение бури? Вряд ли, ведь его всегда интересовали только собственные дела. Во всяком случае, не обладая политической прозорливостью, он на всякий случай решил записаться в конституционную гвардию короля, полагая таким образом еще раз напомнить о своей верности конституции. Командовавший полком герцог де Косее-Бриссак в приеме в гвардию де Саду отказал, однако фамилию его из списка кандидатов не вычеркнул, что сыграло свою зловещую роль во время Террора и стало одной из причин ареста гражданина Сада. Ни разгон демонстрации на Марсовом поле, ни появление на улицах столицы грозных и исполненных революционного энтузиазма марсельских федератов впечатления на Донасьена Альфонса Франсуа не произвели.

Он почувствовал приближение восстания непосредственно накануне, так как подготовка к нему шла в парижских секциях совершенно открыто. В то время в собраниях секций принимали участие как «активные», так и «пассивные» граждане, и по причине изрядной толкотни де Сад решил на эти собрания не ходить, посчитав, что его отсутствия никто не заметит. Но набат, ударивший около полуночи в предместье Сент-Антуан, не мог остаться не услышанным. И пока в ратуше новая Коммуна устанавливала власть секционных комиссаров и назначала нового командующего

национальной гвардией (им стал Сантерр), гражданин литератор внимал набату и перед его глазами разворачивались картины Варфоломеевской ночи. Разумеется, это всего лишь предположения...

В те дни секция площади Вандом еще не входила в число самых революционных секций Парижа, число «пассивных» граждан и люмпенов в ней было невелико, тем не менее и ее граждане отправились к мосту Сен-Мишель и к Новому мосту, откуда на Тюильри двинулся батальон марсельцев под командованием Муассона и повстанцы из секций. На площади Карусель, перед воротами дворца Тюильри, были установлены пушки. Понимая, что швейцарские гвардейцы и жандармы вряд ли будут в состоянии защитить короля от народного гнева, прокурор Редерер уговорил Людовика XVI вместе с семьей отправиться в Законодательное собрание. Желая спасти свою верную гвардию, король отдал приказ сложить оружие, но в неразберихе приказ то ли вовсе не дошел до швейцарцев, то ли дошел слишком поздно, но в результате швейцарские гвардейцы оказались единственными солдатами, до последнего защищавшими Тюильри. Но силы были неравные, вдобавок жандармы в основном перешли на сторону восставшего народа, и дворец был взят штурмом. Часть швейцарцев, видя, что сражение проиграно, попыталась отступить, но парижане не позволили уйти защитникам монархии и убивали их прямо на улицах. Дворец был варварски разграблен, уничтожены запасы вин, хранившихся в дворцовых погребах, а королевские лакеи, не покинувшие дворец, были убиты — под горячую руку. Как писали очевидцы, к вечеру 10 августа сад Тюильри напоминал заснеженное пожарище: на земле лежали трупы попеременно с обломками мебели и прочей утвари, покрытые, словно снегом, перьями из распоротых подушек и перин. Через много лет в Люцерне был поставлен памятник солдатам швейцарской королевской гвардии, защищавшим последнего французского короля.

10 августа жертвой озлобленной толпы пал родственник де Сада Станислас Клермон-Тоннер, сторонник конституционной монархии, друг Лафайета, выступавший в своих речах против Марата и Робеспьера. Толпа вытащила его из дома, обвинила в предательстве интересов нации, а при попытке оправдаться буквально разорвала на куски. Впоследствии, оправдываясь перед революционным трибуналом, де Сад заявил, что 10 августа он с другом был на площади Карусель. Но в тот день де Сад вполне мог отправиться к Клермон-Тоннеру за политическими новостями и собственными глазами увидеть страшную смерть неугодного толпе политика.

Но даже если он и не видел гибели супруга несчастной Дельфины, на

площади Вандом его ожидало не менее впечатляющее зрелище: у подножия статуи Людовика XIV работы Жирардона лежали головы роялистов, казненных секцией Фельянов. Одна из десяти голов, как говорят, принадлежала журналисту Сюло. А весь следующий день все, кто хотел, могли видеть посередине двора Тюильри сваленные в кучу обнаженные и изуродованные тела ста восьмидесяти швейцарцев. Спустя много лет де Сад сравнил эти трагические события с ночью святого Варфоломея: «На следующий день после Варфоломеевской ночи придворные дамы Екатерины Медичи вышли из Лувра, дабы поглазеть на обнаженные тела гугенотов, убитых, раздетых и сваленных к стенам замка...» 16 августа 1792 года на площади Вандом сбросили с пьедестала статую короля и на ее место водрузили статую Свободы. Падение королевской статуи стоило жизни одному человеку.

*

Кажется, только после 10 августа Донасьен Альфонс Франсуа осознал, в какую страшную ловушку он попал: аристократ, дети в эмиграции, и вдобавок он приобрел печальную известность как автор «Злоключений добродетели». Не говоря уже о его посещениях политического клуба, основанного Клермон-Тоннером и его единомышленниками. Тем временем Законодательное собрание под давлением Коммуны приняло декрет об отрешении короля от власти и о созыве национального Конвента. По настоянию той же Коммуны, ставшей подлинным органом власти восставшего народа, избирательное право было предоставлено всем гражданам мужского пола, достигшим двадцати одного года. Король был заключен в замок Тампль, родственникам эмигрантов было запрещено покидать места своего жительства, а местным властям предписано взять их под особый контроль. Не-присягнувшим священникам велено в течение двух недель покинуть Францию, заставы Парижа закрыли, установили строгий контроль за выдачей паспортов, закрыли роялистские газеты... В департаменте Буш-дю-Рон, на территории которого располагался Ла-Кост, собрали пятьсот неприсягнувших священников, посадили на тартану «Святая Елизавета» и отправили в Италию, в Рим. Революция, прежде являвшаяся де Саду в облике прекрасной Теруань, теперь обратила к нему жестокий лик медузы-горгоны. В письме к Гофриди Сад писал: «День десятого августа отнял у меня все: родных, друзей, покровительство, помощь; за три часа вокруг меня возникла пустыня. Я один!»

Обстановка в Париже накалялась. Ходили слухи о заговорах аристократов, цель которых — освободить короля и восстановить монархию. Для суда над заговорщиками, роялистами и сторонниками ограниченной монархии, был учрежден Чрезвычайный трибунал. Обыски, проводимые в домах аристократов, обнаруживали все новых шпионов, сотрудничавших с врагами нации. Австро-пруссские войска перешли границу Франции, и скоро возникла реальная угроза увидеть врага под стенами Парижа. Из провинции в Париж тянулись священники, надеясь найти в столице защиту от произвола местных комитетов.

Первые дни наступившего сентября были исполнены тревоги: враг у ворот, аристократы устроили заговор, а Дантон призвал граждан, вооружившись отвагой, бесстрашно идти в бой. Тревога, страх, накал страстей, отсутствие реальной власти у Собрания и попустительство Коммуны стали причиной убийств узников тюрем сначала в Париже, а затем и по всей Франции. Набат, призывавший граждан встать на защиту отечества, был воспринят как сигнал к «народной мести», и толпы санкюлотов двинулись взламывать двери тюрем и убивать заключенных. Воцарилось поистине «салическое» безумие, но жертвы его были уже не выдуманными персонажами. В тюрьме Форс выпустили заключенных проституток, и тут же, во дворе, вынудили их заняться своим привычным делом. Остальных женщин безжалостно зарубили саблями, в том числе и свирепую вдову отравителя Дарю, красавицу, мечтавшую сжечь Париж.

Воры и разбойники искали в тюрьмах «своих» и отпускали их на свободу. Но уголовников в то время в заключении было немного: большинство из них выпустили в августе, чтобы освободить место для аристократов и священников. Санкюлоты зверски расправились с принцессой де Ламбаль, подругой Марии-Антуанетты. Над ней надругались, а потом отрубили голову и, насадив на пику, отправились к Тамплю, где долго расхаживали под окнами королевы, предупреждая «австриячку», что и ей не миновать этой же участи. В тюрьме аббатства убийствам попытались придать форму законности — в списках против имен заключенных делали пометы: «казнен по приговору народа» или: «осужден народом, казнен на месте». К тюрьмам поспешили депутаты, пытались уговорить народ разойтись, но, получив в ответ угрозы, отступили. Никто из вождей революции не сделал попытки остановить кровавое безумие: его считали справедливой народной местью. Со 2 по 6 сентября в Париже было убито около тысячи трехсот человек. Примерно столько же узников толпа, состоявшая из ремесленников, мелких торговцев, военных и жандармов, решила пощадить.

Конституционный епископ аббат Грегуар назвал историю королей мартирологом наций; в мартиролог жертв революции, открытый именем коменданта Бастилии, сентябрь 1792 года вписал сотни новых имен. Об этих днях де Сад писал Гоффриди: «3 сентября погибли десять тысяч узников. Ничто не может сравниться с ужасом сей резни». Де Сад всегда был склонен преувеличивать, но в данном случае наверняка преувеличил совершенно искренне. Трагический и одновременно героический сентябрь 1792 года явился едва ли не самым насыщенным временем революции. 20 сентября в битве при Вальми революционная армия одержала первую победу над войсками европейской коалиции. 21 сентября открылось первое заседание вновь избранного Конвента. 22 сентября Франция была провозглашена республикой. Одним из вновь созданных органов управления новой республикой стал Комитет общественной безопасности, в задачу которого входила борьба с внутренней контрреволюцией.

9 сентября секция площади Вандом была переименована в секцию Пик, а пика, как известно, являлась символом санкюлота. Секция, прежде бывшая вполне умеренной, быстро попала под влияние радикально настроенных люмпенов и стала одним из форпостов борьбы с проклятым прошлым. Пережив страшные дни сентябрьской резни и с горечью сообщив Гоффриди о гибели всеми уважаемого епископа Арльского, де Сад осознал, что, в сущности, в глазах ярых санкюлотов он сам принадлежит прошлому и в любой момент может стать жертвой «справедливого народного гнева». Живо ощутив нависшую над ним смертельную угрозу, де Сад пошел по единственно возможному для него пути — поставил свое перо на службу секции. Сочинять пьесы на злобу дня он не умел, писать памфлеты против заключенных в тюрьму короля и королевы вряд ли считал для себя возможным, а изливать желчь в опусах вроде «Список монашек и ханжей, высеченных торговками разных кварталов Парижа, с обозначением их имен и приходов» или «Розовый список», где рядом с именами парижских публичных женщин указывали их адреса и стоимости услуг, ему, пожалуй, в голову не приходило. Оставались политические сочинения, в которых за выпренней революционной риторикой можно было спрятать свое истинное лицо. Опасаясь обвинений в роялизме, а значит — в предательстве интересов народа, Сад стал напоминать всем и вся о своем заключении в Бастилии. Громко именуя себя жертвой «тирана», он постоянно задавал себе вопрос: почему освободившая его революция не хочет позволить ему самому свободно устраивать собственную жизнь, а, наоборот, подчиняет его своему контролю и уравнивает с санкюлотом, готовым рубить головы ради установления царства морали и добродетели?

Успешным дебютом автора-общественника стал составленный им отчет о состоянии парижских больниц. Окрыленный успехом, Сад уже не по указанию, а по собственной инициативе написал «Рассуждения о способе принятия законов» и опять удостоился похвалы. Более того, секция постановила издать «Рассуждения» отдельной брошюрой и разослать ее по всем секциям столицы, чтобы те могли высказаться по такому важному вопросу. Успех брошюры де Сада был обусловлен его давним интересом к правовым системам, его вдумчивым чтением трудов Монтескье и Беккариа и, как нам кажется, его собственным опытом демиурга, когда он на страницах своих романов создавал утопические сообщества аборигенов, островитян и либертенов. В салическом мире царствовал индивид, извлекавший из общества все необходимое для своих фантазий и одновременно мечтавший превратить его в полигон для все тех же безудержных фантазий. Для разработки общенародного способа принятия законов Донасьену Альфонсу Франсуа пришлось перевернуть свой мир с ног на голову и поставить во главу угла коллектив. Вряд ли де Сад стал бы сочинять подобный документ, если бы его не подтолкнули к этому обстоятельства. Философ де Сад не признавал иных законов, кроме законов природы, но гражданин Сад имел возможность убедиться, куда может завести отсутствие законов.

Высказав основную мысль — «только мы можем диктовать наши законы», он напомнил, что злоупотребление властью возможно даже при выборной системе, ибо когда народ отдает власть в одни руки, всегда есть риск возникновения «аристократии» (иначе говоря, правящей верхушки...). «Если ваши депутаты могут обойтись без вас при создании законов, если ваше одобрение кажется им бесполезным, с этой минуты они становятся деспотами, а вы рабами», — писал гражданин Сад. И чтобы избежать ошибок, сделанных при принятии прежней конституции, он предложил принимать законы, разработанные депутатами, всем народом. Иначе, объяснял он, если создать еще одну палату, или, как он назвал ее, «Санкционирующее собрание», разногласия удвоятся, а мнение народа все равно останется в стороне. Он подробно расписал механизм доведения предложенных законов до каждого кантона, дабы каждый гражданин мог высказать о них свое мнение. «Солон сравнивал законы с паутиной, сквозь которую свободно проходили большие мухи и запутывались маленькие. Это сравнение, сделанное великим человеком, подводит нас к необходимости одобрения законов главным, а быть может, даже единственным образом той частью народа, коя наиболее обделена судьбой, ибо именно эти люди чаще всего попадают под колесо закона,

следовательно, им и надлежит выбирать, каким законам они согласны подчиняться». Когда Сад писал эти строки, он наверняка причислял себя к «обделенным судьбой», забыв, что при Старом порядке он по положению своему принадлежал, скорее, к «большим мухам», но не умел этим пользоваться.

Завершается сочинение изящным реверансом в сторону народа: «Я люблю народ, мои сочинения подтверждают, что я способствовал установлению нынешнего порядка задолго до того, как его провозгласили пушки, разрушившие Бастилию. Самым прекрасным днем в моей жизни стал день, когда я увидел возрождение прекрасного равенства Золотого века, увидел, как древо свободы покрывается благодетельной листвой, похоронив под нею обломки трона и скипетра». В этих строках маркиз-санкюлот выстраивал свою защиту, очень необходимую ему как «бывшему», и одновременно намекал на свои сочинения, якобы проникнутые республиканским духом. Но какие сочинения он мог иметь в виду? Конечно же не «Несчастья добродетели», от которых он отказался, и не пьесы. Оставался только роман «Алина и Валькур», но он пока пребывал в рукописи.

Видимо, именно в это время рождались «пророчества» де Сада о грядущей революции, вложенные им в уста персонажей «Алины и Валькура». «Настанет время, когда вы, французы, сбросите ярмо деспотизма и тоже станете республиканцами, потому что только республиканский способ правления достоин такой искренней, такой энергичной и гордой нации, как ваша — предсказывал мудрый правитель Заме Сенвалью и, прощаясь с ним, говорил: — О Сенваль! У тебя на родине готовится великая революция; преступления ваших правителей, их поборы и бесчинства, их разврат и глупость утомили Францию; она больше не может терпеть деспотизм и вскоре разорвет его цепи. Став свободной, эта гордая страна Европы удостоит чести взять в союзники все народы, которые установят у себя республику». Не довольствуясь предсказаниями героев, де Сад — также неоднократно — подчеркивал собственную прозорливость в постраничных примечаниях: «Согласись, читатель, что заключенный в Бастилии должен был обладать недюжинными талантами, чтобы в тысяча семьсот восемьдесят восьмом году сделать подобное предсказание»; «Не стоит удивляться, что за подобные принципы, уже давно высказываемые нашим автором, его заставили томиться в Бастилии, где его и нашла Революция».

Делать подобные предсказания в романе, увидевшем свет только в 1795 году, вряд ли было сложно: после завершения рукописи де Сад

дорабатывал текст, согласуя его, по его собственным словам, с «повесткой дня» и придавая ему «облик, который более всего пристал свободной нации». Для гражданина Сада «повестка дня» началась 10 августа, когда к естественному желанию автора увидеть свой труд напечатанным прибавилось стремление иметь возможность предъявить еще одно доказательство своей благонадежности. После успеха «Злоключений добродетели» издатель Жи-руар был готов напечатать очередной роман де Сада, и автор уже начал отдавать ему листы рукописи, но случилось страшное: заподозренный в роялизме, Жируар был арестован и в начале января 1794 года отправлен на гильотину. К этому времени де Сад тоже стал узником революции.

*

Пока в Париже гражданин Сад успешно исполнял роль пламенного республиканца, в Ла-Косте был варварски разграблен его любимый замок. «Негодяи... разбили и разломали все, что не смогли унести... А по какому праву? Разве я эмигрант? Разве они не видели мой вид на жительство? Действуя подобным образом, эти мерзавцы вскоре заставят всех ненавидеть новый режим», — писал возмущенный де Сад управляющему. Причин, кроме всеобщей наэлектризованности населения, готового по любому подозрению крушить все, что олицетворяло в их глазах прежний режим, выявить так и не удалось, а де Сад, немного успокоившись, в письме к Гофриди вновь упомянул про «они», неких загадочных врагов, которые только и ждали, чтобы исподтишка навредить Донасьену Альфонсу Франсуа. Борясь с вечными «они», де Сад, обретший определенное влияние и вес, начал перлюстрировать почту своих старых врагов Монтреев, также проживавших в секции Пик. Помимо чтения чужих писем гражданину Саду, включенному в число присяжных заседателей, автору гражданских петиций и исполнительному комиссару, приписывают и другие неблагоприятные поступки, например, сведение счетов во время участия в «очистке» секции от подозрительных элементов. Прямых доказательств не приводит никто, но основания для предположений, разумеется, есть: чтобы самому не «чихнуть в корзину» (как говорили о казни на гильотине), де Сад обязан был исполнять свою роль безупречно. В мстительность де Сада верится с трудом, ибо гражданин маркиз обычно жил сегодняшним днем, а месть требует раздумий и стратегии. Но по сиюминутной прихоти теоретически он мог натворить что угодно. Но именно Сад спас своих

«вечных врагов» Монтреев, вычеркнув их из списков «подозрительных», куда они попали как родственники эмигрантов и аристократы. Отмщение благородством? Или солидарность перед угрозой эшафота? Скорее всего, и то, и другое, и даже третье: в эмиграции у них имелись общие родственники, и де Сад не хотел лишний раз привлекать к этому внимание.

21 января 1793 года по приговору суда Национального конвента был казнен Людовик XVI. Процесс велся не против гражданина Людовика Капета, как называли развенчанного короля санкюлоты, а против короля, которого надо было судить как врага человечества и поразить как тирана. «Граждане! Я смело скажу: все затруднения будут жить до тех пор, пока будет жить король», — произнес с трибуны Сен-Жюст. Еще более радикально, в духе сатанических персонажей, высказался депутат Манюэль: «Когда не станет короля, это не значит еще, что стало одним человеком меньше». Решение Конвента о короле по настоянию Марата было поставлено на поименное голосование, и 387 депутатов из 721 высказались за казнь. Партийный раскол между жирондистами и якобинцами, наметившийся с самых первых заседаний Конвента, довершился расколом на уровне личностном: голос, отданный «за» или «против» казни короля, надолго стал своеобразной политической визиткой депутатов.

Монарха не стало, но трудностей становилось все больше и больше. Война расстроила экономическую жизнь страны, звонкая монета превращалась в редкость, в ходу были бумажные ассигнаты, на которые мало что можно было приобрести. Ловкие люди скупали за бесценок национальные имущества, как именовали тогда конфискованные владения эмигрантов, в стране начинался голод. Сад попытался подать прошение о возмещении ущерба за разграбленный замок, просьба его была поддержана, но возмещения он не получил. Спираль политической борьбы накалялась, очередной ее виток завершился полным изгнанием жирондистов из Конвента и установлением якобинской диктатуры. Через несколько месяцев осужденные жирондисты были доставлены на площадь Революции (бывшую Королевскую, современную Согласия), где высилась гильотина, и обезглавлены. Обновленный Комитет общественного спасения, главой которого стал Робеспьер, один за другим публиковал расплывчатые определения преступлений, за которые полагалась смертная казнь. В сентябре был принят страшный закон «о подозрительных», на основании которого революционные комитеты фактически могли арестовать любого, чей вид вызывал у них подозрение.

За гражданином Садом постоянно маячила тень господина маркиза де Сада, с которой гражданин Сад никак не мог расстаться — доходы его

зависели от земель в Провансе. Но по загадочному стечению обстоятельств еще в декабре 1792 года, через пару месяцев после принятия закона о предании смертной казни возвращающихся эмигрантов, имя Луи Альфонса Донасьена де Сада оказалось в списках эмигрантов департамента Буш-дю-Рон. Собрав необходимые справки о том, что он добрый патриот и с самых первых дней революции не покидал Парижа, гражданин Сад вроде бы сумел доказать свою непричастность к эмиграции. Его пообещали вычеркнуть из списков, но, пока собирались, власти решили сделать из одного департамента два, де Сад оказался приписанным к новообразованному департаменту Воклюз, и там фамилия его вновь всплыла в эмигрантских списках. Поистине, господин маркиз решил не давать покоя гражданину Саду и, что еще хуже, поставил под угрозу его материальное положение, ибо, если в Провансе его признают эмигрантом, на имущество его будет наложен секвестр. А если в нем заподозрят пособника эмигрантов, то секвестром могут не ограничиться. Садический мажор...

Неприятности с внесением в эмигрантские списки отчасти компенсировались назначением Донасьена Альфонса Франсуа на главную роль в секции: 23 июля 1793 года гражданин Сад стал ее председателем и теперь, по примеру членов Коммуны, вполне мог носить красный колпак, точно такой же, какой носили санкюлоты, сорвавшие представление его пьесы. Но ни красный колпак, ни куртка-карманьола не могли сделать из феодала и атеиста маркиза де Сада истинного патриота, как называли тогда сторонников якобинской диктатуры. Кровожадный на бумаге, де Сад, столкнувшись с государственной машиной террора, отшатнулся от нее. Комитет общественной безопасности направлял в Революционный трибунал все больше и больше «врагов республики», а председатель трибунала Фукье-Тенвиль, получивший право выносить приговоры на основании «революционной целесообразности», отсылал к парижскому палачу Сансону все новые и новые жертвы. Став председателем, гражданин Сад тоже получил возможность судить «подозрительных». Но нервы его не выдержали: видимо, наступил предел его лицемерию. Де Сад, с удовольствием описывавший ужасы в «Ста двадцати днях Содома» и в «Злоключениях добродетели», содрогнулся, увидев собственными глазами смерть, поставленную на конвейер. «Убийства ради наслаждения», которые совершали либертены на страницах его романов, были жестокой игрой ума, неким инструментом для исследования темной бездны разума. Когда же он отрывался от бумаги и оглядывался вокруг, то чувствовал, насколько ему претит развязанная государственными террористами вакханалия убийств.

Де Сад не сумел провести даже одно заседание: ему стало дурно, и он покинул зал. Он понимал, что таким поведением вписывал в свое досье большой жирный минус, но поделать с собой ничего не мог. Впоследствии он писал Гофриди: «Я разваливаюсь, мне плохо, я кашляю кровью. Я написал вам, что меня назначили председателем моей секции; я даже облачился в надлежащий костюм совершенно кошмарного вида! Вчера я вынужден был надевать его дважды; впрочем, во время заседания мне пришлось уступить свое кресло заместителю председателя. Они хотели, чтобы голос мой звучал так же ужасно и бесчеловечно. Я этого никогда не хотел. Благодарение Богу, я более не занимаю этой должности!»

Однако попадать в «подозрительные» гражданин Сад не собирался. Отдавая дань охватившему Париж поветрию переименования улиц и площадей, де Сад придумал новые названия для улиц, находившихся в пределах секции, предложив заменить имена святых на гордые имена античных республиканцев (Спартак, Катон, братья Гракхи) и законодателей (Солон, Ликург), а также сделать улицу Конвента и улицу Французских гражданок. Еще он представил в секцию «Воззвание к душам Марата и Лепелетье». Луи Мишель Лепелетье де Сен-Фаржо, депутат Конвента, занимавшийся вопросами уголовного законодательства, голосовал за казнь короля и был убит 20 января 1793 года ярым сторонником монархии. Жан Поль Марат, издатель газеты «Друг народа», кумир санкюлотов, был заколот у себя дома в ванне 7 июля 1793 года хрупкой девушкой Шарлоттой Корде. Гражданские похороны Марата прошли в особенно торжественной обстановке. Сначала тело его было выставлено в церкви Кордельеров. Обнаженное до пояса, чтобы всем видна была рана, оно было задрапировано трехцветной тканью, голова была увенчана лавровым венком, а справа стояла ванна, в которой он был убит. Погребение, состоявшееся в саду монастыря Кордельеров, происходило ночью, при свете факелов, воскурении благовоний и пушечных выстрелах. Чем сильнее свирепствовал Террор, тем торжественней становились похороны жертв, павших в борьбе с тиранией и удостоившихся звания мученика. Казалось, из рожденного на полях сражений лозунга «Свобода или смерть!» убрали слово «свобода» и, по определению де Сада, оставили только смерть: «Vive la mort!»

Церемония, посвященная памяти двух мучеников свободы, для которой де Сад сочинил свою выпендюю речь, была пышной и многолюдной. Торжественная процессия, составленная из представителей парижских секций, женщин в белых платьях с трехцветными кушаками, детей с оливковыми ветвями, музыкантов и юных новобранцев,

прошествовала к площади Единства, где возле небольшого обелиска рядом с бюстом Марата были выставлены ванна, лампа и письменный прибор Друга народа. Далее процессия проследовала к площади Пик, где с импровизированной трибуны гражданин Сад выступил со своей пафосной речью: «Марат! Лепелетье!.. Голоса грядущих веков лишь внесут свою лепту в те хвалы, кои по праву воздает вам сейчас наше ликующее поколение. Непревзойденные мученики свободы, навеки занявшие свое место в Храме Памяти, пред вами благоговеет все человечество, вы парите над ним словно благотворные звезды, освещающие путь. Человечество не может обойтись без вас, ибо именно в вас оно видит ту сокровищницу, откуда черпает жизненную силу, откуда извлекает благодетельный образец всяческих добродетелей». Под бурные восторги собравшихся гражданин актер сошел с трибуны; его истинные чувства надежно скрывала благостная улыбка, даримая им окружившим его женщинам, которых среди зрителей было большинство.

Ораторский триумф и успех речи, напечатанной и распространенной не только в секциях Парижа, но и в провинции, окрылил его, заставил забыть о том, что публика в зале бывает разная. Выспренность речи де Сада хорошо звучали с трибун и театральных подмостков, а на заседаниях секции санкюлоты подозрительно косились на гражданина Сада «из бывших», часто говорившего малопонятным языком и поминавшего слишком много неизвестных богов. Пантеон «добрых санкюлотов» прошлого в основном сформировался, и первым в нем числился Иисус Христос, которого гражданин Сад не упоминал никогда. Глядя, как приумножались празднества и церемонии революционного культа, как священники массово отрекались от своих заблуждений и клялись служить одному лишь разуму, проповедовать философию и высокие принципы морали, как депутаты патриотов слагали к подножию трибун обломки и обрывки атрибутов католического культа, Сад насмешливо потирал руки. Наконец-то он сможет открыто продемонстрировать хотя бы часть своего «образа мыслей», а именно свои атеистические убеждения, которым он не изменял никогда. В согласии с «образом мыслей» де Сада Коммуна Парижа издала специальное постановление о ликвидации в столице религиозных культов и учреждении Дня разума. Правда, новый культ копировал ритуалы и церемонии культа изгнанного: вместо крестного хода — гражданская процессия, вместо святых, статуй и реликвий — герои и мученики, статуи и реликвии революции, а также алтари, благовония и речи о добронравии, морали и необходимости уничтожать врагов добродетели. «Где нет добрых нравов, там нет республики».

Театрализованный характер отправлений нового культа Разума не мог не привлечь внимания де Сада, и он наверняка отправился посмотреть на грандиозное торжество в честь Разума, устроенное в соборе Парижской Богоматери, превращенном в Храм разума. Посреди храма была воздвигнута символическая гора, увенчанная храмом философии в окружении бюстов Вольтера, Руссо, других служителей богини философии. На склонах горы пылал священный огонь истины. Де Сад не мог не оценить такие замечательные декорации. У себя в секции он наверняка говорил о них с восторгом, особенно о прекрасной гражданке Майар, изображавшей богиню Разума. И когда несколько парижских секций отправили своих представителей в Конвент, дабы те от имени членов секций отреклись от всех культов, кроме культа Разума, депутацию от секции Пик возглавил гражданин Сад; он же стал автором петиции, ему же было поручено зачитать ее.

Высказав свое удовлетворение по поводу установления царства философии, Сад косвенным образом напомнил о своем героическом прошлом узника «за убеждения»: «Уже давно философы тайно смеялись над кривляньями католических попов, однако тот, кто осмеливался высказать свои убеждения в полный голос, тотчас оказывался в Бастилии, где прислужники деспотизма умели быстро заставить его замолчать. Вы говорите, деспотизм не поддерживал суеверия?

И деспотизм, и суеверие вышли из одной колыбели, оба они сыновья фанатизма, оба имели верных слуг в лице бесполезных для общества священников, обитавших в храмах, и деспотов, восседавших на тронах. И деспотизм, и суеверие имеют общие корни, а потому, когда речь заходит об их уничтожении, они сопротивляются вместе». Далее де Сад подхватил звучавшую со всех трибун и на всех празднествах тему добродетели. «Пусть каждую декаду с трибун наших храмов, которые в этот день будут открыты для всех, станут звучать хвалы Добродетели, почитаемой в этом храме, а также имена тех граждан, которые отличились усердным ей служением. Пусть там исполняются гимны в честь Добродетели; пусть курится фимиам у подножия алтарей, возведенных в честь Добродетели; и пусть каждый гражданин, выходя из храма после этой церемонии, ощущает себя достойным такого правительства, как наше, и с еще большим рвением исполняет веления Добродетели, кою он только что чествовал. И пусть супруга его и дети следуют за ним по пути Добродетели, всеобщего счастья и пользы. Таким образом человек сделается чист, а душа его, открытая для истины, проникнется добродетелью, в то время как прежде она питалась исключительно пороками, коими ее отравляли религиозные шарлатаны».

Под этими словами мог бы подписаться и гражданин Шамуло, предложивший называть площади и улицы именами добродетелей, ибо тогда «добродетель во всех ее видах не будет сходить с уст народа!», и многие другие ораторы. Но у гражданина Сада вновь не хватило политического чутья: он не заметил, как мрачно взирал на оголтелых дехристианизаторов Робеспьер. Неподкупный всегда считал, что атеизм присущ только безнравственным аристократам, народ же в своей массе религиозен. В этом де Сад с ним был полностью согласен. «Только аристократы не верили в Бога», — писал он. Значит, надо было дать народу новую религию, претворить в жизнь высказывание Вольтера: «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать». И Робеспьер провозгласил культ Верховного существа, отвергавший небытие и утверждавший бессмертие души и культ гражданских добродетелей, то есть все те ценности, которые вызывали отвращение у гражданина де Сада.

Предложения ввести в революционный пантеон Верховное существо уже поступали, но окончательное утверждение культ получил в 1794 году, после майской речи Робеспьера. 8 июня 1794 года в Париже прошло пышное празднество в честь Верховного существа, на котором главная роль была отведена Робеспьеру. В голубом фраке и золотистых панталонах председатель Конвента поджигал картонные фигуры Атеизма, Эгоизма, Раздора и Честолюбия, освобождая дорогу Мудрости. Но, увы, костер разгорелся сильнее, чем предполагалось, и лик Мудрости явился перед собравшимися черным. Возможно, это было знамение: через два дня, 20 июня, был принят печально знаменитый закон 22 прериаля, упразднявший судебную процедуру и устанавливавший смертную казнь по всем делам, подлежащим ведению Революционного трибунала. Судьи выносили приговор на основании «внутреннего убеждения», при этом понимая, что, если их «убеждения» не совпадут с убеждениями правящего блока якобинцев, они рискуют оказаться на месте подсудимых. Террор становился повседневным, будничным кошмаром. Жертв судили уже не по отдельности, а группами — для скорости; постановление и приговор также были общими.

Выступая в своих жестоких романах апологетом преступления как веления природы, де Сад не находил оправдания Террору, не мог согласиться с убийством за неправильный идеологический выбор, не мог принять бесконечную «Варфоломеевскую ночь, освященную законом» и культа гильотины, прекрасно уживавшегося с культом Верховного существа. Накануне своего ареста он писал нашедшему убежище в Риме кардиналу де Берни: «Дорогой кардинал, нам грозит страшное несчастье, я

до сих пор в себя прийти не могу. Похоже, тиран (так именует де Сад Робеспьера. — Е. М.) вместе со своими подручными исподтишка готовится восстановить обожествляемую химеру. Судите сами, шутовство еще то... <...> Поверите ли вы, если я скажу, что тайное евангелие новой религии, установление которой, я надеюсь, все же пока не произойдет (хотя мы движемся к нему семимильными шагами) сводится к постулату «Возненавидь ближнего как самого себя»? <...> Представьте себе: мы-то уже решили, что истребили лицемерие, а тут нате, нам готовят новый спектакль. После всего этого моря крови — знаете что? Держу сто, тысячу, сто тысяч против одного: *Верховное существо*] Не смейтесь, это напыщенное название все той же Химеры, нам просто поменяли на марионетке костюм...»

Де Сада арестовали 8 декабря 1793 года. Он не сопротивлялся, лишь сказал, что как всякий добрый гражданин и патриот готов подчиниться закону, и предъявил членам комитета имевшиеся у него бумаги. Представители власти не нашли в них ничего компрометирующего, однако отвели Донасьена Альфонса Франсуа в Мадлонет, бывший монастырь, недавно превращенный в тюрьму. К этому времени в Париже не стало хватать тюрем, и под них использовали здания монастырей, предварительно выгнав оттуда бывших служителей бывшего культа. Служитель, сделавший запись в тюремном реестре, указал: «Рост пять футов два дюйма, волосы и брови светлые, с проседью, лоб высокий, открытый, глаза светло-голубые, нос средний, рот маленький, подбородок круглый, лицо овальное и полное». Этого полного, росту ниже среднего, немолодого гражданина втиснули в отхожее место, где ему предстояло провести неизвестно сколько времени. Тюрьмы переполнены, и другого места для де Сада не нашлось. При Старом порядке места заключения господина маркиза были не в пример комфортнее. Зато в тюрьмах революции не было недостатка в обществе; в Мадлонете де Сад встретил знакомых актеров из «Комеди Франсез», своих бывших гонителей-судей, а еще знакомых аристократов, интеллектуалов, министров... И так будет в каждой из тюрем, куда будут переводить де Сада, пока верная Констанс не сумеет перевести его в Пикпюс, платный дом предварительного заключения, единственное место, где «подозрительным» за деньги предоставляли возможность «быть забытыми» обществом. Взятки за направление в заведение гражданина Куаньяра брали все: и депутаты, и судьи, и привратники, так что пребывание там обходилось недешево. Одна только комната стоила тысячу ливров в сутки. Когда герцогиня де Шатле прекратила платить, ее немедленно перевели в другую тюрьму и отправили

на гильотину. «Она неправильно поняла смысл слова “экономия”», — заметил Куаньяр.

Несмотря на ужасные условия в Мадлонете, де Сад вспомнил свой опыт борьбы в тюрьмах Старого порядка. И немедленно составил письма в секцию и в грозный Комитет общественного спасения, в котором указывал и доказывал, что ни в чем не виновен: «Сердцем я чист, и если Республика потребует, я готов пролить кровь за ее благополучие. Поэтому заклинаю вас, назначьте кого-нибудь произвести расследование моего поведения. Я готов понести наказание, если я его заслуживаю, но если я ни в чем не повинен, тогда верните мне свободу». При Старом порядке де Сад обвинял и требовал, здесь он исполнял роль смиренного просителя. Но и для этого надо было иметь немалое мужество. Из Мадлонета гражданина Сада перевели в тюрьму Сен-Лазар, бывший монастырь кармелитов, где условия содержания узников были несколько лучше. Во всяком случае, поэт Руше так описывал свою камеру в Сен-Лазаре: «...в том, что касается пространства, и воздуха, и вида из окна, тюрьма несколько не сравнима с узилищем мрачным, лишенным воздуха и окруженным со всех сторон высокими стенами. У меня была камера, где я зависел только от себя и мог спать и работать, когда мне было угодно».

Де Сад мучительно размышлял: в чем его могут обвинить? Понимая, что попасть на гильотину можно и без всякой причины, он сдаваться не собирался и, несмотря на брошенную им фразу: «Если атеизм хочет мучеников, пусть скажет: я готов пролить за него свою кровь», намеревался отчаянно защищаться, то есть, как и при Старом порядке, сочинять оправдательные письма, искусно смешивая правду и ложь, называть себя в третьем лице, дабы придать объективность своим отчетам, и так далее. Он написал длинное письмо в Комитет общественной безопасности, в котором вновь напомнил о своих подвигах 2 июля 1789 года, подчеркнул свою прозорливость и заявил, что в своем романе «Алина и Валькур» (все еще пребывавшем в рукописи) он уже за год до взятия Бастилии предсказал наступление революции. Сообщил, что оплатил снаряжение трех волонтеров, а во время пребывания в столице полка марсельских федератов брал на постой двоих солдат. Подтвердил, что никогда не посещал ни одного контрреволюционного клуба: «Конечно, я еще не был членом якобинского клуба, но я мечтал в него вступить и при любой возможности ходил на его заседания, дабы внимать священным принципам, коим Республика обязана всем». Он даже составил специальную анкету и подробно ответил на поставленные им самим вопросы. Вот выдержка из нее:

«Источники дохода до и во время Революции.

До Революции я получал от шести до семи тысяч ливров ежегодной ренты, однако в то время я был молод, проел часть приданого жены, и теперь мне необходимо выплачивать ей определенную сумму. Сейчас годовой доход мой составляет едва ли не меньше двух тысяч ливров, и мои труды приносят мне еще почти столько же — разумеется, когда я нахожусь на свободе. Мое заключение меня весьма удручает, однако должен сказать, я не претерпел от Революции никакого ущерба; ей я обязан только благодарностью».

Сочинения гражданина Альдонса Сада (как же де Сад любил играть своими многочисленными именами!) остались без ответа. Донасьен Альфонс Франсуа вряд ли был столь наивен, чтобы надеяться убедить судей в своей правдивости. Скорее, он пытался заговорить их, использовать выпренную риторику тогдашних речей в качестве заклинания и, выставив заслуги перед режимом, проскочить в кахую-нибудь лазейку. Лазейку, иначе говоря — заведение Куаньяра, нашла для него Констанс, имевшая знакомых среди депутатов.

Что конкретно могли вменить в вину маркизу-санкюлоту помимо его аристократического происхождения, от которого он в оправдательном письме отрекся, и сыновей-эмигрантов? Последних он, по его словам, не видел с раннего детства, но, дабы возместить ущерб, нанесенный его двумя сыновьями республике, заявил, что готов нарожать новых детей и лично воспитать их в республиканском духе!

Высказывание в духе маршала Ришелье! Когда маршал в преклонном возрасте захотел жениться, то заявил своему сыну герцогу де Фронсаку: «Хотя мне 84 года, я хочу ребенка и надеюсь, он будет лучшим подданным, чем вы». Возможно, де Сад вспомнил эту историю, которую мог услышать от своего дядюшки-аббата, состоявшего в дружбе с маршалом.

В сущности, де Сада не могли обвинить ни в чем особенном. Да, он пытался получить место в полку герцога де Коссе-Бриссака в бытность того командующим королевской гвардией. Но об этом вспомнили случайно — имя Коссе-Бриссака всплыло на процессе мадам Дюбарри, любовником которой он был. К тому же де Сад только пытался вступить в полк, пытался, когда король еще был у власти, но места не получил, хотя и остался в списках. Опаснее было обвинение в распущенности и безнравственности — эти недостатки были свойственны только загнивающей аристократии. Но аморальные поступки гражданина Сада остались в прошлом, о них можно было узнать только из старых газет, а сам де Сад давно уже не считал их преступлениями.

К всеобщему изумлению, гражданин депутат Жак Антуан Дюлор извлек на белый свет давние истории о маркизе-живорезе, опубликовал их в своем памфлете под названием «Список бывших герцогов, маркизов, графов, баронов и т. д.» и сделал поистине убийственный для де Сада вывод: «Этот человек, которого тюрьма спасла от эшафота, который тюремные оковы должен был расценивать как милость, каким-то образом сумел причислить себя к несчастным жертвам, заточенным на основании судебного произвола. Этот отвратительный мерзавец живет среди цивилизованных людей и безнаказанно причисляет себя к числу граждан». После таких инвектив де Сада тотчас разоблачили как автора «ужасного» романа «Несчастья добродетели», выдержавшего к тому времени шесть изданий и превзошедшего тиражи бесцензурных, то есть порнографических сочинений.

Но «Несчастья добродетели» вышли анонимно, и, возникни необходимость вынести на их основании вердикт, принадлежность романа де Саду пришлось бы доказывать. Если бы де Сад был простым гражданином, а не занимал довольно высокие посты в секции и не был бы автором революционных брошюр, издававшихся на средства республики многотысячными тиражами, доказательствами можно было бы пренебречь. Но Донасьен Альфонс Франсуа успел поднатореть в революционном формализме и бюрократии и использовал каждую зацепку, чтобы выступить в свою защиту. Возможно, поэтому, когда Констанс начала хлопотать о его переводе в Пикпюс, власти сочли возможным не препятствовать ей, чтобы до поры убрать с глаз долой неуживчивого заключенного.

Маркиз не справился с повседневной ролью санкюлота, красный колпак не мог скрыть его «образ мыслей». Его обмолвки, недоговоренности, его сочувствие королю, смена настроения, наверняка произошедшая с ним после 10 августа и сентябрьской резни в тюрьмах, его воинствующий атеизм не остались незамеченными. «С тех пор, как он стал являться на заседания секции, начиная с 10 августа, он постоянно прикидывался патриотом. Однако истинных патриотов ему одурачить не удалось <...> Враг республиканских принципов в целом, он в частных беседах постоянно приводил примеры для сравнения из греческой и римской истории с целью доказать невозможность установления во Франции республиканского правления» — было написано в «характеристике», выданной секцией маркизу.

В Пикпюсе де Сад вел размеренную жизнь, много гулял в саду, писал, читал, быть может, заводил интрижки. Верная Констанс навещала де Сада почти каждый день, и, кажется, он нисколько не возражал, что путь к нему она проделывала пешком. В это же время в Пикпюсе находился автор еще одного «возмутительного» романа — Шодерло де Лакло, чьи «Опасные связи» в свое время ставили на одну доску с сочинениями маркиза. Но эти два автора были такими разными людьми, что, встречаясь в коридорах, даже не здоровались.

Постановление от 26 прериала (14 июня) 1794 года коренным образом изменило жизнь пансионеров Пикпюса. В двух шагах от дома Куаньяра, на площади Поверженного Трона, установили гильотину: земля в центре Парижа отказывалась впитывать потоки крови, лившиеся с эшафота, и «национальную бритву» перевезли на окраину. Чтобы трупы не везти далеко, решили выкопать рвы в саду заведения Куаньяра. Пришли рабочие, отгородили половину сада и вырыли два глубоких рва, куда по ночам стали свозить тела казненных. Там же, в саду, подручные Сансона разбирали имущество, оставшееся от обезглавленных. И мрачный прямоугольник гильотины, и страшные рвы, которые время от времени засыпали негашеной известью, чтобы побороть смрад разложения, были прекрасно видны из окон верхних этажей пансиона. И пансионеры, привыкшие считать себя забытыми властью, затаились: окна стали закрывать ставнями, прекратились прогулки по саду. «За тридцать пять дней мы похоронили тысячу восемьсот человек», — писал де Сад.

Террор добрался до пансионеров Куаньяра, ряды их поредели, и те, кто оставались после переклички, отправлялись к себе в комнаты, гадая, когда настанет их очередь. Оторванные от внешнего мира, лишённые газет и свиданий, они проникались уверенностью, что мир за стенами Пикпюса скоро прекратит свое существование, ибо в нем больше не останется людей. Не у всех рассудок выдерживал такое испытание; де Сада спасало его перо. Недаром он накануне ареста писал: «Ночи, проведенные с пером в руке, есть и будут лучшими воспоминаниями моей жизни. Ах, как летит мое перо, преодолевая преграды, которыми окружили меня со всех сторон! Когда ум возбужден, буквы приобретают поистине удивительную силу! Факел философии всегда будет загораться от факела желания, его не погасит время, и тысячи верховных существ, как бы они ни старались, не сумеют задуть даже его искру». Считается, что именно в Пикпюсе в

основном была написала «Философия в будуаре».

8 термидора (26 июля) 1794 года общественный обвинитель Фукье-Тенвиль вынес приговор двадцати восьми заключенным. Под номером одиннадцатым в списке значился гражданин Донасьен Альфонс Франсуа Сад. Среди приговоренных не было ни грабителей, ни разбойников, ни убийц, вина их заключалась только в том, что бюрократическая машина смерти, однажды запущенная, требовала новых жертв. 9 термидора черная, открытая для всеобщего обозрения повозка начала свой скорбный объезд тюрем, собирая очередную жатву для «вдовы Капета». Из заведения Кауньяра должны были забрать двоих — Сада и графа Бешон д'Аркьена. Стараниями Констанс (или все же из-за неразберихи, царившей в переполненных тюрьмах?) комиссар, выкликавший заключенных, поставил против имени Сада «Отсутствует» и удовлетворился одной жертвой.

В этот день Париж полнился слухами: говорили, что Робеспьер арестован, и тут же возражали сами себе: нет, Конвент встретил его очередную речь аплодисментами! А потом вновь утверждали, что смещен не только Робеспьер, но и все его правительство... На одной из улиц народ попытался задержать телеги, везущие осужденных, и освободить несчастных, но примчавшийся отряд Национальной гвардии разогнал толпу, и телеги беспрепятственно проследовали к площади Поверженного Трона. Последние жертвы Террора, среди которых должен был находиться и маркиз де Сад, были обезглавлены уже после ареста Робеспьера. Полагают, что маркиз видел эту казнь из окна своей комнаты. Второй раз карающая машина государства осуждала его на смерть, и второй раз он избегал ее. Наверное, именно поэтому он так яростно выступал против любых законов, ограничивающих свободу человека.

Падение Робеспьера означало конец Террора. «Подозрительных» стали выпускать из тюрем. В связи со сменой политического курса секция Пик дала гражданину Саду совершенно новую «характеристику»: «Мы, нижеподписавшиеся граждане секции Пик, удостоверяем, что знаем гражданина Сада, доверяли ему выполнять различные обязанности как в самой секции, так и в лечебницах, и он исполнял их с рвением и усердием; мы удостоверяем, что за все то время, пока мы его знаем, поведение его всегда было поведением истинного патриота и не давало основания сомневаться в его благонадежности».

15 октября 1794 года де Сад покинул Пикпюс и вернулся домой, на улицу Нев-де-Матюрен.

Глава IX.

ГРАЖДАНИН ЛИТЕРАТОР

Выйдя из тюрьмы, де Сад убедился, что политическая власть сменилась и он больше не должен доказывать свою благонадежность, писать заказные агитки, выступать на подмостках политического театра, а может всецело отдаться любимому занятию, то есть сочинительству. Правда, для этого необходимо было решить вопрос: чем оплачивать повседневные нужды; поэтому получение денег стало задачей чрезвычайно актуальной. Тем более что Констанс для оплаты его пребывания в Пикпюсе пришлось наделать немало долгов, которые также требовалось отдавать, так что первойшей заботой Сада стало добиться снятия секвестра, наложенного на его имущество после ареста. Исполненный оптимизма, де Сад писал Гоффриди: «Полагаю, мы можем быть уверены, что спокойствие наконец-то воцарилось навеки. После смерти негодяев тучи рассеялись, и покой, которым мы вскоре сможем наслаждаться, станет лучшим лекарством для наших ран».

Но до покоя было еще очень далеко. В столице царили спекуляция, дороговизна и инфляция, на протяжении 1794— 1795 годов неоднократно вспыхивали мятежи санкюлотов, в мае 1795-го подняли мятеж роялисты, в провинции хозяйничали банды «поджигателей», поджаривавших пятки крестьянам, чтобы заставить их отдать последнее. Страну со всех сторон окружала враждебная монархическая Европа, война с которой была неизбежна. В сентябре 1795 года была принята новая конституция, согласно которой во Франции сохранялась республика во главе с Директорией из пяти человек и двухпалатным парламентом: Советом старейшин и Советом пятисот. Те, кто за время Революции успели сколотить себе состояние, теперь хотели им воспользоваться. Париж, по свидетельству современников, превратился в настоящий вертеп. Театры были переполнены, любимым развлечением стали балы, где щеголи-инкруаябли (буквально: «невероятные») и щеголихи-мервейезы (буквально: «чудесницы») состязались в экстравагантности нарядов. Молодые люди носили длинные рединготы с широкими обшлагами, прическу «собачьи уши», длинные волосы сзади собирали в хвост или заплетали в косу; дамы ввели в моду античный стиль и состязались в прозрачности туник. Устраивали «балы жертв», куда допускались только родственники

казненных. На таких балах женщины зачесывали волосы наверх, а на шею надевали тонкие красные ленточки. Обувь а-ля античные сандалии способствовала возникновению моды носить кольца на пальцах ног. Про тогдашних модниц писали: «Придумав одежду, буквально не прикрывавшую ничего, они таким образом нашли способ оскорблять общественную стыдливость, не нарушая благопристойности». Сумел ли де Сад воспользоваться воцарившейся свободой нравов и разгулом преступных страстей, не сдерживаемых никакими законами, ибо прежние законы были отменены, а новые еще не приняли? Сведений об этом не сохранилось, но можно предположить, что он делал попытки, но подняться до уровня правивших бал термидорианцев у него катастрофически не хватало денег.

Когда сняли секвестр, де Сад аккуратно собрал все «справки» и отправил их в Прованс с просьбой как можно скорее прислать причитавшиеся ему доходы. Но желания его как обычно опережали действительность: часть его земель по-прежнему оставалась отчужденной, а на тех, что вернулись в его распоряжение, урожаи были невелики, и продавались они государству, платившему самые низкие цены. Гофриди сделать ничего не мог, ибо как ярый роялист все еще продолжал скрываться. Вдобавок поступавшие доходы в основном были в бумажных ассигнатах, которые постоянно обесценивались. В общем, вопрос об источниках существования оставался открытым. Де Сад решил попытаться счастья на государственной службе. Несмотря на свойственные ему феодальные предрассудки, зарабатывать пером он, в отличие от многих своих собратьев по классу, никогда не считал зазорным. Он стал рассылать письма должностным лицам с просьбой о вакансии — либо на дипломатической службе, либо в библиотеке, либо в музее. Ни от кого ответа не последовало: подозрительное прошлое, солидный возраст, авторство (пусть и отрицаемое) непристойного романа, дети в эмиграции — словом, кандидатура для государственного служащего неподходящая. Де Саду оставалось одно — браться за перо и зарабатывать литературным трудом, тем более что «неприличные» сочинения в галереях Пале-Рояля пользовались повышенным спросом.

У гражданина литератора были уже готовые труды, и даже почти сверстанные. Речь шла прежде всего о романе «Алина и Валькур»; незадолго до своего ареста де Сад подверг рукопись правке «в соответствии с духом времени» и сдал в типографию печатника Жируара. Теперь место казненного Жируара заняла его вдова, она и издала восемь небольших томов с изящными офортами. Отсылая их Гофриди, де Сад отправил в

Прованс и небольшое рекламное объявление, где предлагал всем желающим заказывать книгу по отпускной цене издательства — всего сто ливров. Издание «Алины и Валькура» автора не обогатило, но позволило какое-то время продержаться на плаву. За короткое время роман переиздавался трижды и, возможно, выдержал бы и большее число изданий, если бы не плагиатор, дважды выпустивший под разными названиями историю Леоноры и Сенваля. Протест, заявленный де Садом, резонанса не получил, но плагиатор, попавшийся на другом мошенничестве, все же понес заслуженное наказание. Кража именно этой части романа вполне объяснима: она значительно динамичнее обрамляющего ее повествования в письмах, а мода на эпистолярный жанр к этому времени уже прошла.

Несмотря на политические перемены, де Сад выпустил «Алину и Валькура» с внесенной правкой, сделанной еще до ареста. Возможно, именно чтобы внести коррективы, де Сад и хотел забрать рукопись из издательства Жируара, но это у него не получилось. «Самое необычное, что произведение это написано в Бастилии. Автор его, находясь во власти сил деспотизма, тем не менее разглядел грядущую Революцию; столь необычная прозорливость вполне закономерно пробуждает к сочинению его живой интерес», — гласило предисловие издателя. Вряд ли во время правления Директории такие реверансы были необходимы, но, по крайней мере, вреда от них для репутации автора не было. Тем более что в романе, «написанном за год до революции во Франции», можно было найти некоторые идеи, которые впоследствии звучали в речах рьяных революционеров.

Так, один из персонажей романа, португалец Сармьенто, состоящий на службе у правителя Бютуа, предлагает Сенвалю жаркое из бедра девицы, а когда тот в ужасе отвергает угощение, Сармьенто объясняет, что отвращение к такой пище является всего лишь следствием привычки и национального предрассудка. «Над нами больше властвует привычка, чем природа; природа всего лишь произвела нас на свет, привычка же нас лепит; только глупец верит в существование нравственной доброты: всякая манера поведения, совершенно безразличная сама по себе, становится или хорошей, или дурной с точки зрения страны, где ее оценивают». Речь Сармьенто в защиту каннибализма напоминала предложение Морелли, полагавшего, что для поддержания боевого духа каждый гражданин должен в обязательном порядке раз в неделю покупать пищу в «национальной мясной лавке, построенной по проекту гражданина Давида, где будет выставлено на продажу мясо гильотинированных». Разница заключалась в

том, что пополнением лавки ведало государство, уничтожавшее людей по идейным мотивам, а на сковородку к Сармьенто поступали жертвы жестоких природных страстей правителя Бютуа и его подданных.

По мнению де Сада, жестокость является «одним из наиболее естественных чувств, присущих человеку», поэтому общество не имеет права препятствовать человеку проявлять данные ему от природы чувства и страсти. Взгляд де Сада на общество очевидно противоречил воззрениям эпохи социального оптимизма, внушенного просвещенным разумом, полагавшим возможным настолько идеологизировать индивида, что это позволило бы создать общество всеобщего равенства, включая равенство вкусов, привычек и пристрастий. В таком обществе и преступление, и оправдание преступления было основано на идеологическом выборе, правильность которого определяла власть и созданные ею законы, которых вечный бунтарь де Сад не терпел никогда. «Я хочу совершать преступления, чтобы потакать своим страстям, но никогда не совершу преступления, чтобы способствовать развитию страсти к преступлению у другого», — писал он.

Однако общество без законов, где всем правят исключительно преступные страсти и естественные потребности, может существовать только среди дикарей, написала здравомыслящая мадам де Сад после прочтения рукописи «Алины и Валькура». Такое общество уничтожит самое себя, признал де Сад устами Сармьенто, и тут же добавил: «Но природа создает, чтобы разрушать», а если разрушение является результатом порока, значит, порок является законом природы. А империей больше, империей меньше — природе все равно.

Пытаясь представить себе идеальное общество, де Сад создал государство Тамоз, где благодаря мудрому правлению Заме почти не было законов, тюрьмы были упразднены, а преступления перестали называть преступлениями, отчего количество их уменьшилось само собой. В результате народ Тамоз стал «кротким, чувствительным, добродетельным без законов, благочестивым без религии». Подвох первой заметила мадам де Сад, позволившая себе не согласиться с тем, что, если зло назвать добром, оно от этого изменится. «Получается, что зло и добро заключено исключительно в словах, а сам поступок значения не имеет; в таком случае мы получаем равенство принципов, и людоед получает такое же право поедать себе подобных, как и Заме делать своих подданных счастливыми. Уравняв добродетели с пороками, мы начинаем мыслить как португалец (Сармьенто. — *Е. М.*). Они (Заме и Бен Маакоро. — *Е. М.*) руководствуются одними и теми же принципами, только правят по-разному: один при

помощи жестокости, другой при помощи благодеяний, но мне нисколько не нравится, что, следуя принципам, Заме может согласиться с людоедством». По мнению Рене-Пелажи, планы Заме по строительству государства справедливости могли осуществиться только в том случае, если бы у его подданных не было «ни страстей, ни пороков», иначе говоря, если бы они были не люди, а ангелы. А вдруг в государстве Заме появится сумасшедший, — вопрошала она, что тогда сделает с ним правитель?

Но де Сад, чей «образ мыслей» был непоколебим, вносил изменения только под давлением реальной угрозы собственной безопасности, поэтому замечания супруги остались без последствий. Тем более что в то время весь пыл своей души маркиз вкладывал в осуждение законодательной системы, упрятавшей его за решетку. В доработанном поневоле варианте мудрый Заме, «предвидевший» революцию во Франции, решил не передавать бразды правления сыну, ибо хотел, чтобы после его смерти народ «наслаждался благами свободного республиканского правления», к которому Заме подготовил его как заботливый отец. В дальнейшем же, как был уверен Заме, счастливые — ибо они исповедуют республиканские принципы — народы Франции и Тамоз воссоединятся.

С изданием «Алины и Валькура» де Сад, кажется, действительно чуть-чуть опоздал. Термидорианская публика, уставшая от газет, число которых по сравнению с концом 1789 года сократилось до ста с небольшим, от ораторского слова и театральных пьес, от листовок и памфлетов (либо пасквилей), возвращалась к чтению длинных романов. Вымышленные истории, угодившие вкусам читателей, раскупались нарасхват. А читатели, привыкшие за годы революции к эротико-политическим памфлетам, в которых истинные патриоты, воплощавшие в себе здоровые семейные ценности, без всяких эвфемизмов и ограничений описывали и разоблачали разврат загнивавшей аристократии, продолжали с удовольствием поглощать фривольные сочинения, далекие от прославления гражданских доблестей, а напротив, напоминающие о «сладостях жизни». Отъявленный либертинаж прекрасно уживался со свободой, порнография — с морализаторством. Авторы памфлетов, выставляя себя хранителями морали, писали непристойным языком разврата, их описания приближались к тем непристойным сочинениям восемнадцатого столетия, о которых говорили: их «читают руками». Казалось, при таком обилии непристойной литературы де Сад мог бы, наконец, перестать скрывать свое имя. Но это только на первый взгляд. Порнографический лексикон де Сада, из-за которого он наравне с Ретифом, Мирабо и другими своими современниками попал в «запретные писатели»^[13], — это, пожалуй, самая

банальная часть его сочинений, ибо в отличие от Ретифа или Андреа де Нерсиа эротизм у де Сада был, в сущности, поводом для создания стройного здания собственного «образа мыслей»: философии зла, преступления и атеизма. О чем бы и каким бы языком ни писал де Сад, он упорно твердил одно: страсть к разрушению заложена в природе, природа — безликая и равнодушная сила, не нуждающаяся ни в особом культе, ни в поклонении, но карающая любого, кто смеет ей противиться, кто сверяет свои действия с заповедями выдуманного Бога, препятствующими осуществлению потребностей, заложенных природою. Истинный сын Просвещения, он отвергал идею прогресса, поэтому кирпичики, из которых сложено здание его философии, всегда одни и те же. Возможно, поэтому чтение «программных» сочинений де Сада вполне может наскучить: постулаты своей философии он излагает многократно.

В 1795 году в продаже появились два небольших томика под названием «Философия в будуаре», посмертное произведение автора «Жюстины». Завлекающий эпиграф «Мать предпишет дочери прочесть его» пародировал эпиграф «Мать запретит дочери читать его», предпосланный к памфлету «Маточное буйство у Марии-Антуанетты, жены Людовика XVI» (1791), Во втором издании автор несколько изменил название: «Философия в будуаре, или Аморальные наставники» и добавил подзаголовок: «Диалоги, предназначенные для воспитания молодых девиц». Связав анонимного автора нового сочинения с «Жюегиной», де Сад почему-то решил похоронить его. Возможно, таким образом он хотел обезопасить себя от повторного обвинения в «крайней безнравственности», едва не стоившего ему жизни, и заодно обезопаситься на будущее, так как в это время за его рабочим столом рождалась «Новая Жюстина». Этим заявлением он также хотел привлечь к новой книге любопытство читателя, который в свое время активно раскупал тиражи «Злоключений добродетели».

«Философия в будуаре», состоящая из семи диалогов, или, точнее, картин, ибо повествование у де Сада очень «зримое», были написаны в Пикпюсе, в комнате, из окна которой можно было видеть гильотину, а изорва, куда сваливали трупы казненных, доносились запахи разложения. С 14 июня по 27 июля на площади Поверженного Трона, были казнены тысяча триста шесть человек (из них сто девяносто семь женщин); тела их были закопаны в двух рвах Пикпюса. Больше половины казненных были выходцами из народа: революция пожирала собственных детей. Можно только предполагать, какие чувства испытывал в то время де Сад, убежденный противник смертной казни и одновременно признававший за

человеком право на убийство «из-за природного пристрастия к преступлениям», истребившего на бумаге сотни бессловесных жертв и вынужденного проживать в тени гильотины и каждодневно быть свидетелем кровопролития, жертвой которого он в любую минуту мог стать сам. Де Сад не описывал этих чувств никому, только в годовщину казни короля написал Гофриди: «Гильотина, сооруженная прямо у меня на глазах, принесла мне в сотню раз больше вреда, чем все бастилии, вместе взятые».

Отгородившись от ужасов окружавшего его мира листами бумаги, испещренными торопливым размашистым почерком, которым уже написана «Жюстина» и будет написана «Жюльетта» (письма в секцию гражданин Сад писал четким округлым почерком), де Сад выстроил роскошный будуар, комнату между спальней и гостиной, где либертены-аристо-краты во главе с мадам де Сент-Анж и Дольмансе взялись обучить искусству либертинажа юную Эжени. Используя себя в качестве наглядных пособий, они посвятили девицу во все таинства любви, в том числе и однополый, и принялись энергично формировать ее вкусы. Ученица оказалась необычайно способной и любознательной, и главный учитель Дольмансе, утверждавший, что «вкусы человека в разврате схематически сводятся к трем: содомия, святотатственные фантазии и жестокость», счел необходимым ознакомить ее с теорией либертинажа, ибо только слово способно придать наслаждению подлинную утонченность и беспредельность. Бессловесных либертенов не существует.

Как предупреждает заголовок, главное в садическом будуаре — это философия, поэтому стремительные эротические вакханалии, по содержанию мало чем отличавшиеся от тогдашних порнографических сочинений, сменялись длинными рассуждениями на темы религии, нравственности, преступления и — в духе времени — революционной морали. Наверное, иначе и быть не могло: идея литературной мести прочно засела в голове де Сада, и если в «Ста двадцати днях Содома» он изничтожал век Людовика XIV, породивший ненавистные ему «письма с печатью», то в «Философии в будуаре» он язвительно высмеивал якобинскую идеологию, доводя до абсурда революционную теорию.

«Предоставлять человеку выбор — значит, искушать его», — убеждает Эжени Дольмансе, обрушиваясь на Бога, наделившего человека свободой выбора. «Добродетели создают только неблагодарных», «Никогда не давай милостыню», «Нет ни одного действия, которое было бы истинно преступным, и ни одного, которое можно было бы назвать добродетельным. Все зависит от наших обычаев и климата; то, что именуется преступлением здесь, нередко является добродетелью в ста лье

отсюда», — поучают либертенy свою воспитанницу. Отвечая на вопрос Эжени, необходимо ли благонравие обществу, Дольмансе извлекает брошюру под названием «Французы, еще одно усилие, если вы хотите быть истинными республиканцами!», купленную им во Дворце равенства, и зачитывает памфлет, выворачивающий наизнанку все республиканские ценности.

Автор памфлета требует для истинных республиканцев такой веры, которая поднимала бы душу гражданина к «драгоценной свободе — единственному кумиру современности». Чтобы стать свободными, французы не должны иметь дела с «Богом, лишенным протяженности, что, впрочем, не мешает ему пронизывать собою вселенную; с Богом всемогущим, который, однако, никогда не может добиться осуществления своей воли; со всеблагим Существом, порождающим только лишь недовольных; с Существом, любящим порядок и правящим в полнейшем хаосе. Одним словом, мы не желаем считать Богом существо, противоречащее природе и порождающее путаницу; существо, под влиянием которого человек совершает ужасные вещи. Подобный Бог заставляет нас содрогаться от негодования, поэтому мы обрекаем Его на забвение, из которого гнусный Робеспьер недавно попытался его извлечь». Адресуя христианскому Богу свои обычные инвективы, де Сад не мог не бросить камень в огород Верховного существа, культ которого пытался установить Робеспьер. Противник любого Верховного Божества, каким бы именем его ни называли, Существа, ограничивавшего его свободу, де Сад не мог простить якобинцам введения нового культа, который они стали насаждать на опустевшем месте отринутого ими христианства. По мнению де Сада, теизм, предложенный Робеспьером, являлся «самым непримиримым врагом той свободы, которой мы служим».

При новом правительстве неизбежны новые нравы, ибо множество мелких заблуждений, почитавшихся во времена правления королей преступными, в обществе свободных людей «совершенно ничего не значат». Во времена монархии воровство и распутство считались уголовными преступлениями. Но в республике воровство не является преступлением, ибо помимо укрепления храбрости, ловкости и силы оно способствует поддержанию имущественного равенства среди граждан. Поэтому наказанию надо подвергать не грабителя, а того, кто был настолько беспечен, что позволил себя ограбить.

Некоторые рассматривают проституцию, прелюбодеяние, кровосмешение, насилие и содомию как преступление, ибо они якобы наносят вред «нашему долгу по отношению к другим людям». Но все эти

так называемые нравственные преступления совершенно безразличны для республики, провозгласившей высшей ценностью свободу своих граждан, «ведь ни одна человеческая страсть не требует большей свободы, нежели разврат».

И гражданин Сад старательно описывает республиканские учреждения разврата, мало чем отличающиеся от тех, которые, к примеру, представлены в памфлете под названием «Патриотический бордель, организованный королевой французов для услаждения депутатов нового законодательного собрания» (1791). «В городах должны существовать различные помещения, удобные, просторные, опрятно убранные и безопасные во всех отношениях, где причудам наслаждающихся распутников будут предоставлены лица любого пола и возраста, любое создание», — пишет гражданин Сад. В «патриотическом борделе» также все предусмотрено: «Все страсти, все вкусы обоих полов получают там полнейшее удовлетворение: мужчина сможет насладиться мужчиною, а женщина женщиной. Все желания, все проявления чувств будут утолены. После наслаждений естественных, получаемых от совокупления мужчины и женщины, можно свободно перейти к наслаждениям противоестественным, а затем сравнить ощущения».

Мария-Антуанетта и данная ей анонимным автором в помощницы Теруань де Мерикур добровольно приглашают женщин в бордель: «Замужние женщины с огненным темпераментом, которых перестанут удовлетворять их мужья, имеют право прийти сюда, дабы получить недостающее. Девушки, а также монахини могут прийти сюда, дабы набраться опыта». Де Сад предлагает всем женщинам заниматься проституцией на основании закона: «Закон должен обязать женщин заниматься проституцией, если они сами того не желают. Более того, женщины в силу закона будут вынуждены посещать дома терпимости». Необходимо снять с женщин все ограничения и перестать считать прелюбодеяние преступлением.

Сняв с супружеской измены клеймо преступления, гражданин Сад делает то же самое с кровосмешением, которое «должно стать законом любой формы правления, основанной на братстве». «Найдете ли вы где-либо, я вас спрашиваю, предрассудок, равный по гнусности тому, когда мужчине вменяют в преступление наслаждение с тем, кто является для него самым близким человеком в силу естественного чувства?» — вопрошает он. И находит отклик у виднейшего якобинца Сен-Жюста в его рассуждениях о природе и гражданском состоянии: «...кровосмешение... является преступлением со стороны того, кто предается ему в

нечестивости: это действительно кровосмешение. Но оно перестает быть кровосмешением и становится добродетелью у того, кто совершает его с невинным сердцем». Оправдание инцеста можно найти и в сочинениях Ретифа.

Устранив преступления, надо устранить и жестокие законы, и прежде всего «свирепость смертной казни», ибо законы, «посягающие на жизнь человека, являются неисполнимыми, несправедливыми и недопустимыми», тем более что «смертная казнь никогда не устраняла последствий преступления», так как «преступления совершаются ежедневно даже у подножия эшафота».

Но нельзя наказывать убийцу — ведь он, в отличие от закона, не подлежащего воздействию страстей, совершил преступление по причине страсти, внушенной ему природой; следовательно, природа, подчиняться которой велит разум, нуждается в преступлениях. Природе нет дела до жизни и смерти как одного индивида, так и вида в целом.

«Рождение республики... является преступлением», ибо, если истинные республиканцы не будут жестоки, они не смогут дать отпор врагам и те уничтожат республику. Тем более «не стоит отрицать, что в республиканском государстве необходимо придерживаться взглядов, полностью противоположных воззрениям, принятым при монархическом правительстве». Поэтому если при тирании богатство государства зависело от числа рабов, служивших тирану, то в республике избыток населения должен рассматриваться как порок, ибо сей избыток препятствует процветанию государства, которое может стать богатым только при строго определенном количестве граждан, утверждал де Сад, предвосхищая идеи английского экономиста Томаса Мальтуса, изложенные в «Опыте о законе народонаселения». Следовательно, убийство является исключительно республиканской доблестью.

«Принимаемые нами законы не имеют никакой другой цели, кроме спокойствия граждан наряду со славой и процветанием республики. Однако когда вы, французы, изгнали врага за пределы вашей земли, я не желал бы того, чтобы стремление к распространению принципов революции завело вас слишком далеко. Прежде чем пройтись по миру огнем и мечом, вспомните хотя бы о провале крестовых походов. Поверьте мне, как только враг оказался на противоположном берегу Рейна, для нас лучше оберегать границы Франции, не покидая дома», — завершает автор свои рассуждения. Этот выпад против войн, которые в то время Директория и Бонапарт вели за пределами французской территории, возможно, станет одной из причин будущего ареста де Сада. До ареста еще целых шесть лет,

но все эти годы влияние армии и ее победоносных генералов будет только возрастать, так что любая критика в их адрес вполне могла расцениваться как крамола. Известно, что, отдавая приказ об аресте де Сада, министр полиции Фуше располагал обширным досье на бывшего маркиза.

Но продолжим философствовать. Доказав путем словесной эквилибристики, что законы природы есть законы преступления, что истинная республика — это государство убийц, что выдвинутый республикой лозунг «Свобода, равенство, братство» следует читать «Разврат, воровство, инцест», что с падением монархии история преступлений не прерывается, а, наоборот, берет разбег с новой силой, гражданин Сад, чудом не ставший жертвой революционного террора, ставит точку в своем «мудром трактате», как именуется этот памфлет, устами Эжени.

Эротическое и политическое воспитание девушки «аморальные наставники» завершают действием в духе черного юмора. В будуар является мать Эжени, мадам де Мистиваль, она хочет увести дочь, дабы запретить ей «свободно следовать своим природным наклонностям». Чтобы наказать мадам Мистиваль за неподчинение природе, лакей по приказу заражает ее сифилисом, а затем дочь зашивает ей влагалище, а вокруг ликуют учителя-либертены. Стоит согласиться с теми, кто видит в этой сцене жестокую эротическую пародию на революционные праздники, в центре которых чаще всего была женщина — мать, юная дева, Республика, богиня Разума.

«Философия в будуаре» принесла де Саду немного денег, и он, вдохновленный, продолжил писать, тем более что цензурных запретов на пути его сочинений не стояло. Но его финансовое положение по-прежнему оставляло желать лучшего. Точно неизвестно, на какие доходы он в то время жил, впал ли в нищету, как пишут одни, или все же успешно справлялся с бытовыми трудностями, как утверждают другие, и даже принимал гостей из Прованса, приехавших добиться аудиенции у депутатов. А так как депутаты были знакомыми Констанс, видимо, делами земляков де Сада занималась она. Констанс же и нашла покупателя на Ла-Кост, с которым де Сад давно решил расстаться. После известия о варварском разграблении Ла-Коста он потерял интерес к своей некогда любимой крепости. Теперь сентиментальные детские воспоминания уносили его в Соман. «В Париже у меня работы еще на четыре года, а потом, если Господь еще отведет мне времени, я непременно вернусь умирать в Соман», — писал он Гоффриди. Интересно, какую работу он имел в виду? «Новую Жюстину», «Благодеяния порока»?

Купить Ла-Кост захотел член Совета старейшин Жозеф Станислас

Ровер, бывший депутат всех выборных органов начиная с 1789 года и по совместительству спекулянт, сколотивший состояние на сомнительных финансовых операциях. Сделка состоялась, но наличности де Сад получил немного: все его владения были в ипотеке, а держательница ипотечных закладных Рене-Пелажи потребовала бывшего супруга приобрести адекватную по доходности недвижимость и переписать закладную, что де Сад скрепя сердце и сделал. В то время отношения де Сада с родственниками были достаточно напряженными. Клод Арман, ставший рыцарем Мальтийского ордена, пребывал на Мальте, занятый делами ордена. Старший сын, Луи Мари, вернулся в Париж, но отношений с отцом практически не поддерживал, жизнь вел рассеянную, такую же, какую в молодости вели его отец и дед. Саду такое поведение сына, с одной стороны, импонировало, а с другой — раздражало: ему казалось, что и жена, и сын обокрали его и теперь проматывали его состояние, в то время как он вынужден был прозябать в нищете. Наследство скончавшихся дальних родственников, которое де Сад захотел прибрать к рукам, от него уплыло, и он в раздражении заявил, что отныне семьи у него не существует. Но ни категоричным заявлениям, ни обещаниям Сада никто из тех, кто имел с ним дело, не верил: все привыкли, что, повинаясь минутной прихоти, приступу гнева, желанию получить немедленную выгоду, маркиз мог сказать и наобещать все, что угодно.

Фамилия де Сада по-прежнему фигурировала в списках эмигрантов, и гражданин Сад вновь предпринял попытку добиться, чтобы ее вычеркнули из этих списков. Верная Констанс, вооружившись бумагами, начала обходить инстанции. Гоффриди прислал нотариально заверенный акт, в котором местные власти удостоверяли, что на основании полученных справок они готовы подтвердить, что гражданин, носящий имя Донасьен Альфонс Франсуа Сад является тем самым гражданином Садом, которому секция Пик выдала свидетельство о безвыездном проживании в Париже. Но в департаменте Буш-дю-Рон отказались выдать нотариально заверенный акт, где бы значилось, что вычеркнутый из списков гражданин Луи Сад (а имя Луи не фигурировало в свидетельстве о рождении) и гражданин Луи Альдонс Донасьен Сад, внесенный в список эмигрантов, является одним и тем же лицом. Констанс сбилась с ног, доказывая, что Донасьен Альфонс Франсуа де Сад и Луи Сад — одно и то же лицо. В борьбе с бюрократическим макабром де Сад, опираясь на свою собственную логику, составил следующее письмо:

«У ходатая требуют бумагу, удостоверяющую, что Луи Сад, выступающий сегодня ходатаем, есть тот самый Луи Сад, который был

вычеркнут из списков в департаменте Буш-дю-Рон. Но в то время, когда происходило составление списков, Сад уже двадцать пять лет как не посещал сей департамент, а потому он никак не может получить требуемую бумагу. Такая бумага могла быть ему дана только в Париже, где он пребывал безвыездно, и он ее получил; данную бумагу захотели получить в Воклюзе, и он ее представил. Что еще он может сделать, чтобы удостоверить свою личность?

Хотят, чтобы департамент Буш-дю-Рон признал вычеркнутого из своих списков Луи Сада тем же самым лицом, которое сегодня требует вычеркнуть его из списков Воклюза. Но разве Луи Сад вычеркнутый не является тем же самым Луи Садом, которого внесли в список? Ведь получается, что если вычеркнут был не ходатай, то и не ходатай был внесен в список; таким образом, все, что было сделано в департаменте Буш-дю-Рон, а именно вписано ли, вычеркнуто ли, для Сада значения не имеет, и речь, собственно, идет о том, что его внесли в списки департамента Воклюз; но так как в этом департаменте его внесли в списки, скопировав списки предыдущие, то следовательно, если доказано, что предшествующие списки более значения не имеют, соответственно, и списки, с них скопированные, тем более значения иметь не могут. Но Сад чтит закон и верит тем, кто способствует поискам доказательств, дабы закон не обошелся с ним несправедливо, а потому он не намерен отвечать в оскорбительном тоне, а всего лишь подчеркивает: у него попросили представить нотариально заверенный акт, подтверждающий его постоянное пребывание в Париже, и он его представил; у него попросили свидетельство о его рождении, и он представил его и один раз, и второй; и все эти документы доказывают, что ходатай носит имена Донасьен Альфонс Франсуа Сад, и, как следствие, ему и его советчикам кажется, что от него не надобно более требовать иных документов». Далее следовали реверансы в сторону правосудия.

Бюрократические фантазии оказались гораздо более изощренными, чем эротические фантазии гражданина Сада. Из списков эми фантов Донасьена Альфонса Франсуа не вычеркнули, но в начале 1799 года секвестр с его земель был снят, хотя и с рядом ограничений, самым нежелательным из которых для де Сада был запрет на их продажу — так как после поездки в Прованс он принял решение избавиться от всей своей недвижимости. Прованс он посетил летом 1797 года вместе с Констанс — впервые за последние девятнадцать лет — и быстро понял, что стал там совсем чужим. Оставив Констанс в доме Гофриди, де Сад объехал свои прежние владения и не узнал ни людей, ни атмосферы, прежде там

царившей. Побывал ли он в уже принадлежавшем Роверу Ла-Косте? Большинство биографов дают отрицательный ответ: живя днем сегодняшним, де Сад не любил беречь воспоминания. К тому же при продаже Ла-Коста он смошенничал, о чем ему также вряд ли хотелось вспоминать. Полностью секвестр с земель де Сада был снят только в 1811 году.

1797 год стал для де Сада в своем роде знаменательным. Сторонники монархии повсюду поднимали головы, в стране назревал роялистский мятеж, но его предупредила оппозиция внутри самой Директории: в сентябре произошел переворот, в результате которого обновленный состав директоров и обоих Советов заметно полевел. Большинство арестованных депутатов были сосланы в Гвиану, и среди них новый владелец Ла-Коста. Ровер умер в Гвиане, так и не успев побывать в приобретенном им замке. Чтобы предотвратить монархическую угрозу, новое правительство ужесточило законодательство против эмигрантов и, в частности, издало закон, обязывавший каждого, чье имя занесено в эмигрантский список, немедленно покинуть Францию; в противном случае эмигранту грозила тюрьма и трибунал. Де Сад снова попал в число счастливицов: благодаря демаршам Констанс он получил вид на жительство и свидетельство о благонадежности. Для того чтобы гражданин де Сад не оказался вне закона, в канцелярию министерства было представлено досье, содержащее, по свидетельству М. Левера, пятьсот письменных подтверждений его непрерывного проживания в Париже. Немалую роль в составлении этого досье сыграли приобретенные Донасьеном Альфонсом Франсуа еще в Сомане навыки обращения с архивами и привычка тщательно сохранять и классифицировать каждый исписанный листок бумаги. Де Сад окончательно распрощался с иллюзорными надеждами вернуться в Прованс. И наконец, в этом году вышел «труд жизни» маркиза де Сада — «Новая Жюстина, или Несчастья добродетели, с приложением Истории Жюльетты, ее сестры», три тысячи семьсот страниц, десять томов описаний самого безудержного разврата, иллюстрированного сто одной непристойной гравюрой. Маркиз де Сад наконец-то отыгрался за утрату «Ста двадцати дней Содома»!

Издание «Новой Жюстины» и «Жюльетты» стало крупным финансовым и организационным предприятием издателя Николя Массе, увидевшего в нем не только немалую прибыль. Относительно даты выхода существуют сомнения, ибо, хотя цензурный контроль, который введет Бонапарт, еще не наступил, новый роман де Сада жестокостью и «прозрачностью» языка превосходил сочинения современников, чьи книги

успешно расходились в галереях Пале-Рояля вместе с томиками «Новой Жюстины» и «Жюльетты»: в обществе финансистов и спекулянтов нравы царили более чем вольные, роскошь выставлялась напоказ, порнография пользовалась спросом.

Уличная политическая жизнь граждан сходила на нет, читатель от газеты и листовки возвращался к толстому фолианту. Большой успех имел английский готический роман с его тайнами и ужасами; французы с удовольствием переводили сочинения Бекфорда, Уолпола, Радклиф и Льюиса и сами старались не отстать от англичан: изданный в 1798 году роман Ж.-А. Реверони Сен-Сира «Паулинка, или Современная порочность», в котором представлены все атрибуты готического романа, приправленные — как указывает название — изрядной долей порочности, выдержал более десятка изданий.

Де Сад не обошел вниманием сей жанр и посвятил ему несколько похвальных строк в своих «Размышлениях о романе»: «Возможно, нам следовало бы рассмотреть здесь и те новые романы, что напичканы чародейством и фантасмагориями, единственно вменяемые в заслугу их авторам; вереницу романов сих возглавляет «Монах», чье содержание во всех отношениях превосходит непредсказуемый полет блистательного воображения Радклиф; однако в этом случае сочинение наше было бы слишком пространным. Поэтому условимся, что жанр сей, явившийся неизбежным результатом революционных потрясений, затронувших всю Европу, без сомнения, несмотря на разногласия во мнениях, обладает определенными заслугами. Для того, кто познал все несчастья, обрушенные злодеями на головы людские, роман стало писать столь же трудно, сколь скучно стало его читать, ибо не осталось более никого, кто бы за четыре-пять лет не испытал столько злоключений, сколько самый знаменитый в истории литературы автор романов не смог бы описать за целый век. Таким образом, чтобы придумать вызывающий интерес заголовок, следовало призвать на помощь ад, а затем в краю химер отыскать сюжет, известный всем только понаслышке, положив в основу его историю людей, живших в этот железный век. Но сколь неудобоваримой была такая манера письма! Автор «Монаха», равно как и Радклиф, не избежали неудобств сих; поэтому из двух имеющихся возможностей приходится выбирать одну: или развивать линию чародейства, но тогда читатель утратит к вам интерес, или же ни при каких обстоятельствах не приподнимать завесу тайны, но тогда вы рискуете написать ужасную несуслаицу».

Ни чародейства, ни таинственности в романах де Сада не было. И все

же новое его сочинение (как, впрочем, и прежние «Жюстины», и трагические повести) не было полностью свободно от влияния готического жанра. И создатели «черного» романа, и де Сад равно обращались к «возвышенному», категории, питавшейся «темными» эмоциями страха, ужаса и боли; накал темных страстей порождал и преступление, и наслаждение, два чувства, полновластно царившие в садическом мире. Современники, не разглядевшие в «опасных» томиках Сада беллетризованный философский трактат, приравнивали сочинения маркиза к «черному» роману и возмущенно восклицали: «Ах, гнусный жанр, порожденный Анной Радклиф!»

Жюстина действительно напоминала трепетную героиню готического романа: «большие голубые глаза, сверкающие одухотворенностью и нежными чувствами, светлая кожа, нежный и гибкий стан, чарующий голос, зубы цвета слоновой кости, удивительные белокурые волосы» и, как добавлял автор в «Новой Жюстине», полное сходство с «прелестными девственницами Рафаэля». Но мрачные подвалы, где развратники измывались над добродетельной Жюстиной, и темные леса, где ее бросали после всех мучений и зверств, не внушали страха неизвестного, не пробуждали ужаса перед темным пространством, как это было свойственно готическому роману. Формально используя атрибуты жанра, де Сад, как истинный сын Просвещения, высвечивал все, что происходило в «пристанищах мрака», светом своей рациональной философии, не оставляя ни единого темного уголка. «В сверхъестественные явления я не верю», — мог сказать он вместе с либертенкой Дельбен. Леса, горы, дворцы, замки — всего лишь заборы, оберегающие героев от непрошенных вторжений. И авторский взгляд, подобно телекамере, фиксировал все, что происходит внутри, не скрывая ничего, вплоть до самых мельчайших подробностей, а потом рассказывал об этом устами своих либертенов, которые, как подобает истинным философам, могли «относиться несерьезно к чему угодно, только не к истине». Постигание истины требовало порядка, разумного расхода энергии и тщательного анализа: «Позвольте мне упорядочить ваши удовольствия: здесь нужна спокойная, уверенная рука», — командовал распорядитель оргии, после которой либертены собирались вместе и «подогревали воображение друг друга рассказами о своих отвратительных поступках».

Если «Новая Жюстина» во многом явилась обширным повторением пройденного, то «Жюльетта, или Преуспевания порока» стала непосредственным порождением революции. Как утверждает Ж.-Ж. Повер, если бы де Сад преуспел как драматический автор, он бы никогда не

написал «Жюльетту». Но и революционный театр, и театр времен Директории отверг Сада-драматурга, и он создал «Жюльетту», неповторимый памятник садической философии, подробное исследование порока, подобное тому, какое де Сад предпринял в утерянных «Ста двадцати днях Содома». В отличие от «Жюстины», где непоколебимая добродетель героини даже в сценах самых жестоких преступлений напоминала о существовании морали, в отличие от «Философии в будуаре», где автор скорее издевался над добродетелью, в «Преуспевании порока» де Сад нарисовал утопическое общество преступления, созданное под впечатлением кровавого Террора, развязанного во имя добродетели.

Пока печальная Жюстина страдала, пытаясь после смерти родителей честно устроиться в жизни, Жюльетта радостно устремилась в объятия порока. Через сутенера Дорваля она знакомится с «необыкновенным человеком» по имени Нуарсей, изощренным развратником и философом, способным подводить рациональный фундамент под иррациональные поступки. Нуарсей представляет ее Сен-Фону, вельможе, любимцу короля, который с помощью «писем с печатью» ограбил и истребил двадцать тысяч ни в чем не повинных людей. Ее подругой становится философическая поклонница порока Клервиль, которая совершенствует фантазию Жюльетты в области извлечения наслаждений из преступлений. На секунду поддавшись жалости, Жюльетта лишается расположения всесильного Сен-Фона и в страхе бежит в провинцию, где выходит замуж за господина де Лорсанжа, и у нее рождается дочь. От скуки провинциальной жизни она отравляет мужа и бежит в Италию, где на ниве либертинажа совершает поистине Геракловы подвиги, каждый из которых напоминает гротескный фарс: в Риме служит черную мессу вместе с папой, участвует в оргиях неаполитанского короля Фердинанда и его супруги Каролины, во время прогулки на Везувий вместе с Клервиль из прихоти сбрасывает в вулкан свою подругу-либертенку Олимпию, посещает замок гиганта-людоеда Минского, чьи аппетиты, пороки и жестокости достигают поистине сказочных масштабов.

Минский, «русский, родившийся в маленьком селении на берегу Волги», унаследовал от отца несметные богатства, совершил кругосветное путешествие и убедился, что «распущенность — не что иное, как естественное состояние человека, а ее конкретные формы — продукт окружающей среды, в которую поместила его природа». В его замке Жюльетта и ее спутники сталкиваются с живой мебелью, составленной из специально обученных рабынь, которым на спины ставят блюда с едой, они присутствуют при кормлении зверей очаровательными девушками,

вкушают блюда из человеческого мяса, ибо другой пищи их хозяин не принимает.

Совершив множество преступлений, приняв участие в бесчисленных оргиях, Жюльетта в конце романа зажаривает собственную дочь. Сестра ее, Жюстина, во время рассказа Жюльетты часто плачет от жалости, и либертены подвергают ее насилию, а затем выкидывают на улицу, где ее убивает молния, что очередной раз служит подтверждением никчемности добродетели и подкрепляет вывод садической философии: Природе необходимо только зло.

Масштабность преступлений в «Преуспеваниях порока» является опосредованным следствием пережитых де Садом массовых расправ с идеологическими противниками во время революции и Террора. «Ах, Жюльетта, как сладостно творить зло! — восклицает Клервиль и продолжает: — Если бы я могла истребить всю планету, и тогда бы я проклинала Природу за то, что она предоставила мне только один мир для утоления моих желаний». Сен-Фон лелеет планы истребить половину населения Франции, хитроумные механизмы людоеда Минского единовременно истребляют по шестнадцать девушек... Купающиеся в крови Клервиль и Жюльетта — своеобразный парафраз из памфлетов о Марии-Антуанетте, в которых ванна крови фигурирует среди наслаждений королевы. Памфлетный вымысел стал доказательством виновности королевы: во время судебного процесса с трибуны Конвента один из депутатов обвинил Марию-Антуанетту в том, что она «хотела искупаться в крови всех французов». «Лижущими кровь» называли «вязальщиц», женщин из народа, не выпускавших из рук вязания даже возле эшафота, где казнили осужденных.

Новый уголовный кодекс Сен-Фона пародирует республиканские законы, Декларацию прав человека и гражданина, провозгласившую равенство людей от природы и перед законом. У либертена неравенство людей также естественно, как естественны «различия между мопсом и датским догом», поэтому «человеческое стадо надо держать в ярме», чтобы оно не смогло покуситься на прерогативы господ. Не простивший Робеспьеру стремления навязать людям новое божество, де Сад выворачивает подхваченную вождем якобинцев максиму Вольтера о Боге и рукой либертена Сен-Фона выводит: «Христианство будет навсегда изгнано из страны, во Франции будут отмечаться лишь ритуальные праздники распутства. Я избавлюсь от христиан, но не от религии, которую я намерен сохранить, ибо цепи ее полезны и необходимы для укрепления порядка <... > Объект поклонения не имеет никакого значения». Возможно, де Сад

также иронизирует над теми, кто после термидора стал активно выступать за возвращение к религии как к опоре государства и основе «здоровой политики», что, разумеется, не могло не вызвать у него негодования как у ярого атеиста.

Обязательным условием в государстве преступления является всеобщая проституция: «В каждом городе и в каждой деревне будут учреждены публичные дома, где посетителей будут ублажать лица обоего пола». Подобная мысль уже выдвигалась де Садом в его памфлете «Французы, еще одно усилие...» Но еще до маркиза идею культурной проституции, являющейся свободным выбором самой женщины, выдвинул Ретиф де ла Бретон в сочинении «Порнограф, или Размышления честного человека о проекте устава для проституток» (1769), изданном под девизом «Все для женщин, без женщин никуда!». В этом труде Ретиф дотошно расписал регламент государственных публичных домов, где женщины «работают» добровольно, и, словно подражая де Саду, рассказал о видах проституции, принятых у разных народов.

Еще один постулат садического общества: «Все дети обоего пола, достигшие пятнадцати лет и не сумевшие к тому времени найти возлюбленного или возлюбленную, будут очень строго осуждаться, наказываться, подвергаться публичному позору» словно кривое зеркало отражает положение из «Республиканских установлений» Сен-Жюста: «Каждый человек, достигший двадцати одного года, должен объявить в храме, кто его друзья. <...> Тот, кто скажет, что не верит в дружбу или что не имеет друзей, подлежит изгнанию». Каждый пункт в кодексе Сен-Фона пародирует те или иные республиканские установления, празднества и общественные доблести. Есть мнение, что таким образом де Сад выразил свое недовольство конституцией III года, провозглашенной в сентябре 1795 года.

Придуманное де Садом «Общество друзей преступления» является пародией на народные и «братские» (куда допускались женщины и дети) общества, сотнями возникавшие во время революции, и, как утверждает ряд исследователей, конкретно на «Общество друзей свободы и равенства», председателем которого был Робеспьер. Устав «Общества друзей преступления», объединяющего людей, совершающих «как можно больше славных деяний, называемых глупцами преступлениями», похож на вывернутый наизнанку устав народного клуба: необычайно высокие членские взносы, немедленное исключение за преступное нарушение законов Природы, то есть за «нежелание или отказ совершить хотя бы один из тех бесчисленных поступков, на которые вдохновляет нас Природа»,

отречение от любых религиозных верований, от абсурдной доктрины равенства, сторонники которой пополняются исключительно «за счет числа слабых и жалких личностей», невмешательство в дела правительства и презрение к закону, ибо человек не имеет права создавать законы, противоречащие законам Природы. Каждое заседание клуба начинается речами против добрых нравов и религии.

В духе черного юмора подается и дополняющая устав специальная «Инструкция для женщин, принятых в “Общество друзей преступления”», где автор под маской серьезности подвергает осмеянию женские общества, которых во время революции также возникло немало. «Безбожница, жестокая, бесстыдная, распутная, безнравственная, ненасытная, содомитка, лесбиянка, мстительная, кровожадная, лицемерная, лживая, коварная — вот далеко не полный перечень характерных свойств той женщины, что найдет себе достойное место в «Обществе друзей преступления», вот какие пороки необходимо иметь ей, если она хочет обрести в клубе свое счастье», — завершает Жюльетта чтение инструкции и, убедив присутствующих, что приняла изложенные в ней принципы всем своим сердцем, под аплодисменты сходит с трибуны — подобно активной гражданке, вступившей, к примеру, в «Общество революционных гражданок», руководимое Клер Лакомб. Политическая активность членов этого общества, тотчас откликавшихся на любые решения Конвента, в конце концов побудила якобинцев осенью 1793 года принять решение о запрещении женских клубов, а в мае 1794-го запретить женщинам выступать в Конвенте. После 9 термидора женщины вновь выпорхнули на общественную сцену: Тереза Кабаррюс, прозванная «богоматерью термидора», стала законодательницей мод, в салоне мадам Рекамье собирались те, кто считал себя в оппозиции к Бонапарту.

Де Сад отдает должное женской активности: большинство главных персонажей его произведений — женщины. Маркиз по-своему выступает поборником равенства мужчины и женщины: в садическом обществе женщина-либертен-ка ни в чем не уступает мужчине, она ломает устоявшиеся традиции, изменяет взгляд на женщину как на существо покорное, зависимое, бессловесное, бесправное и добродетельное. Жюльетта и ее подруги-либертенки нарушают все мыслимые запреты и нормы морали, отрицают освященную Церковью идею сексуальности как способа продолжения рода и выдвигают идею наслаждения, связанного с преступлением. Превращая сексуальное действие в акт нетворения (содомия бесплодна) — в преступление против закона воспроизведения вида и сопровождая его актом убийства — преступлением против закона

сохранения вида, де Сад не только преступает законы традиционной этики, законы христианской морали, но и лишает либертенку ее женских качеств, уравнивая, таким образом, с мужчиной. Встав на один уровень со своими партнерами-мужчинами, Жюльетта перестает воспринимать направленную на нее насильственную сексуальную активность мужчин и с помощью философии переводит ее в русло собственного наслаждения — что совершенно не способна сделать Жюстина, которой любое сексуальное домогательство причиняет исключительно страдания.

В прославлении де Садом сексуальных наслаждений можно также усмотреть отголоски борьбы со средневековой религиозной философией, согласно которой плотские удовольствия считались грехом и наваждением дьявола. Борьба эта по-прежнему была актуальна, ибо во времена де Сада факел философии разума еще не успел осветить все закоулки души каждого человека. Во всем, что касалось социального мироустройства, ярый атеист де Сад оставался на позициях средневекового феодала. В сущности, либертен де Сада превращается в губительного андрогина, лишённого функции продолжения рода, но наделенного функцией убийства.

«Преуспеяние порока» — это в своем роде «роман воспитания» наизнанку, ибо, по мысли автора, различия человеческой природы зависят не от воспитания, а от природы. «Скажи, — обращается к Жюльетте Сен-Фон, — разве у всех людей одинаковый голос, одинаковая кожа или походка, одинаковые вкусы? ...разве одинаковы их потребности? Никто не убедит меня в том, что различия эти обусловлены случайными обстоятельствами или воспитанием». «Не отыщется на свете такого идиота, который осмелится сравнивать физическую конституцию — да, да, простую физическую конституцию — короля и простолюдина», — утверждает Сен-Фон. Но тот, кому от природы суждено повелевать, обязан лелеять и шлифовать свой дар: если монарх перестанет быть «богом на земле» и приблизится к «презренной толпе», это будет первым шагом к его падению. Поэтому либертены ведут речь не о воспитании, а о совершенствовании заложенных природой страстей, о постижении философии либертинажа, которая у де Сада является синонимом философии преступления. Жюльетта изначально наделена порочными страстями, ее учителя-либертены лишь совершенствуют ее природные склонности.

Совершив злодейство (поджог хижины вместе с ее обитателями), Жюльетта рассказывает о нем своей подруге и наставнице Клервиль в надежде получить ее одобрение и с удивлением выслушивает суровую отповедь. «Твоему замыслу самым прискорбным образом недостает размаха и величия, поэтому я вынуждена оценить его весьма скромно; ты

должна признать, что, имея под боком довольно крупное селение — целый город — да еще семь или восемь деревень поблизости, ты проявила ненужную скромность, обратив свое внимание на жалкую хижину... Ты испортила себе удовольствие, а удовольствие, доставляемое злодейством, не терпит ограничений». «Глубоко тронутая» аргументами подруги, прилежная ученица Жюльетта дает себе слово «никогда больше не допускать подобной оплошности». В дальнейшем она отравляет колодец, в результате чего гибнет полторы тысячи человек.

Но совершенствование либертена ведет в никуда, даже не к победе зла, а к пустыне, пустоте, ибо ради наслаждения либертен готов истребить не только своих ближних, но и самого себя. «Меня ничто не остановит! — восклицает либертенка Олимпия. — Кандалы, позорный столб, даже виселица будет для меня почестью, троном наслаждения, с которого я брошу вызов самой смерти и буду извергаться от удовольствия, что погибаю жертвой своих преступлений».

В «Ста двадцати днях Содома» де Сад оправдывал преступление как необходимое выражение человеческой натуры, в «Преуспеваниях порока» он, продолжая развивать эту мысль, идет дальше и яростно выступает против оправдания преступления идеологическими мотивами. Человек не в силах постичь сокровенный, непостижимый замысел Природы, а потому не вправе отнимать жизнь у ее творений по идейным соображениям, даже если эти идеи разделяют массы. Закон часто карает невиновного, поэтому «дайте нам анархию, и жертв станет меньше», ибо «угнетенный человек найдет быстрый, надежный и экономический способ наказать своего обидчика, не трогая никого другого». Для смены законов государство «устанавливает революционный режим, в котором вообще нет никаких законов, и из этого режима в конце концов рождаются новые законы. Но новое государство, бывает хуже предыдущего, — пишет переживший правительственный Террор маркиз и делает заключение вполне в руссоистском духе: — Люди чисты и хороши только в естественном состоянии».

Однако в отличие от Руссо, у которого человек от природы добр, естественный человек де Сада преступен, но так как преступления свои он совершает на сексуальной почве, значит, законов он не нарушает, ибо секс заложен в природе, порождением которой мы все являемся. А природа равнодушна, ей все равно... ну и так далее, как уже было повторено многократно. Либертен резонерствует, выворачивая основной инстинкт наизнанку, но его резонерство отдаляет его от природы, которая, как известно, не рассуждает, и приближает к человеческому обществу, которое,

не являясь обществом либертенов, имеет определенные моральные критерии, нравственные законы, Бога — словом, те принципы, которые позволяют человеку жить, не истребляя ни самого себя, ни своих ближних. Сознавал ли это противоречие де Сад? Наверное, сознавал, однако характер его не позволял в этом признаться — как не позволял извиняться, признавать совершенное им мошенничество, допущенные им несправедливости по отношению к близким ему людям. И он упорно испещрял страницы постулатами своей философии зла. Под его пером свобода сливалась с властью и безнаказанностью, а равенство — с преступностью и унижением. Господа-либертены имели равные права уничтожать друг друга, а унижаемые и истребляемые ими жертвы были настолько одинаковыми, что почитались за вещи и предметы. «Расскажу лишь об одном празднестве, на котором присутствовали более четырехсот предметов обоего пола», — писала Жюльетта о жертвах, истребленных во время одной из оргий в подвале Сикстинской капеллы.

*

«Новая Жюстина» и «Жюльетта» принесли де Саду гонорар и вызвали шквал возмущенных откликов. Ретиф де ла Бретон даже написал роман с откровенно полемическим названием «Анти-Жюстина» (1798). Противопоставляя «отвратительным творениям» де Сада свое сочинение, написанное с «сугубо нравственной целью», Ретиф во вступлении писал: «Я желаю дать тем, чей темперамент уже почему-либо подавлен, эротикой достаточно пикантный, побуждающий, например, пользоваться уже далеко не прекрасную супругу с охотой почти прежней и надлежащим образом. В первую очередь это касается тех мужчин, которые возбуждали себя книгою беспримерно жестокою и столь же беспримерно опасною, каковой я считаю книгу де Сада «Жюстина, или Несчастья добродетели». Преследует мое произведение и еще одну важную цель: мне очень хотелось бы оградить своим повествованием любимых мною женщин от жестокости мужчин. Моя «Анти-Жюстина» является книгой не менее смачной и не менее захватывающей, чем упомянутая «Жюстина», но при этом полностью лишенной присущей последней зверств, что помешает мужчинам прибегать к ним как к подспорью. Вот почему публикация этого конкурирующего произведения срочно необходима».

Исполненное откровенных описаний оргий, где присутствует и содомия, и кровосмешение, и людоедство, бодрый порнографический

коктейль Ретифа в свое время окажется в том же библиотечном «спецхране», где и «опасные» романы де Сада. А на тогдашнем книжном рынке оба романа распространялись в местах, где торговали непристойной литературой, и авторы их рассматривались как сотоварищи-порнографы: философский пласт романов де Сада будет поднят только в двадцатом столетии.

Сведения о том, как жил де Сад последние годы уходящего века, довольно скудны. Известно, что он нуждался, был вынужден расстаться с Констанс, покинул Париж и поселился в Версале. Пока Констанс искала средства к существованию в Париже, де Сад кое-как перебивался работой переписчика, поддерживая не только себя, но и Шарля, сына Констанс, содержать которого он почитал своим долгом. Когда и этой работы не стало, де Сад на какое-то время попал в приют для бездомных.

Несмотря на крайние жизненные трудности, литературные дела гражданина Сада были гораздо менее плачевны. В августе 1799 года парижский «Непритязательный театр» решил поставить пьесу, названную ради привлечения публики «Жюстина, или Несчастья добродетели». Увы, эффект оказался обратным: хотя содержание пьесы не имело ничего общего с романом де Сада, власти запретили ее из-за названия, подтвердив таким образом успех подлинной «Жюстины». А конец года преподнес де Саду настоящий новогодний подарок: в декабре труппа «Драматического товарищества» Версаля поставила его пьесу «Оксьерн, или Несчастья либертинажа» и показала единственный спектакль, где он сыграл роль трактирщика Фабриса. Более того, труппа издала текст драмы, и доход от издания поступил в пользу автора!

В 1800 году де Сад издал сочинение, на титульном листе которого впервые полностью было набрано его имя: «“Преступления любви”, сочинение Д. А. Ф. Сада, автора “Алины и Валькура”». Напомним: на титульном листе «Алины и Валькура» был указан только его инициал: сочинение гражданина С***. В сборник, выпущенный совершенно легально Николя Массе, ставшим издателем гражданина маркиза, вошли новеллы, написанные еще в Венсене и Бастилии. В качестве вступления де Сад предпослал критическую статью под названием «Размышления о романе», в которой, набросав краткую историю жанра и воздав хвалу современным авторам, которых он почитал наиболее выдающимися (мадам де Лафайет, Вольтер, Руссо, Филдинг и Ричардсон), он обрушился на своих критиков и очередной раз отрекся от гнусного романа «Жюстина»: «Повторяю: я всегда буду рисовать преступление адскими красками, ибо хочу показать его во всей его неприглядной наготе, хочу, чтобы оно

вызывало отвращение и пробуждало страх; единственным способом для достижения сей цели является, на мой взгляд, живописание преступления со всеми присущими ему ужасами и мерзостями. Горе тем, кто окружает преступление розами! Их совесть не может быть чиста, и я никогда не стану им подражать. Так пусть же, отбросив заблуждения, мне более не приписывают авторство романа «Ж[юстина]»: я никогда не сочинял подобного произведения и, разумеется, никогда не сочиню; только дураки или злодеи могут подозревать или, еще хуже, обвинять меня в его авторстве, несмотря на все мои искренние заявления о том, что они глубоко заблуждаются; отныне презрение станет единственным моим оружием, коим я стану побивать всех своих клеветников».

Признаваясь в том, что он «рисует преступление адскими красками», де Сад вопреки элементарной логике отрицал авторство «Жюстины», забыв, что неповторимая манера письма выдавала его с головой. Быть может, если бы история пошла по другому пути, де Сад, несомненно, жаждавший литературной славы, когда-нибудь и признал бы авторство своих «аморальных» романов. Недаром же в заметках к роману «Дни в замке Флорбель» де Сад «воскресил» анонимного автора «Жюстины»: «Этому сочинению предпосылается специальный фронтиспис, краткое предуведомление издателя, содержащее похвалу автору и подлинное признание того, что сей автор является автором «Жюстины», а также предисловие автора, адресованное либертенам обоего пола и всех возрастов, послание, адресованное Господу, введение...»

Но смутная и противоречивая эпоха Директории, когда несмотря на гневную критику де Сад не раз и не два перерабатывал и выпускал и «Жюстину», и «Жюльетту», уходила в прошлое: 18 брюмера VIII года Республики (9 ноября 1799 года) произошел государственный переворот. Новый режим, установившийся в стране, получил название Консульства. Первым консулом был провозглашен вернувшийся в Париж после Египетской кампании генерал Наполеон Бонапарт. С первых же шагов новая власть заявила себя как режим «умеренных»: «Ни красных колпаков, ни красных каблучков!», иначе говоря, ни якобинцев, ни роялистов, законность и порядок. Анархия, «молчание законов», свобода нравов, словом, все ценности, исповедуемые де Садом и вырвавшиеся на свободу во время Директории, стремительно уходили в прошлое.

Глава X.

ШАРАНТОН

Для де Сада, как и для его собратьев по «неприличному» перу, новый век начался с полицейской чистки книжных лавок от «аморальных сочинений», и прежде всего от «Жюстины» и «Жюльепы», «демонических творений преступного автора», которые с самого своего появления не переставали подвергаться критике. В статье, опубликованной в «*Soir des spectacles*» в мае 1800 года, сообщалось об одной из полицейских операций, в результате которой был «наложен арест на новое издание ужасного романа, известного под названием “Жюстина”». Автор статьи подчеркивал: «В этом издании было предпринято все, чтобы сделать книгу еще более опасной, нежели прежние ее издания, и особенно вредной для юношества, в руки которого случай или же преступные намерения могут ее привести. <...> Легко представить, каковы в книге сей гравюры. Число их составило почти третью часть от числа страниц самого романа». Подобные заметки свидетельствуют об успехе «адских» романов де Сада — ведь чтобы издать книгу, на одну треть заполненную гравюрами, требовался немалый труд и финансовые затраты.

Несмотря на аресты и уничтожение тиражей и гранок, интенсивно продолжавшиеся до 1802 года, а потом довольно вяло еще более десяти лет, издатели продолжали выпускать мгновенно расхвалившуюся продукцию, и сто одно клише иллюстраций благополучно кочевали из типографии в типографию, пока не истерлись от частого употребления.

Наступивший век очень хотел похоронить и де Сада, и его сочинения. Изысканное резонерство садических персонажей уже не привлекало читателя, отвыкшего от философических трактатов: революция воздвигла высокую стену между Просвещением и новыми временами. Рационализм уступил место чувствам и чувствительности, новые романтические герои не рассуждали, а переживали и мечтали, сверяли свои поступки не с разумом, а с сердцем. Умы постепенно завоевывало рожденное революцией понятие солидарности. Провозглашенный революцией идеал здоровой семьи и супружеской любви поднимал на щит институт брака, оскорбление которого стало рассматриваться как нарушение государственных интересов. Детей постепенно возвращали от кормилиц под материнское крыло. Ушел в прошлое абсолютизм, по модели которого де Сад

конструировал свои сообщества либертенов, ушли галантные и одновременно фривольные беседы, щедро приправленные философией, служившие образцами философических бесед садических персонажей. Новый герой путешествовал по миру, восхищаясь старинными развалинами и красотами природы, в то время как либертены де Сада везде искали лишь уединения и плотско-философических усад.

Журналисты из газеты «Ami des lois» вновь вспомнили о небольшой заметке от 29 августа 1799 года: «Уверяют, что де Сад умер. Одно лишь имя этого отвратительного писателя исторгает трупное зловоние, убивающее добродетель и внушающее ужас: он автор “Жюстины, или Злоключений добродетели”. Самая порочная душа, самый испорченный ум, самое причудливое и непристойное воображение не могут изобрести ничего подобного, что столь оскорбляло бы разум, стыдливость и человечность». В 1799 году де Сад разослал в ряд газет гневное опровержение, теперь же, когда в номере от 30 августа 1800 года появилась перепечатка прошлогодней статьи, де Сад не ответил. Он не мог не чувствовать перемен в обществе, они носились в воздухе, возникали на каждом шагу. Нападки Вильтерка на «Преступления любви» как нельзя лучше вписывались в эти перемены: «газетный писака» разнес не только содержание, но и безупречный стиль автора: «...авторский стиль в них жалок, в них нет чувства меры, большинство фраз отличается дурным вкусом, не говоря уж о многочисленных несуразностях и банальных рассуждениях».

К счастью, для де Сада мнение верной Констанс было гораздо важнее клеветы какого-то «бумагомарателя». Донасьен Альфонс Франсуа даже занес высказывание Констанс по поводу «Преступлений любви» в свои записи: «Моя подруга говорила, что, в сущности, в театре иногда представляют вещи отвратительные, однако спектакль гораздо менее опасен, нежели рассудочное чтение описаний тех же самых ужасов; именно поэтому она полагала мою книгу опасной. Впрочем, она находила мой стиль простым, приятным и несколько не вычурным». Необычайная привязанность де Сада к Констанс, возникшая с самого первого дня их знакомства, побудила его посвятить ей «Несчастья добродетели» и в предисловии воздать ей хвалу: «Да, Констанс, тебе я посвящаю мой труд, ведь ты остаешься украшением и честью женского пола, соединяя чувствительную душу с умом просвещенным и справедливым». Видела ли Чувствительная это посвящение? Де Сад не давал ей рукописей своих «безнравственных» сочинений, не держал дома отпечатанных с них книжек. Но, вытирая пыль со стола маркиза, она вполне могла прочесть лежавшие на нем листы. Наверняка эта удивительная женщина,

добровольно взявшая на себя заботы о неуживчивом и не слишком состоятельном аристократе, знала, что он автор непристойных сочинений и имя его стало притчей во языцех. Но прочла ли она хотя бы один его «аморальный» роман?

В том же 1800 году в книжных лавках появился анонимный роман под названием «Золоэ и две ее приспешницы», в котором в слегка завуалированной форме подавалась сатира на Наполеона Бонапарта, его жену Жозефину и их окружение. Автора не нашли, но вспомнили о самом знаменитом «анониме» — гражданине маркизе де Саде. 6 марта 1801 года в контору издателя Николя Массе, куда де Сад пришел, прихватив с собой рукопись «Новой Жюстины», ворвалась полиция и устроила там настоящий разгром. Судя по обрывкам фраз, полиция получила приказ найти рукописи именно гражданина де Сада. Приказ был выполнен: помимо крамольных рассказов о двух непохожих сестрах были найдены еще несколько сочинений, принадлежавших тому же автору: «Французский Боккаччо», «Развлечения либертена, или Девятины Киферы», «Мои причуды, или Всего понемножку». В дальнейшем часть этих рукописей была затеряна, часть уничтожена полицией. Верный своей политике, де Сад гневно опровергал авторство «Жюстины», а когда ему указали на сходство почерка, заявил, что выступил в роли переписчика, чтобы заработать денег. Ответ не убедительный: аристократ, сочинитель — и вдруг берется из-за денег переписывать чужие труды? Тем более что к этому времени материальное положение де Сада было вполне удовлетворительным: они с Констанс жили в собственном доме в Сент-Уэне, небольшом городе близ Парижа. Дом, купленный де Садам на один из гонораров, был записан не на него, а на гражданку Мари-Констанс Кене — из соображений конспирации, чтобы Рене-Пелажи не проведала об увеличившихся доходах бывшего супруга и вечного должника.

Объяснения де Сада приняты не были, полиция арестовала его и поместила в Сент-Пелажи, бывший монастырь для заблудших девиц, во время революции превращенный в тюрьму для политических противников, а за время Директории ставший местом заключения жуликов и несостоятельных должников. И как когда-то, в другом веке и при другом правлении, де Саду вновь не предъявили никакого обвинения. В самом деле, «Новая Жюстина» и «Преуспевания порока» уже не один год продавались в книжных лавках, и за них держать человека в тюрьме было как-то незаконно. Вытаскивать на суд опус под названием «Золоэ» также не было никакой возможности: он затрагивал слишком высокопоставленных лиц. И де Сада просто оставили в тюрьме, без объяснений. Единственным

его утешением стали свидания с Констанс, которой разрешили навещать его три раза в десять дней. А утешение де Саду было совершенно необходимо: 15 июля 1801 года Бонапарт подписал с папой Пием VII конкордат, официально восстанавливавший во Франции культ католической церкви, поддерживаемой государством. Атеизм де Сада вновь шел вразрез с государственной политикой.

Де Сад сдаваться не собирался. Приходя в ярость от каждой несправедливости со стороны правосудия, он брал перо и сочинял прошения, протесты, жалобы... и яростные, раскаленные философские трактаты, источавшие смрадное дыхание порока, и маскировал их под романы. Де Сад написал министру юстиции прошение, завершив его следующими словами: «Я хочу быть свободным или же предстать перед судом. И я имею право говорить так. Мои несчастья и законы дают мне это право, и у меня есть все основания полагать, что я правильно обращаюсь с моей просьбой именно к вам. Привет и почтение». Гражданин де Сад апеллировал к законам, но его не слышали. Может быть, это была месть со стороны законов, против которых он так яростно выступал в своих сочинениях?

Два года провел де Сад в Сент-Пелажи, рифмуя стихи и активно общаясь с собратьями по литературной музе, создавшими в тюрьме своеобразный литературный кружок. Но, как свидетельствуют полицейские донесения, де Сад не только наслаждался духовным общением с товарищами по несчастью, но и пытался вступить с ними в более тесные контакты, за что и был переведен в Бисетр, пенитенциарное заведение, бывшее одновременно тюрьмой и приютом для умалишенных. К счастью, де Сад пробыл там недолго: мадам де Сад направила в министерство прошение о переводе его в более достойное место заключения — пребывание такого знатного дворянина, как де Сад, среди безумцев и убийц бросало тень на всю семью. За десять лет, прошедших после казни Людовика XVI, и за полтора года, остававшиеся до коронации Наполеона, отношение к дворянству существенно изменилось: слово «дворянин», еще недавно звучавшее как бранное, приобрело оттенок ностальгической грусти. Принадлежность к дворянскому роду становилась лучшей рекомендацией.

После обстоятельных размышлений местопребыванием де Сада была избрана Шарантонская лечебница для душевнобольных, куда гражданина маркиза и доставили в марте 1803 года, написав ему в качестве диагноза «безумие либертена». Ничего иного инкриминировать шестидесятилетнему маркизу полиция не могла: ясностью и остротой

ума де Сад превосходил многих из своих гонителей.

В 1789 году, когда де Сад первый раз попал в Шарантон, заведение находилось под патронажем монахов из ордена милосердных братьев, в 1795 году орден был упразднен и помещение опустело. Через два года Директория решила вновь устроить в нем клинику для лечения умственных расстройств, поручив управление ею Франсуа Симоне де Кульмье. Сначала управляющий, а потом директор, Кульмье стал полновластным хозяином Шарантона и, по словам доктора Рамона, принялся деспотически всем заправлять. «Однако деспотизм его не имел ничего общего ни с жестокостью, ни с суровостью, и можно с уверенностью сказать, что господин де Кульмье был любим всеми, кем он руководил, как служащими, так и пациентами. Это было отеческое правление, хотя и допускавшее множество дисциплинарных послаблений».

Узнав о своем переводе, де Сад написал Кульмье письмо, в котором уверял его, что сумеет доказать всю нелепость и вздорность слухов, которые о нем распространяют. Гуманный, энергичный Кульмье быстро проникся симпатией к новому пансионеру, отвел ему прекрасные, по меркам Шарантона, апартаменты и даже разрешил Констанс поселиться вместе с ним. Чтобы не вызвать лишних толков, де Сад выдал Чувствительную за свою внебрачную дочь.

Маркизу покидать пределы клиники было запрещено, Констанс же могла выходить беспрепятственно, и де Сад поручал ей делать покупки, в том числе и приобретать для него книги: как всегда, читал он много. В списках его заказов, в частности, значилось «Историческое и хронологическое полотно революции, охватывающее период с начала правления Людовика XVI и до прихода к власти Бонапарта» объемом пятьсот страниц. Очевидец многих событий, де Сад, видимо, захотел взглянуть на пройденный им путь другими глазами. Книги были не первой, но и не последней статьей его расходов. Пребывание, лечение и услуги персонала оплачивала Рене-Пелажи, а вот вопрос «карманных» денег стоял очень остро: де Сад, как было ему свойственно, тратил больше, чем получал.

Привилегированный пансионер-узник де Сад держал открытый стол, принимал у себя гостей из Парижа и других больных, отдавал визиты, гулял в парке, обменивался книгами. И продолжал работать. Собственно, писал он всегда — иначе неоткуда было бы взяться поистине несметному количеству записей, планов, проектов, набросков. Верная Констанс приносила бумагу и перья, и де Сад, у которого в Шарантоне был отдельный кабинет с небольшой библиотекой, со свойственным ему пылом

предавался любимому занятию.

Среди записей того периода, которых сохранилось немного, не обошлось без возмущенных строк, адресованных «слабым и бездумным смертным», позволяющим вводить себя в заблуждение отвратительному призраку, который лишь умножает их несчастья. «...Если сердцу вашему надобно кому-нибудь поклоняться, изберите себе вещественный объект вашей страсти: реальный объект, по крайней мере, удовлетворит вашу естественную потребность в обожании. А что испытаете вы после двух или трех часов мистического обожания божества? Холод небытия, отвратительную пустоту, которая, не дав ничего вашим чувствам, оставляет у них ощущение, словно вы поклонялись снам и теням!.. В самом деле, как наши материальные чувства могут испытывать привязанность к субстанции иной, нежели та, из которой созданы они сами? И разве ваши почитатели Бога, с их вздорным учением о душе, правильность которого не подтверждает ничего, не напоминают Дон Кихота, принявшего за великанов ветряные мельницы?» Текст, из которого взят этот отрывок, носит название «Призраки»; являлся он отдельным эссе или частью будущего романа, неизвестно.

Несколько страниц «Записок по поводу моего заключения [и сочинения «Жюстина»]» посвящены рассуждениям на тему: почему де Сад никак не может быть автором «Жюстины»? «Требуется всего лишь капелька здравого смысла (но разве у тех, кто заключает нас в темницы, она есть?), чтобы убедиться, что я не являюсь и не мог являться автором этой книги. Но, к несчастью, я очутился во власти целого стада тупиц, у которых вместо способности мыслить засовы, а вместо философии ханжество, и все это исключительно по той причине, что гораздо проще запереть, чем поразмыслить, и помолиться Богу, чем принести пользу людям». Исписывая страницу за страницей гневными отповедями своим врагам, де Сад доказывал, что ни возраст, ни лишение свободы не могли помешать ему бороться с химерами и проповедовать свой «образ мыслей».

Воспоминания о годах революции переплавлялись в эротические сюжеты, наброски которых находят в его «Литературных заметках». Основанная, по словам де Сада, на реальных фактах («а потому, — замечает он, — никаких непристойностей») история мадам Телем повествует о преступлениях депутата Конвента Жозефа Лебона. Мадам Телем приходит к депутату и просит вычеркнуть мужа из списков эмигрантов. Лебон влюбляется в нее, хитростью выманивает из эмиграции ее мужа и дочь, отправляет мужа на гильотину, разоряет мадам Телем, а затем делает и ее, и ее дочь жертвами своих преступных страстей. В

наброске рассказа «Ужасные последствия милосердия» отец двоих очаровательных детей из сострадания дает приют монаху, которого события революции вынудили отречься от своих обетов. Постепенно отец доверяет гостю свои дела и воспитание детей, в результате чего бывший монах, ставший членом революционного комитета, развращает детей и, отправив на гильотину их отца, забирает себе остатки его состояния. Оба нехитрых сюжета лишь подтверждали, что в любых историях, как вымышленных, так и подлинных, человек у де Сада оставался пленником своих преступных страстей. Еще хотелось бы заметить, что в набросках будущих рассказов автор повторял свои прежние схемы, использованные им уже и в «Ста двадцати днях Содома», и в «Преуспеваниях порока», и в «Преступлениях любви»: лицо, наделенное властью, употребляет эту власть, чтобы унижить, подчинить и погубить свою жертву. И вновь невольно напрашивается вывод: де Сад не сочинитель, он философ, а философу не нужна замысловатая интрига, чтобы удержать внимание читателя.

Даже если судить по количеству сохранившихся набросков и романов, работоспособность де Сада в Шарантоне осталась прежней, то есть совершенно фантастической. И все же годы постепенно брали свое. «Старость редко бывает приятной, — выводил на листе де Сад, — ибо с ее приходом в нашей жизни наступает такое время, когда более невозможно скрыть ни единого нашего недостатка. Все источники, способствовавшие созданию впечатления, исчерпались; остались лишь подлинные чувства и добродетели. Большинство характеров терпят крушение еще до окончания жизненного срока, а посему мы часто видим у людей преклонного возраста души низменные и беспокойные, кои, подобно грозным призракам, обитают в наполовину разрушенном теле. Но когда к старости нас подводит благородная жизнь, тогда старость подобна не упадку, но началу бессмертия».

Верил ли маркиз в бессмертие своих сочинений? Когда он говорил правду — в своем завещании, где просил похоронить его в безымянной могиле, а сверху посадить деревья, чтобы, в согласии с принципами его философии, одно состояние материи поскорее перешло в другое? Или в письме к младшему сыну, когда в ответ на возмущенные реплики Клода Армана в адрес его писаний ответил: «Если мои сочинения хороши, то что же тут плохого? Не стоит так отчаиваться, коли имя ваше обретет бессмертие. Мои труды, в отличие от ваших добродетелей, приведут меня к бессмертию, а добродетели, хотя они и предпочтительнее, не приведут туда никогда». Какие свои труды имел в виду де Сад — «именные» или

анонимные? Означало ли это высказывание, что признание «Жюстины» и «Жюльетты» входило в его планы? И как он собирался издавать еще один толстенный труд под названием «Дни в замке Флорбель, или Разоблаченная природа»? Это десяти томное сочинение, завершённое в 1807 году, судя по сохранившимся наброскам, заметкам, планам и рисункам, де Сад рассматривал как дело всей жизни, что подтверждает и отзыв префекта полиции: «Содержание сей рукописи поистине возмутительно. Похоже, де Сад пожелал превзойти ужасы «Жюстины» и «Жюльетты». Можно бесконечно подбирать самые кошмарные эпитеты, но так и не суметь полностью охарактеризовать это адское сочинение. Невозможно читать подряд все эти десять томов, наполненных жестокостями, богохульствами и нечестивыми речами. В них царят непристойность и самый утонченный разврат, любая выходка персонажей находит свое обоснование, но, к счастью, мало кто из людей способен на подобные поступки». Полиция, периодически проводившая обыски в комнате де Сада в Шарантоне, чтобы проверить наличие рукописей порнографического содержания, изъяла этот «непристойный монумент» в июне 1807 года и доставила его в префектуру. Де Сад больше не увидит этой рукописи — после его смерти она будет предана огню по просьбе его сына Клода Армана.

Когда были созданы «Дни в замке Флорбель»? В Шарантоне или еще раньше? Принимая во внимание скорость, с которой писал де Сад, он вполне мог выполнить эту работу за шесть лет. Но многие исследователи склоняются к тому, что сочинение де Сада под названием «Теория либертинажа», которое Ретиф упоминает в предисловиях к своим произведениям «Господин Николя» (1797) и «Анти-Жюстина», является одной из частей «Дней в замке Флорбель», с которой вездесущему ночному страннику удалось ознакомиться в рукописи. «...Сей монструозный автор, подражая «Порнографу» (то есть роману самого Ретифа. — Е. М.), предлагает создать дома разврата <...> где будет двадцать видов пыток. <...> У маркизы, одной из его героинь, есть хорошенькая горничная по имени Анжелика. Негодяй по имени Дольмансе, который является не кем иным, как самим автором, требует, чтобы маркиза принесла ему в жертву эту девственную и честную девушку. Маленькая фурия, которую в «Будуаре» маркиз заставил изнасиловать и заразить собственную мать, тоже здесь; тут же и брат маркизы, существо достаточно ничтожное <...> Мы уже подошли к концу «Теории либертинажа»? Нет. Ее автор многозначительно намекает на новое сочинение, или, точнее, на новый кошмар»... Знакомые по «Философии в будуаре» персонажи, а также упоминание самим де Садом в шестом томе о смерти некой мадам де Мирваль (очевидно, «производное»

от мадам де Мистиваль) побуждает полагать, что часть нового монументального романа была написана еще до шарантонского заключения. Рукопись была помещена в тайник, а затем в урочное время доставлена в Шарантон Констанс или издателем, которому де Сад намеревался отдать ее для публикации.

Сохранились «Последние размышления и замечания об этом великом произведении», как называл его де Сад. В канву основного повествования были также вплетены «Подлинная история аббата Модоза, или Торжество преступления» и «Записки Эмилии де Вальроз (на полях уточнение: Вольнанж. — Е. М.), или Заблуждения либертинажа». Из этих заметок можно узнать, что читателя «Дней в замке Флорбель» ожидали рассуждения о морали, об искусстве наслаждения, проект устройства в Париже тридцати двух домов разврата, трактат о противоестественном, размышления о вкусах и пристрастиях, описания редкостных пыток, трактаты о душе и религии, рассказы о грандиозных оргиях, в том числе с участием исторических персонажей: Людовика XV и его придворных. Героиня романа Эмилия, плод инцеста брата и сестры, являлась аналогом Жюльетты, красавица Эдокси, претендовавшая на роль Жюстины, погибала в страшных мучениях.

Преступная фантазия Эмилии многократно превосходит фантазию Жюльетты, ее отец Сенарпонт устраивает празднества разврата с еще большим размахом, чем сам Калигула. Похоже, в новом романе страсть маркиза к гиперболизации увела повествование в дебри абсурда; впрочем, истины уже не узнает никто. Можно привести лишь отрывок из «Замечаний»: «Сенарпонт лишил девственности свою сестру, когда той было семнадцать лет, и она родила Эмилию <...> Эмилия, рожденная от Сенарпонта, была воспитана на средства господина де Вальроза. Эмилия заявляет, что ненавидит мать <...> Мать Эмилии спасла жизнь Сенарпонту, а это чудовище заставил ее заниматься проституцией во всех борделях Парижа. Он выдал ее замуж за Вальроза, чтобы стать господином и тираном этой семьи», и так далее.

Во время обысков в апартаментах де Сада в Шарантоне добычей полиции становились также дневники, письма, непристойные рисунки и предметы, свидетельствовавшие о том, что сексуальные фантазии почтенного маркиза еще не отошли в прошлое. Нельзя сказать, что де Сад равнодушно относился к этим обыскам, но устраивать шумные скандалы он не решался, опасаясь перевода в какую-нибудь отдаленную крепость, где ему будет негде гулять и куда за ним не сможет последовать Констанс. А совершить побег у него уже не хватало сил. К тому же у него быстро

завязались дружеские отношения с директором лечебницы: оба оказались страстными поклонниками театра и всевозможных зрелищ, а также всего, что с ними связано, — балов, ужинов в обществе хорошеньких актрис, пикантных бесед и приятного флирта. После обысков Кульмье приходил утешать де Сада, и «поднадзорный больной» был благодарен ему за эту поддержку. В тот день, когда была изъята рукопись «Дней Флорбель» и еще кое-какие листки, написанные де Садом еще в Бастилии, маркиз записал: «После этой истории господин де К. пришел к нам и целый час утешал нас; я был очень им доволен». «Доволен» — это слово в устах по-прежнему надменного маркиза вполне можно было приравнять к похвале. «Мы» относилось к нему и его «дорогой подруге» Констанс, дорожке которой у него никого «не было в целом мире».

С возрастом характер де Сада не становился лучше, его смирения хватало ровно настолько, насколько было нужно, чтобы не нарушить привычное течение жизни. Как только угроза отступала, де Сад вновь становился вздорным и капризным, и от него доставалось и директору, и пациентам. Тем не менее из общей страсти де Сада и директора Кульмье к театру родился неслыханный прежде эксперимент: театр как способ лечения душевнобольных. Кульмье давно хотелось проверить свою теорию о благотворном влиянии зрелищ на людей с душевными расстройствами, а де Сад всю жизнь мечтал заниматься театром и, как только предоставлялась такая возможность, с головой окунался в любую, говоря современным языком, театральную проект.

Кульмье обеспечил «материальную» часть предприятия: по указаниям де Сада соорудил настоящий театр с подмостками, кулисами, ложами, оркестровой ямой и зрительским партером на двести мест. Попасть на спектакли можно было только по специальным приглашениям, на каждое представление мадам Кене получала семь персональных приглашений. Все собственно театральное дело — подбор труппы, репертуар, сценография, режиссура, декорации — было сосредоточено в руках де Сада. Маркиз самозабвенно отдавался любимому занятию. Для вящего успеха он с благословения директора приглашал на главные роли профессиональных актеров; иногда на сцену выходила играть Констанс, иногда — он сам. Вряд ли де Сад изобретал специальные приемы, чтобы научить людей с поврежденной психикой играть на сцене, а если судить по жалобам, поступавшим на де Сада от пациентов лечебницы, принимавших участие в работе театра, он вовсе не задумывался о душевном состоянии своих актеров, подчиняя все одной цели: добиться нужного сценического эффекта. Режиссер с замашками феодала — такую гремучую смесь

наверняка сложно было выдерживать даже профессиональным актерам. Де Сад никогда не стеснялся в выражениях, а тех, кто не угодил ему, мог поколотить тростью. А если не поколотить, то пригрозить: к старости его вспыльчивость усилилась многократно. Тем более что среди театральной суеты де Сад забывал о своей несвободе, о возрасте, об одиночестве и вновь ощущал себя знатным сеньором, который у себя в поместье устраивает театр, приглашает на спектакли соседей, а затем гостеприимно приглашает всех к столу.

В театре господина маркиза де Сада — в империи все вновь стали господами — давали спектакли с 1805 по 1813 год и всегда собирали полный зал. Ездить в шарантонский театр было модно, в заведение Кульмье съезжалась вся парижская знать. Правда, далеко не все зрители были в восторге от увиденных зрелищ: некоторым театр в лечебнице для умалишенных казался организмом странным и инородным. Но ни Кульмье, ни де Сада это не смущало. За время существования театра де Сад поставил несколько собственных пьес, а также ряд пьес современных драматургов, в основном комедий — трагедии могли отрицательно воздействовать на душевнобольных актеров. Единственная сохранившаяся пьеса маркиза того времени носит название «Торжество дружбы»; она была написана и поставлена в честь дня рождения Кульмье, обычно отмечавшегося в Шарантоне широко и торжественно. Содержание пьесы сводилось к хвалам мудрому целителю, возвращавшему людям разум и радости жизни.

Но Франсуа Симоне де Кульмье не был целителем в прямом смысле этого слова: медицинского диплома у него не было. До своего назначения в Шарантон он был аббатом, затем депутатом от духовенства, затем, влившись в ряды присягнувших священников, стал заниматься благотворительными организациями. Назначенный директором Шарантона, он посвятил себя главным образом хозяйственным проблемам: занимался ремонтом здания, обеспечением больных всем необходимым и созданием условий, при которых состоятельные семьи готовы были помещать в лечебницу своих родственников и платить за их пребывание и лечение. Именно за хозяйственную деятельность Кульмье был удостоен ордена Почетного легиона. Пока главным врачом был единомышленник директора доктор Гастальди, театральные зрелища и танцы, устраивавшиеся после спектаклей, процветали, и организатором всех празднеств, балов и спектаклей был маркиз де Сад.

По словам доктора Рамона, «так продолжалось несколько лет, но надо отметить, что на протяжении всех этих лет находились мрачные субъекты,

полагавшие, что, принимая во внимание назначение шарантонской лечебницы, руководство ее поступало излишне легкомысленно; эти личности периодически направляли свои доклады министру внутренних дел; но ни записки, ни доклады никогда не имели никаких последствий». Положение изменилось, когда на место умершего доктора Гастальди был назначен психиатр Руайе-Колар, решительный противник как театральных экспериментов, которые, по его мнению, лишь ухудшали состояние пациентов, так и привилегий, которыми пользовался «безумный либертен» маркиз де Сад. По мнению Руайе-Колара, присутствие безнравственного маркиза оказывало отрицательное влияние на других больных, тем более что в отличие от остальных обитателей лечебницы де Сад жил там почти как у себя дома: рядом с ним была преданная ему женщина, он принимал гостей, в том числе и молоденьких актрис, устраивал приемы, был неводержан на язык. «Поэтому, — продолжал доктор Рамон, — неудивительно, что в числе претензий, предъявленных к администрации Шарантона, были названы тесные контакты директора с де Садом. То, что происходило в Шарантоне, нисколько не соответствовало атмосфере сдержанности, которой должно быть окружено подобного рода заведение, и вскоре после Реставрации господин Кульмье был отстранен от должности». (2 апреля 1814 года Наполеон отрекся от власти, 3 мая Людовик XVIII въехал в Париж, а уже в конце мая на место Кульмье был назначен Руляк де Мопа, человек, который еще больше, чем Руайе-Колар, не терпел де Сада и даже начал предпринимать шаги для перевода его в другое заведение. Однако родственники воспрепятствовали такому шагу: к тому времени самочувствие де Сада ухудшилось, и перемена мест могла дурно отразиться на его здоровье.)

Все время пребывания в Шарантоне де Сад не устал направлять жалобы в вышестоящие инстанции. Узнав в мае 1804 года о создании при правительстве Комиссии по свободе личности для выяснения статуса лиц, арестованных, но не представших перед судом, он тут же отправил в комиссию протест против своего заточения. «Вот уже три года и четыре месяца как я несправедливо пребываю в цепях, стесняя от жесточайшей несправедливости, допущенной по отношению ко мне», — писал он. Протест воспринят не был. Тогда де Сад обратился лично к министру полиции Жозефу Фуше, бывшему якобинцу, голосовавшему за казнь короля: «Вот уже четыре года, как меня без всякого на то законного основания лишают свободы; только благодаря имеющейся у меня склонности к философии я до сего дня мог терпеть различные притеснения, чинимые мне под предлогами либо легковесными, либо

просто смешными». И на это обращение ответа не последовало. Тогда де Сад, словно вспомнив свое заключение в Бастилии, принялся убеждать вышестоящее начальство, что его совершенно необходимо освободить, иначе земли его и владения придут в упадок. Доводы господина маркиза не подействовали.

Оставалась последняя инстанция — сам император. И 17 июня 1809 года де Сад адресовал нарочито смиренное прошение Наполеону Бонапарту. «Сир, — писал он, — господин де Сад, отец семейства, в лоне которого он обретает утешение в лице сына, отличившегося на военной службе, вот уже девять лет скитается по тюрьмам, успев за это время сменить их целых три, и влачит жизнь самую несчастную в мире. Ему семьдесят лет, он почти ослеп, страдает подагрой и болями в груди, а еще более ужасными болями в желудке. Справки от врачей лечебницы Шарантон, где он пребывает в настоящее время, свидетельствуют о правдивости его слов и дают ему основание требовать своего освобождения, равно как и утверждать, что никому не придется раскаиваться, если ему, наконец, вернут его свободу. И он дерзает утверждать, Ваше Величество, что питает к Вам, сир, глубочайшее уважение и пребывает вашим смиреннейшим и почтительнейшим слугой и подданным».

Говорят, Наполеон считал «Жюстину» книгой отвратительной, а потому отвечать ее автору не стал. Однако, несмотря на неприятие императором де Сада и его сочинений, современники находили у опального маркиза и великого корсиканца много общего. Бессменный член Директории Поль Баррас, человек, по определению многих, «воплощавший в себе все пороки старого и нового общества и лишенный всяких моральных устоев», был уверен, что «свирепость завоевателя является в глазах философа и физиолога не чем иным, как замаскированным выражением жестокой, но потаенной системы господина де Сада». Так он ставил знак равенства между натурой де Сада и честолубием Наполеона.

Не получив ответа от императора, де Сад понял: выше обращаться некуда. Вечный бунтарь успокоился, но не смирился. Тем более что в душе его еще пылали отблески пламени скандала, разгоревшегося из-за женитьбы Клода Армана, на которую де Сад долго не давал согласия, опасаясь, что его обманом заставят подписать документ о переводе в другую тюрьму. Когда же выяснилось, что раз де Сад все еще не вычеркнут из списков эмигрантов, то его согласия на брак не требуется вовсе, маркиз в ярости подписал все бумаги.

В сентябре 1808 года Клод Арман де Сад сочетался браком со своей

дальней родственницей Габриэль-Лор де Сад д'Эгийер. Несмотря на опасения де Сада, женитьба младшего сына не сказалась на его пенсии. Напротив, Клод Арман аккуратно вносил платежи и снабжал маркиза деньгами, что не мешало де Саду постоянно быть им недовольным: мысль о том, что семья хочет его разорить, никогда не покидала его, а история с разрешением на брак всколыхнула старые обиды на родственников, «этих Монтреев», к которым он причислял и бывшую супругу, и дочь, и младшего сына. Ни его главного врага, мадам де Монтрей, ни ее мужа к этому времени уже не было в живых.

Продолжение себя де Сад видел только в старшем сыне, хотя отношения их нельзя было назвать безоблачными. Виделись они крайне редко: Луи Мари жил в Париже и занимался всем понемногу — писал, рисовал, играл в карты.

Не пожелав последовать примеру брата, которого он считал великим лицемером, Луи Мари решил вернуться в армию. В январе 1809 года он получил офицерский патент, в июне отправился в Италию к месту расположения своей части и по дороге в Отранто был убит разбойниками. Или все же не разбойниками? Убийцы не взяли ни деньги, ни бумаги — ничего. Получив вместе с известием о гибели сына найденные при нем бумаги, де Сад молча запечатал их в конверт и, быть может, в эту минуту впервые почувствовал, насколько ужасна проповедуемая им философия зла: Луи Мари был убит без видимых причин. Предполагали, что его застрелили мятежники, но, возможно, убийца просто развлекался от скуки. Вполне по де Саду.

Через год де Сада постигла еще одна потеря: в возрасте шестидесяти девяти лет скончалась Рене-Пелажи. Но эту потерю он мог и не заметить: со своей бывшей супругой он не виделся уже двадцать лет и не представлял, ни как она выглядит, ни как ходит, ни как говорит. Место, отведенное прежде Рене-Пелажи, теперь в сердце де Сада прочно занимала Констанс Кене, и он очень боялся ее потерять. Когда Констанс заболела, де Сад приглашал к ней врачей, фиксировал у себя в дневнике состояние ее здоровья, а когда ей становилось лучше, водил гулять в сад. «Я не могу забыть, как в первую неделю своей болезни, — писал он в дневнике, — моя дорогая подруга наговорила мне много резких и душераздирающих слов, от которых я, оставшись один, заливался горячими слезами; однажды, словно в благодарность за мои заботы, она сказала мне: “Так вы хотите, чтобы я жила?” <...> А еще раз, пристально глядя мне в глаза, она произнесла: “Я была уверена, что вы похороните меня... О нет! нет, потому что я последую за тобой”».

Насколько был он искренен в этих строках? Слезы, о которых он пишет, без сомнения, были искренними — ему было жаль и себя, и свою дорогую подругу. Но следовать за ней в могилу он явно не собирался. Эти строки были из его прошлого, когда он часто грозил покончить с собой — сначала из-за того, что его держат взаперти, потом из-за того, что управляющий не шлет ему денег... К счастью, Констанс поправилась, и де Сад, который во всех своих «чудовищных» романах превращал мать в объект ненависти и презрения, в письме к ее сыну Шарлю пропел настоящий гимн матери: «Я часто говорил тебе, что природа лишь один раз дарует нам такого верного друга, как мать, и когда несчастье отбирает ее у нас, ничто в мире не может восполнить нам эту потерю». Виртуозно владея пером, де Сад ради сиюминутной выгоды мог сочинить все, что угодно, даже проповедь в защиту республиканских добродетелей. Но писать Шарлю его никто не заставлял, никаких выгод от этой переписки де Сад не имел, поэтому есть основания полагать, что его похвальные слова были искренними.

Прошлое обступало де Сада со всех сторон. К нему вернулась забытая за годы революции мания «значков», загадочных нумерологических исчислений. В его дневнике стали появляться странные записи: «12-го приходил доктор со своей служанкой, это его 2 [-й] визит, их двое, он говорит о 7 или 8; вот еще та самая 2 с той самой 7, но никаких догадок на этот день». В свое время, получив из Венсена очередное послание с загадочными цифрами, Рене-Пелажи впадала в отчаяние от того, что не понимала их значений, вызывая тем самым гнев супруга. Дневники де Сада читали только полицейские цензоры, и цифровые выкладки не волновали их нисколько, даже когда де Сад принимался подсчитывать время своего заключения, которое он отбывал без вынесения приговора.

Иногда среди цифр появлялись странные значки — кружок, пересеченный по диагонали чертой. Согласно М. Леве-ру, так де Сад обозначал содомизацию, а это означало, что старый либертен по-прежнему не отказывал себе в «фантазиях». Самой большой «фантазией» де Сада стала его нежная дружба с юной Мадлен Леклерк, дочерью шарантонской прачки. Их знакомство состоялось, когда ей было двенадцать, а ему шестьдесят восемь лет. Мать не возражала против общения дочери со старым дворянином — она надеялась, что тот сможет помочь Мадлен сделать карьеру актрисы: де Сад никогда не прерывал контактов с директорами театров и время от времени посылал им свои пьесы. Когда Мадлен подросла, она с разрешения матери вступила с обаятельным старцем в более близкие отношения. И, как в свое время Рене-Пелажи,

Мари-Констанс Кене не стала ни возражать, ни препятствовать все еще молодой чувственности своего друга, тем более что в Шарантоне они жили в отдельных комнатах. Участники маленького трио мирно соседствовали друг с другом, и долгими зимними вечерами де Сад мечтал, как он, выйдя на свободу, поселится вместе с обеими женщинами и все трое будут счастливы; ни Мадлен, ни Констанс ему не противоречили. Констанс понимала, что это последняя причуда ее друга, Мадлен попала под «скромное очарование аристократии» — де Сад умел быть любезным собеседником. К тому же беседы и «уроки» почтенного аристократа всегда сопровождались денежными дарами. Все визиты Мадлен, ее настроение, ее разговоры де Сад тщательно фиксировал в своем дневнике.

Несмотря на визиты юной Мадлен, соглашавшейся на все «фантазии» почтенного либертена, после закрытия театра де Сад резко постарел, стал еще более надменным; если раньше запрет общаться с другими больными приводил его в ярость, теперь он сам не вступал ни с кем в разговоры, ограничиваясь обществом двух по-своему любимых им женщин, лакея для услуг и чтеца: у него сильно сдали глаза, и для чтения газет он нанимал кого-нибудь из слугителей Шарантона. По поводу чтецов, лакеев и переписчиков его рукописей у де Сада часто возникали скандалы с дирекцией: и Кульмье, и его преемник были уверены, что маркиз отдавал на переписку вещи безнравственные и опасные, а чтецов и лакеев склонял к оказанию услуг совершенно определенного рода. Судя по значкам, появлявшимся в дневнике де Сада, ему это действительно удавалось. И все же старость приближалась — непреклонная, как сам де Сад. Как писал доктор Рамон, прибывший в Шарантон в ноябре 1814 года в качестве врача-интерна, он ни за что бы не признал в пожилом пациенте автора пресловутых «преступных» сочинений: «Я часто встречал его: шаркающей, тяжелой походкой он одиноко бродил по коридорам, примыкавшим к апартаментам, где он жил. Я никогда не замечал, чтобы он с кем-нибудь разговаривал. Проходя мимо него, я всегда здоровался с ним, но на мое приветствие он отвечал с той убийственно холодной вежливостью, что заставляет выбросить из головы саму мысль о возможности общения. <...> Ничто не могло побудить меня заподозрить в нем автора «Жюстины» и «Жюльетты»; мне он казался всего лишь старым дворянином, надменным и угрюмым».

В силу сложившихся обстоятельств де Саду чаще удавалось удовлетворять свои эротические фантазии на бумаге, нежели в реальной жизни, бумажный эротикой стал неотъемлемой частью его существования, такой же обязательной, как философские рассуждения его персонажей-

либертенов. Можно сказать, среди всех его фантазий наиважнейшими были те, которые он извлекал из чернильницы. За время пребывания в Шарантоне де Сад не только завершил конфискованные полицией «Дни в замке Флорбель», но и написал три объемных исторических романа, каждый из которых был примечателен по-своему.

Роман «Маркиза де Ганж» создавался с весны 1807 по осень 1812 года, а затем в течение 1813 года в лавках книгоиздателей без указания имени автора появились два тома исторического сочинения, вдохновленного трагической судьбой Мари-Элизабет де Россан, маркизы де Ганж, злодейски убитой братьями собственного мужа. Столкновение чистой героини с жестокими обстоятельствами иллюстрировало постоянную садическую тему несчастий добродетели, подвергнутой испытаниям и преследованиям. Несмотря на анонимность публикации, авторство де Сада никогда и никем не оспаривалось, к тому же маркиз несколько раз упоминал об этом сочинении в своем дневнике. Даже Клод Арман, всегда стыдившийся отцовских писаний, в письме от 17 ноября 1814 года сообщал отцу, что прочел «Маркизу де Ганж» с «большим удовольствием». «Идеологический» тон романа автор задал уже в предисловии: прославление добродетели и самого Бога. «Разве добрый Господь, принеший себя в жертву ради нас, не страдал больше, чем я? — восклицала благородная маркиза. — Несчастье — это титул, дающий право на благоволение Его; через несчастья Христос стал достойным своего преславного Отца, через несчастья я стану достойной Его неиссякаемых щедрот. О, какое умиротворение вносит в душу святая религия!» Принимая во внимание, что в это время у де Сада была конфискована рукопись «Дней в замке Флорбель», ему просто необходимо было написать нечто такое, что можно было бы предъявить цензорам, дабы ослабить их бдительность. В искренность апологии морали в устах де Сада верилось с трудом, но придаться было не к чему. Используя материалы хроник, излагавших историю убиенной маркизы, де Сад, как некогда в романах о Жюстине, приумножил злоключения своей героини, поместил ряд вставных эпизодов, уже успевших промелькнуть в его сочинениях, но с другими персонажами, и, верный своему кредо, в данном случае совпадавшему с исторической правдой, в конце романа зверски расправился с несчастной героиней: жестокосердые братья мужа заставили ее выпить яд и вдобавок нанесли ей несколько ударов шпагой.

1 сентября 1812 года де Сад начал работу над «героическим», по его собственному определению, романом под названием «Аделаида Брауншвейгская, принцесса Саксонская», в основу которого, по его утверждению, легли подлинные события, случившиеся в германских княжествах в XI столетии. Большую часть сочинения занимают приключения Аделаиды, супруги принца Фридриха Саксонского, неправомерно обвиненной в супружеской измене одним из придворных.

В конце романа интриган разоблачен, Фридрих погибает в поединке, а его вдова уходит в монастырь. Доблесть героини заключается в том, что она добровольно покидает двор, отправляется странствовать и переживает самые разнообразные приключения. В отличие от многострадальной Жюстины Аделаида подвергается испытаниям скорее психологического, нежели физического характера, и хранит верность мужу. Если бы не большой объем, этой истории вполне могло бы найтись место в сборнике «Преступления любви». Ощущение бесплотности героев романа происходит, скорее всего, от того, что написан он был в поистине рекордные сроки — 4 октября того же года де Сад поставил завершающую точку. Затем, по его собственным словам, он за восемь дней выполнил правку, 13 октября начал переписывать труд начисто и завершил работу 21 ноября. 4 декабря он выбросил черновик. Вся работа заняла три месяца и четыре дня. А ведь к этому времени де Саду уже было семьдесят два года!

Но как бы быстро де Сад ни писал, какие бы добродетели ни прославлял, всегда можно было отыскать пару строчек, где автор исподволь проталкивал принципы единственно верной, с его точки зрения, философии природы: «Наши склонности дарует нам природа, но мы вольны направить их в ту или иную сторону. Человек во многом зависит от привычек, и стоит ему с детства воспринять добрые привычки, как они непременно выведут его на тропу добродетели. Самое главное, чтобы родители выбрали ребенку правильного наставника», — вещает один из собеседников в трактире. «Не вижу смысла в наставниках, — опровергает его другой. — Гораздо лучше предоставить природе действовать свободно и не отягощать ребенка советами, которые он мгновенно забудет, как только в нем начнется кипение страстей. В природе человека заложен протест против любых запретов, которые его стесняют».

19 мая 1813 года де Сад приступил к работе над окончательным вариантом рукописи под названием «Тайная история Изабеллы Баварской, королевы Франции», к ноябрю завершил историю супруги короля-безумца Карла VI, а потом вместе с «Аделаидой Брауншвейгской» отправил издателю. Однако оба романа увидели свет только соответственно в 1953 и

в 1964 годах. Образ Изабеллы Баварской, распутной супруги Карла VI, устраивавшей в замке Ботэ-сюр-Марн оргии, достойные Жюльетты, давно привлекал к себе внимание маркиза. Еще до своего первого ареста он побывал в архивах картезианского монастыря в Дижоне и ознакомился с протоколами допросов Луи де Буа-Бурдона и завещанием герцога Бургундского, любовников Изабеллы, просмотрел связки документов, относящихся к той эпохе, и сделал выписки. Можно только еще раз восхититься удивительной способностью де Сада хранить написанное: множество тетрадей и связок бумаг путешествовали с ним из Ла-Коста в Венсен, из дома на улице Нев-де-Матюрен в Пикпюс и так до самого Шарантона, где во время одного из обысков полицейские изъяли у него листки, написанные еще в Бастилии!

Ссылался де Сад также и на документы из Королевской библиотеки в Лондоне, но так как его поездка в столицу Англии не является доказанным фактом, эти ссылки многие считают вымышленными, придуманными де Садом для придания тексту большей достоверности. Впрочем, как и во всех сочинениях маркиза, историческая точность всегда была готова уступить место «образу мыслей» автора. А мысли уводили де Сада в дебри разврата и преступлений, совершенных безнравственной королевой, прозванной за свой жестокий нрав «волчицей». Автору не нужно было ничего придумывать, всего лишь добавить парочку преступлений, чуть-чуть преувеличить, превратив Изабеллу в некое подобие Жюльетты, и не прославлять ее преступность, а порицать. Как подчеркивала современная французская исследовательница Шанталь Тома, пара Изабелла Баварская — Карл VI очень напоминали августейшую пару Мария-Антуанетта — Людовик XVI, какими их представляли в памфлетах: коварная преступная королева и добродетельный, но безумный (неумный) король, желающий блага своим подданным, но не знающий, что для этого надо сделать.

Противопоставление погрязшей в преступлениях Изабеллы и чистой Жанны д'Арк, освободительницы Франции от англичан, возникла в народе еще в те далекие смутные времена: «Францию погубила женщина, а спасет девственница». Развратная Изабелла ненавидит сына, короля Карла VII, и хочет, чтобы власть во Франции перешла к ее внуку, английскому королю Генриху VI, сыну ее дочери Екатерины. Добродетельная Жанна, наоборот, готова пожертвовать собой, чтобы престол остался за Карлом. «Какая поразительная разница! — восклицал автор. — Жанна хотела умереть за своего короля; Изабелла жаждала смерти этого короля и заплатила за убийство той, кто хотела умереть за короля». Исторический конфликт, предоставивший де Саду возможность вновь столкнуть добродетель и

порок, он решал на политическом поле: для Изабеллы гибелью стал уход из власти, а чистота девы-спасительницы Жанны осталась неоскверненной и недосягаемой. Цензоры не усмотрели в рукописи ничего оскорбительного для общественной нравственности. Герои хроники былых времен под предводительством де Сада проследовали путем, уготованным им Историей.

Самого де Сада тоже ждала дорога в Историю. Но, не зная, когда настанет час отправляться в путь, маркиз не пожелал, чтобы его застали врасплох, и заранее — 30 января 1806 года — написал завещание. Этот документ явился ярким свидетельством благодарных чувств де Сада к Мари-Констанс Кене, чувств, которыми де Сад до своего знакомства с этой удивительной женщиной был обделен полностью.

*

Завещание, составленное «Донасьеном Альфонсом Франсуа Садом, литератором», гласило: «Поручаю исполнение нижеуказанных условий сыновним заботам детей моих, в надежде, что их дети поступят по отношению к ним так же, как они поступят по отношению ко мне». Прервав чтение последней воли де Сада, напомним, что древний принцип: «Поступай по отношению к другому так, как тебе хочется, чтобы поступали по отношению к тебе» у либертенов де Сада подразумевал право каждого обокрасть своего ближнего или убить его, одновременно предоставляя ближнему право обойтись точно так же с самим либертеном. Выигрывал в этом случае сильнейший. Но в завещании де Сад вряд ли хотел, чтобы его поняли как философа либертинажа. И еще: хотя завещание составлено «на всякий случай», де Сад уверен, что, когда бы оно ни вступило в действие, чувства Констанс к нему останутся неизменными.

Итак, первый пункт: «Желая по мере своих слабых возможностей засвидетельствовать даме Мари-Констанс Ренель, жене Бальтазара Кене, полагавшего скончавшимся, свое величайшее почтение за ту заботу и искреннюю дружбу, кои она питала ко мне начиная с двадцать пятого августа тысяча семьсот девяностого года и до дня моей кончины, за ее деликатные и бескорыстные чувства, равно как и за ее мужество и энергию, ибо именно она, как это всем известно, спасла меня во времена Террора от нависшей над моей головой национальной бритвы, я, на основании вышеперечисленного, дарю и завещаю вышеуказанной Мари-Констанс Ренель, в супружестве Кене, сумму в двадцать четыре тысячи турецких

ливров в звонкой монете, имеющей хождение во Франции в день моей кончины. Также желаю и повелеваю, чтобы сумма эта была выделена из полностью свободных и очищенных от долгов средств, которые я оставляю после себя, и поручаю детям моим вручить ее в течение месяца, считая со дня моей кончины, господину Фино, нотариусу в Шарантонсен-Морис, коего я назначаю исполнителем моего посмертного волеизъявления, с тем чтобы он по своему усмотрению поместил эту сумму в верное место с наибольшей выгодой для мадам Кене, дабы обеспечить ей доход, достаточный для пропитания и существования. Доход сей должен ей выплачиваться поквартально, то есть каждые три месяца, а также должен быть оформлен таким образом, чтобы никто не смог его у нее отобрать, а также чтобы потом и сумма, и доход с нее перешли бы к Шарлю Кене, сыну вышеуказанной госпожи Кене, который станет их владельцем на тех же условиях, но только после кончины своей почтенной матушки. В случае, если несмотря на выраженную мною волю относительно имущества, оставленного мною по завещанию мадам Кене, дети мои попытаются совершить обман или же уклониться от исполнения моей воли, я прошу их вспомнить, что примерно такая же сумма была обещана ими вышеозначенной даме Кене в знак признательности за ее заботы об их отце и что данный акт совершается в согласии с их изначальным намерением и предваряет его; а потому не сомневаюсь ни на минуту в их согласии с моими последними распоряжениями, особенно когда думаю о сыновних добродетелях, которыми они всегда отличались, чем и заслужили мои отцовские чувства.

Второй пункт. Я отдаю и завещаю означенной даме Кене всю мебель, вещи, белье, одежду, книги и бумаги, которые будут обнаружены у меня в день моей кончины, за исключением бумаг моего отца, которые легко узнать по наклеенным на связки ярлычкам; эти бумаги следует передать моим детям.

Третий пункт. В согласии с моей последней волей настоящее завещательное распоряжение позволяет мадам Мари-Констанс Ренель, в супружестве Кене, на любом основании предъявлять любые права, претензии и требования относительно моего наследственного имущества.

Четвертый пункт. Передаю и завещаю господину Фино, исполнителю моего завещания, кольцо стоимостью тысяча двести ливров за труды и старания, кои он приложит для исполнения сего завещания.

Пятый пункт. Категорически запрещаю подвергать вскрытию мое тело, под каким бы предлогом ни захотели это сделать; также я настоятельно прошу, чтобы в той комнате, где я встречу свой последний час, тело мое

пробыло бы ровно двое суток, положенное в деревянный гроб, который бы заколотили только по истечении указанных выше двух суток. За это время следует сообщить о смерти моей Ленорману, лесоторговцу, проживающему в Версале, на бульваре Эгалите, в доме номер сто один, и попросить его прибыть лично вместе с телегой, дабы он сам на этой телеге отвез мое тело в лес, расположенный в моем поместье в Мальмезоне, в коммуне Эмансе, что близ Эпернона. Там я хочу, чтобы гроб мой без всяких церемоний выгрузили в первом же густом пролеске, который встретится, когда подъезжаешь к лесу со стороны бывшего замка по большой аллее, делящей лес этот пополам. Могилу в этом пролеске под присмотром Ленормана выроет арендатор Мальмезона, а искомый Ленорман проследит, чтобы гроб с телом моим был опущен именно в эту яму; если ему будет угодно, он может найти себе сопровождающих среди моих родственников или друзей, тех, кто без всякой помпы пожелают в последний раз выразить мне свою привязанность. Когда могила будет засыпана, поверх следует посеять желуди, чтобы со временем сей клочок земли вновь покрылся растительностью и пролесок снова стал бы таким же густым, как был прежде, а следы моей могилы исчезли бы с лица земли, как, смею надеяться, и воспоминания обо мне изгладятся из памяти людей, кроме, быть может, тех немногих, которые любили меня вплоть до последних дней моих и нежные воспоминания о которых и я уношу с собой в могилу».

Составитель завещания Д. А. Ф. Сад подтверждал, что тридцатого января тысяча восемьсот шестого года пребывал в здравом уме и твердой памяти.

*

Каков он все же, этот ум, остававшийся до последнего мгновения абсолютно ясным, острым и конфликтным? Ум, безгранично стремившийся к свободе, не признававший никаких запретов — и сосредоточившийся на сексуальной сфере, эротических чувствах, превратив их в инструмент для сооружения величественного здания философии порока, или философии Природы, как иначе именует ее де Сад, превращая Природу в равнодушное провидение, чьи пути также неисповедимы, как промысел Господа. Но, говоря о равнодушии Природы, де Сад лукавит, ибо за этим равнодушием у него непременно таится зло и разрушение. В садическом мире нет животворящего начала: удовольствие как единственная цель жизни достигается либертенном через слово и умертвие. Слово освящает умертвие,

превращает убийство в жертвоприношение, совершаемое на алтаре законов природы. Слово и тело — две вещи, без которых не может существовать либертен. Главное различие между либертеном и жертвой — владение словом. Философия позволяет либертену воспринимать действия, доставляющие страдания жертве, как наслаждение. Факел философии, рожденной Разумом и воплотившейся в слове, освещает будуар, наполненный обнаженными телами, из которых составлены причудливые композиции. Где здесь либертен, а где жертва? На помощь приходит слово — тот, кто им обладает, принадлежит к тем, у кого власть, кто распоряжается оргией. Тот, кому скучна философия, кто не владеет словом, кому недоступны доводы либертенов, — тот жертва, покорная своей участи.

Философия, слово — главное сокровище либертена, все прочие мирские блага нужны ему опосредованно: деньги и сокровища — чтобы создавать условия для либертинажа, одежда — чтобы превратить ее в маркер, классификатор, необходимый при организации оргий, еда — для поддержания физических сил. Роскошь — также своего рода маркер, знак принадлежности к власти. В своих анонимных сочинениях де Сад с полной прозрачностью описывает отправления человеческого тела и действия, которые культурная традиция либо не называет, либо называет описательно, используя медицинскую терминологию или эвфемизмы. Когда же все преграды убираются, создается аффективный, эмоционально насыщенный контекст. Но у либертенов де Сада нет эмоций, у них есть только слова и управляющий ими разум, а потому даже восклицания, издаваемые либертенами, нельзя назвать эмоциональными, ибо они выражают не состояние души либертена, а характеризуют его речевой акт.

Маленькое отступление: философия, царящая в «непристойных» сочинениях де Сада, порождает дискуссии о способах их перевода на русский язык, в котором употребление обценной лексики создает эмоциональный накал, не свойственный этим сочинениям. Единого мнения, разумеется, нет, и произведения великого маркиза приходят к российскому читателю и с русским матом, и с препарированными медицинскими вокабулами.

Именно салическое слово, прямая скрупулезная номинация как потаенных, традиционно осуществляемых при закрытых дверях, так и самых отвратительных действий, совершаемых человеком, последующее оправдание и даже возвеличивание этих действий, философские выкладки, убеждавшие, что «хорошо» и «плохо» есть понятия относительные и зависят от множества обстоятельств, а также нападки на религию и

отрицание Бога навлекли на маркиза гнев властей и превратили его жизнь в дорогу от одного места заключения к другому. Иногда кажется, что ограниченное пространство тюремного замка (крепости, лечебницы) притягивало его и он был не в силах противиться этому притяжению. Ведь он мог остаться в Италии, мог эмигрировать, уехать в Англию или Голландию, где издавали неподцензурные книги и контрафактную продукцию... Но он никуда не ехал, ни с кем особенно не дружил и основную часть времени проводил за письменным столом — писал, писал и еще раз писал.

Если исходить из того постоянства, с которым де Сад буквально «проворачивал» свою философию через все свои сочинения, натура господина маркиза должна была бы отличаться исключительной цельностью, и законченный либертен де Сад должен был бы выглядеть и законченным негодяем. Но вместо негодяя получился человек со всеми его слабостями, достоинствами и недостатками. Жюстина и Жюльетта в одном лице. Подобно Жюстине, он подвергается гонениям за приверженность одной идее — только не добродетели, а порока. Подобно Жюльетте, он позволяет себе все, на что способна его фантазия, — только на бумаге. Его неблагоприятные поступки не выделяют его из среды современников-аристократов. В отличие от многих он не поддался угару революционной жестокости. В повседневной жизни отличался пристрастием к комфорту, высокомерию, скандальностью и мелочностью. Незаслуженно обижал жену. Редко вспоминал о детях, а потому не сумел разобраться, любит он их или нет. Вполне мог именоваться «садюгой», этим, по определению Виктора Ерофеева, «ласковым русским словом». В согласии с принципами собственной философии природы запретил подвергать вскрытию свое тело. Возможно, он опасался, что в нем случайно обнаружат душу, наличие которой он всегда яростно отрицал.

*

Донасьен Альфонс Франсуа де Сад скончался 2 декабря 1814 года от отека легких в шарантонской лечебнице для душевнобольных. Он давно уже чувствовал себя плохо, но буквально до последнего дня не выпускал из рук перо. 27 ноября 1814 года в его записях последний раз промелькнуло имя Констанс, а через три дня де Сад сделал последнюю запись в своем дневнике: «Мне впервые надели кожаный бандаж».

Распоряжения маркиза были выполнены наполовину: тело его

вскрытию не подвергли, однако похоронили его со всеми подобающими церковными обрядами. Ренту Констанс Кене выплачивали регулярно, но мебель, книги и одежду не отдали, а пустили с молотка. Также были проданы рукописи, авторство которых было признано де Садам. Рукописи, конфискованные полицией, в том числе двадцать четыре дневниковые тетради, заполненные во время пребывания в Шарантоне, были частично сожжены по просьбе семьи, частично распроданы из-под полы самими конфискаторами, часть бумаг была утеряна.

Через несколько лет в результате эксгумации тела де Сада череп его очутился в руках немецкого френолога доктора Шпурцгейма, сделавшего парадоксальное признание, что череп маркиза напоминает череп «одного из Отцов Церкви».

Как и завещание, собственную эпитафию маркиз также сочинил заранее. И в этой «эпитафии Д. А. Ф. де Сада, сидевшего в тюрьмах при всех режимах» автор именует себя «несчастливым человеком».

Путник,
Колена преклони
Здесь в память о несчастном человеке,
Что в прошлом веке начал дни,
А умер в наступившем веке.
Но деспотизм с уродством на челе
Всегда его терзал рукою злобной.
Сей монстр еще при короле
Жизнь сделал гибели подобной.
Не отменил его Террор —
Страдалец был на грани Ада —
При Консульстве цветет он до сих пор
И жертвой вновь избрал де Сада^[14].

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Маркиз де Сад скончался в лечебнице для душевнобольных, но книги его остались жить, вызывая у читателей то ужас, то восхищение. Мало найдется писателей, мнения о которых были бы столь противоречивы и сочинения которых проделали бы столь головокружительный взлет — от томиков, читаемых украдкой, до солидных академических изданий с золотым тиснением на корешках. Путь писателя де Сада от порнографа до философа Просвещения был извилистым и долгим. Когда полиция по просьбе Клода Армана де Сада предала сожжению последний многотомный роман его отца «Дни в замке Флорбель», где автор в своем восхвалении зла и насилия, выражающегося прежде всего в насилии сексуальном, превзошел свои предшествующие романы, в глазах тогдашнего общества и критики он был «непристойным» писателем, автором гнусных порнографических сочинений. Таковым его считали при жизни и называли его романы «эталонем безобразия». Например, когда издатели «Трибунала Аполлона» сочли нужным раскритиковать роман Дефоржа «Евгений и Евгения, или Супружеская ошибка» за обилие жестоких сцен (злодей вырывает из рук матери младенца и бросает его в огонь, негодяй насилует бесчувственную женщину и проч.), они написали, что у автора проснулось «десадово воображение». И со вздохом добавили, что всем жить надо, намекнув тем самым, что у читателя подобные сочинения пользуются успехом. Луи Себастьян Мерсье высказался еще более решительно: «Наверняка ни в Содоме, ни в Гоморре не читали тех книг, что печатают, а затем продают в Пале-Рояле. «Жюстину, или Несчастья добродетели» там можно купить везде. Вложите перо в когти дьявола или злого гения врага человечества, он не смог бы написать хуже».

Все же сочинения де Сада, включая анонимные, получили не только эмоциональную, но и литературную оценку, и автор был включен в современные ему биографические словари писателей — вторым, после аббата де Сада. Например, в справочном издании 1801 года «*Siecle litteraire de la France*» после статьи об аббате де Саде набрано петитом несколько слов и о его племяннике: родился 2 июня 1740 года, написал «Преступления любви», «Алину и Валькура», ряд пьес, литературные заметки. В 1806 году Барбье в словаре анонимных авторов поместил крошечную статью о романе «Жюстина, или Несчастья добродетели». Назвав роман «чрезвычайно аморальным», он заметил, что автор,

опубликовавший «Жюстину» посреди революционных потрясений, скомпрометировал свободу, завоеванную в 1789 году.

Однако в словаре Пигоро (1821) отмечается, что порнографу не удалось полностью вытеснить из де Сада литератора. В 1830-х годах во французских словарях появляется слово «садизм», определяемое как «ужасное распутство с отклонениями, чудовищная и антиобщественная система, вызывающая возмущение у самой природы». В это же время выходит «Всеобщий биографический словарь» Мишо, где в статье, посвященной маркизу де Саду, упомянуты все его изданные сочинения, а также множество рукописных пьес и рукописи «Изабеллы Баварской» и «Аделаиды Брауншвейгской». О последних Мишо, в частности, пишет: «Сюжеты этих романов черны и жестоки, в то время как в театральных пьесах мы не найдем ничего, что противоречило бы добрым нравам и религии».

Тем не менее для известного историка Ж. Мишле, именовавшего де Сада «заслуженным профессором преступлений», маркиз олицетворял собой отвратительное прошлое, свергнутую монархию. Ибо, как писал Мишле, де Сад с высоты своих лет и с присущей ему изысканностью учил всех, что природа, равнодушная к добру и злу, являет собой всего лишь череду преступлений, необходимых для убийств одних, чтобы на их месте возникли тысячи других. Отсюда вывод: мир являет собой одно огромное преступление.

Несмотря на отрицательное отношение к маркизу многих крупных писателей и историков, XIX век постепенно смирился с писателем Донасьеном Альфонсом Франсуа де Садом: его сочинения отнесли к области литературных курьезов и время от времени издавали небольшими тиражами. А внимательные критики уже в первой половине столетия уловили главную опасность книг маркиза, содержащуюся отнюдь не в порнографии, а в его философии, а потому полагали, что «Алина и Валькур» — роман, пожалуй, более опасный, нежели «Жюстина», ибо в нем не было отвратительных неприличных сцен, и, следовательно, автор, не отталкивая читателя, исподволь внушал ему свои принципы. Известный критик Сент-Бёв усматривал опасное влияние де Сада в стремлении некоторых писателей показывать страсти жестокие и извращенные. «Запах серы», который, по словам Жюль Жанена, сопровождал маркиза, ощущался и в некоторых пьесах Дюма-отца, и в отдельных романах Бальзака и Эжена Сю, и в «Мемуарах дьявола» Фредерика Сулье.

Высоко ценил де Сада Гюстав Флобер. И в конце XIX века Гийом Аполлинер, считавший де Сада «самым свободным человеком», вернул

писателю подобающее ему место во французской литературе, став первым серьезным издателем и комментатором его избранных текстов.

В XX веке отношение к «божественному маркизу» радикально изменилось: почитатели провозгласили его предтечей Ницше и Фрейда, сюрреалисты с восторгом называли его «гением революции», историки попытались взглянуть на него как на «зеркало Французской революции». Кровопролитные войны и катаклизмы XX века побуждали людей искать в жестоких сочинениях маркиза ответ на вопрос о природе зла: писатель, обосновавший торжество порока, казался необычайно современным. Постепенно оценочные статьи стали дополняться серьезными кропотливыми исследовательскими сочинениями о жизни и творчестве де Сада. Количество работ, посвященных маркизу де Саду, стремительно увеличивалось, и на сегодняшний день можно с полным правом говорить о садоведении — как, к примеру, мы говорим о бальзаковедении. И фигура «современного» де Сада постепенно начала уступать место писателю и философу XVIII века маркизу Донасьену Альфонсу Франсуа де Саду, чьи сочинения, переведенные на многие языки мира, заняли свое место рядом с трудами Вольтера и Руссо.

Современные де Саду властители дум нередко выглядели весьма неприглядно в мире чувств. В своих сочинениях де Сад довел царившее в обществе поклонение разуму до абсурда и явил этот абсурд в сфере человеческих страстей. В романах маркиза нашла свое отражение «изнанка Просвещения» — когда разум, возведенный в культ, становился и поводом, и причиной гибели сотен тысяч людей. Увидев, как проводником идей свободы, равенства и братства стала гильотина, де Сад ужаснулся... и продолжил выстраивать на бумаге свою башню зла. Отбросив условности, он описывал самые неприглядные стороны человеческой природы и тем самым — быть может, неосознанно — пытался защитить себя от тех ужасов, которые творились вокруг во имя высоких идеалов. Возможно, именно несоответствие идеалов и действительности побуждало его постоянно отрицать в человеке и душу, и Бога и, отбросив традиционный источник зла, представленный в образе дьявола, показать, как может быть страшен человек и как он таковым становится. А выработанная им «прозрачная» манера письма позволила совместить условность с деталью, философский вымысел с реалиями эпохи.

Творчество маркиза де Сада, равно как и его личность, еще долго будут привлекать внимание и специалистов, и всех, кто интересуется историей литературы, историей развития человеческой мысли. От обилия садоведческих работ интерес к маркизу и его сочинениям не угасает.

Уникальный экспериментатор, де Сад выстроил на страницах своих жестоких романов утопию, где не было места ни духу, ни душе, и сам стал заложником придуманной им системы. Но ведь де Сад, по определению современного литературоведа Пьера Клоссовского, — «наш ближний», а понять ближнего, заглянувшего в черные глубины человеческого разума, а затем во всеуслышание заявившего о вещах, в которых человек со стыдом не хочет признаваться даже самому себе, важно прежде всего для нас самих.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ДОНАСЬЕНА АЛЬФОНСА ФРАНСУА, МАРКИЗА ДЕ САДА

1740, 2 июня — В Париже, во дворце Конде, родился Донасьен Альфонс Франсуа, маркиз де Сад. Отец — Жан Батист Франсуа Жозеф, граф де Сад (1702—1767), мать — графиня Мари-Элеонор де Сад, урожденная де Майе де Карман (1712—1777).

1741, 2 декабря — Родилась Рене-Пелажи Кордье де Монтрей.

1744 — Юный Донасьен отправлен на воспитание в Прованс.

1746, 13 августа — Графиня де Сад родила дочь Мари-Франсуазу, скончавшуюся в младенчестве.

1750, осень — Донасьен отдан в руководимый иезуитами коллеж Людовика Великого в Париже.

1751, 27 декабря — Родилась Анн-Проспер де Лонэ де Монтрей, сестра Рене-Пелажи.

1754 — 14-летний Донасьен поступает в привилегированную Кавалерийскую школу.

1755, 14 декабря — Донасьен произведен в подпоручики.

1756, 27—28 июня — Штурм Порт-Магона, боевое крещение Донасьена.

1763, 16 марта — Донасьен демобилизован из армии.

1763, 17 мая — Бракосочетание Донасьена Альфонса Франсуа де Сада и Рене-Пелажи Кордье де Монтрей.

1763, 19 октября — Скандальная история с Жанной Тестар.

29 октября — на основании королевского «письма с печатью» де Сад заключен в Венсенский замок.

13 ноября — де Сад отпущен на свободу и сослан в Нормандию, в поместье Эшофур, принадлежащее родителям жены.

1764, конец лета — У Рене-Пелажи родился мертвый ребенок.

11 сентября — маркиз де Сад получает разрешение вернуться в Париж; жизнь в вихре любовных развлечений.

1765, весна — Связь с актрисой Бовуазен; поездка в Ла-Кост, где де Сад выдает Бовуазен за свою жену; устройство театра. Август — маркиз де

Сад возвращается в Париж.

1766, зима — Разрыв с Бовуазен; новые интрижки, новые долги.

1767, 24 января — В Версале скончался граф де Сад.

27 августа — родился старший сын маркиза де Сада — Луи Мари.

1768, 3 апреля — Громкий скандал вокруг истории с Розой Келлер; по приказу короля де Сад арестован и препровожден в крепость Сомюр; суд и заключение в крепость Пьер-Ансиз.

Ноябрь — по приказу короля маркиз де Сад оправдан и отправлен на жительство в Ла-Кост.

1769, апрель — Маркиз де Сад возвращается в Париж.

27 июня — родился младший сын маркиза де Сада — Клод Арман.

Сентябрь — маркиз де Сад отправляется в Голландию.

1771, 17 апреля — У маркиза де Сада родилась дочь Мари-Лор.

Август — заключение в долговую тюрьму Фор-Левек.

Сентябрь — отъезд в Ла-Кост с женой, детьми и Анн-Проспер де Лонэ.

1772, 23 июня — Де Сад вместе с лакеем Латуром едет в Марсель, где 27 июня устраивает оргию с участием четырех жриц продажной любви; во время оргии де Сад угощает девиц конфетами со шпанской мушкой.

Июль — обыск в замке Ла-Кост; бегство де Сада и Анн-Проспер де Лонэ в Италию; в Марселе идет следствие, а затем слушание по делу маркиза де Сада, обвиненного в попытке отравления.

1772, 3 сентября — Маркиз де Сад и его лакей Латур заочно приговорены к смертной казни; 12 сентября на центральной площади Эксан-Прованса над чучелами обвиняемых приговор приводится в исполнение.

Осень — маркиз де Сад находится в Италии вместе с Анн-Проспер.

8 декабря — де Сад арестован в Шамбери и заключен в крепость Миолан.

1773, 30 апреля — Побег из Миолана.

Осень — маркиз де Сад живет в своем поместье Ла-Кост.

1774, февраль — Гаспар Франсуа Ксавье Гофрили становится управляющим маркиза де Сада.

Осень—зима — «домашний бордель» маркиза де Сада; попытки супругов де Сад обжаловать приговор марсельского суда.

1775, январь — Скандал, связанный с делом «маленьких девочек»: маркиза обвиняют в развращении несовершеннолетних.

17 июля — де Сад в сопровождении лакея по прозвищу Юность бежит в Италию.

1776, июнь — Возвращение в Ла-Кост.

Октябрь — организация очередного «домашнего борделя».

7777, 14 января — В Париже скончалась графиня де Сад.

17 января — покушение на де Сада, совершенное отцом одной из его служанок.

13 февраля — маркиз де Сад арестован в Париже инспектором Марэ на основании королевского «письма с печатью» и заключен в Венсенскую крепость.

31 декабря — в деревушке Виньерм скончался аббат де Сад.

1778, июль — Отмена приговора марсельского суда «по причине отсутствия состава преступления, а именно отравления»; но так как «письма с печатью» никто не отзывал, де Сад вновь отправлен в Венсен.

16 июля — по дороге в Париж де Сад совершает побег; он прибывает в Ла-Кост.

28 августа — де Сад арестован в Ла-Косте.

7 сентября — после 39 дней пребывания на свободе маркиз де Сад снова становится узником Венсенской крепости.

1781, 13 мая — В Париже скончалась Анн-Проспер де Лонэ.

27 октября — в Ла-Косте от родильной горячки скончалась Готон.

1782 — Де Сад работает над пьесами «Недобросовестный», «Жанна Лене», «Безумное испытание, или Легковерный муж», «Сестры-близнецы», «Мизантроп из-за любви, или Софи и Дефран», пишет «Диалог священника с умирающим», начинает работать над романом «Сто двадцать дней Содома».

1784, 25 января — В Ла-Косте скончалась Мари-Доротея де Руссе.

29 февраля — маркиз де Сад переведен в Бастилию.

1785, октябрь—ноябрь — Де Сад завершает работу над романом «Сто двадцать дней Содома» и начинает писать роман «Алина и Валькур».

1787, 8 июля — де Сад заканчивает философскую повесть «Злоключения добродетели» (первая редакция «Жюстины»).

Июль — семейный совет без дозволения узника берет на себя полномочия по управлению его имуществом и воспитанию его детей.

1788, 1 марта — Закончена повесть «Эжени де Франваль».

1 октября — де Сад завершает работу над комментированным каталогом своих сочинений. *Октябрь* — работает над романом «Алина и Валькур».

1789, 4 июля — Де Сад переведен из Бастилии в Шарантон; до взятия Бастилии остается десять дней.

19 июля — Рене-Пелажи снимает с себя ответственность за имущество мужа; это первый самостоятельный шаг мадам де Сад, предпринятый ею

вопреки воле супруга.

1790, 2 апреля — На основании отмены «писем с печатью» маркиз де Сад выходит на свободу.

9 июня — мадам де Сад получает развод.

25 августа — маркиз де Сад знакомится с Мари-Констанс Кене, которая станет верной спутницей всей его жизни.

1791 — Опубликован роман «Жюстина, или Несчастья добродетели» (вторая редакция «Жюстины»).

24 июня — после бегства королевской семьи в Варенн гражданин Сад пишет «Обращение гражданина Парижа к королю французов».

Сентябрь — сын маркиза Луи-Мари уезжает в эмиграцию.

21 октября — на сцене театра Мольера поставлена драма «Окстьерн, или Несчастья либертинажа».

1792, 5 марта — На сцене Итальянского театра поставлена пьеса «Соблазнитель», но революционно настроенная публика срывает премьеру.

Май — сын маркиза Клод Арман уезжает в эмиграцию.

Сентябрь — разграбление замка Ла-Кост; гражданин Сад назначен секретарем секции.

Осень — гражданин Сад дебютирует как составитель доклада о состоянии парижских больниц; доклад решают напечатать и разослать во все 47 секций столицы; гражданин Сад пишет «Рассуждения о способе принятия законов», которые по распоряжению секции издаются отдельной брошюрой и рассылаются во все секции столицы.

Декабрь — де Сад появляется в списке эмигрантов департамента Буш-дю-Рон под именем Луи Альфонса.

1793, июнь — Департамент Буш-дю-Рон поделен на два департамента; имя гражданина Сада, приписанного к новому департаменту Воклюз, по-прежнему фигурирует в списках эмигрантов.

23 июля — Сад становится председателем секции Пик.

Август — вычеркивает Монтреев из списков «подозрительных».

29 сентября — на церемонии, посвященной памяти «мучеников свободы», зачитывает свое «Воззвание к душам Марата и Лепелетье».

15 ноября — от имени секции гражданин Сад сочиняет петицию, в которой члены секции отрекаются от всех культов, кроме культа Разума, и зачитывает ее в Конвенте.

8 декабря — арест гражданина Сада и заключение его в тюрьму Мадлонет.

1794, январь — Сада переводят в тюрьму монастыря кармелитов, а затем в Сен-Лазар.

27 марта — «по причине болезни» Сад переведен в Пикпюс.

27 июля (8 термидора) — революционный трибунал выносит Донасьену Альфонсу Франсуа Саду смертный приговор.

15 октября — Сад свободен и покидает Пикпюс.

1795— Выходят в свет сочинения де Сада «Алина и Валькур» и «Философия в будуаре» (с подзаголовком: «Посмертное сочинение автора «Жюстины»).

1796, октябрь— Продажа Ла-Коста члену Совета старейшин Жозефу Станисласу Роверу.

1797— В свет выходят десять томов сочинения, озаглавленного «Новая Жюстина, или Злоключения добродетели, с приложением Истории Жюльетты, ее сестры». Лето — поездка де Сада в Прованс.

1799 — Тяжелые времена для де Сада: он попадает в приют, живет за счет общественной благотворительности.

13 декабря — труппа «Драматического товарищества» Версаля дает единственный спектакль по пьесе де Сада «Окстьерн, или Несчастья либертинажа».

1800 — Де Сад получает гонорар за издание драмы «Окстьерн» и сборника новелл «Преступления любви».

1801, 6 марта — Де Сад арестован как автор порнографических сочинений и заключен в тюрьму Сент-Пелажи.

1803, март — По обвинению в развращении заключенных де Сад переведен из Сент-Пелажи в Бисетр.

27 апреля — де Сад препровожден в лечебницу для душевнобольных Шарантон.

1804, май — Де Сад протестует против своего заточения и обращается в созданную при правительстве Комиссию по свободе личности.

Август — Мари-Констанс Кене получает разрешение проживать в Шарантоне вместе с де Садом.

1805 — При поддержке директора Кульмье де Сад становится организатором и режиссером театра при Шарантонской лечебнице; первые спектакли.

1807, апрель — Де Сад завершает работу над своим последним «непристойным» романом «Дни в замке Флорбель, или Разоблаченная природа».

5 июня — обыск в комнатах де Сада, конфискация бумаг и рукописей.

1808, 2 августа — Де Сад дает согласие на брак Клода Армана.

15 сентября — бракосочетание Клода Армана де Сада и Луизы-Габриэль-Лор де Сад д'Эгийер.

- 1809, 9 июня — Луи Мари де Сад погибает от рук разбойников.
- 1810, 7 июля — В Нормандии, в своем замке Эшофур, скончалась Рене-Пелажи Кордье де Монтрей, маркиза де Сад.
- 1811, начало весны — Знакомство де Сада с юной Мадлен Леклерк.
- 1812, сентябрь — Де Сад начинает работу над «героическим» романом «Аделаида Брауншвейгская».
- 1813 — Выходит в свет роман «Маркиза де Ганж»; де Сад начисто переписывает роман «Тайная история Изабеллы Баварской».
- 6 мая — указ о закрытии театра в Шарантоне.
- 1814, 22 января — Де Сад отправляет издателю рукописи романов «Изабелла Баварская» и «Аделаида Брауншвейгская».
- 1814, 2 декабря — Скончался маркиз де Сад.
- 1832, 19 июля — В возрасте 75 лет скончалась Мари-Констанс Кене.
- 1844 — В возрасте 73 лет скончалась дочь де Сада Мари-Лор.

ЛИТЕРАТУРА

СОЧИНЕНИЯ МАРКИЗА ДЕ САДА

На русском языке

Сто двадцать дней Содомы / Пер. с фр. М.: Живое слово, 1993.

Письма вечного узника / Пер. с фр. А. Боченкова. М.: ЭКСМО, 2005.

Маркиза де Ганж/ Пер. с фр. Е. Морозовой. СПб.: Азбука-Классика, 2006.

Преступления любви / Пер. с фр. Е. Морозовой, А. Царькова. М.: Панорама, 1995.

Насмешка судьбы / Пер. с фр. Е. Морозовой, Е. Храмова, М. Попович. СПб.: Азбука-Классика, 2001.

Философия в будуаре/Пер. с фр. И. Карабутенко. М.: МП «Проминформ», 1992.

Жюльетта. В 2 т. / Пер. с фр. А. Новиковой, В. Новикова. М.: НИК, 1992.

Жюстина, или Несчастливая судьба добродетели / Пер. с фр. А. Царькова, С. Прохоренко. М.: Интербук, 1991.

Алина и Валькур / Пер. с фр. А. Панибратцева. М.: Арт-Бизнес-Центр, 2000.

На французском языке

Papiers de famille. En 2 vol. / Ed. M. Lever. P., Fayard. T.I: Le regne du père (1721-1760); 1993. T. II: Le marquis et les siens (1761-1815); 1995.

Sade D. A. F., marquis de. Oeuvres complètes. En 8 vol. P., Cercle du livre précieux, 1966—1967.

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Альмера. Маркиз де Сад. Биограф. /Пер. с фр. М.: Молодежный центр АПН, 1991.

Бабенко В. Г. Прекрасный полоумный маркиз Донасьен де Сад. М.: Арт-Бизнес-Центр, 1996.

Бретон, Ретиф де ла. Анти-Жюстина / Пер. с фр. А. Коровниченко. М.: Мистер Икс, 1994.

Ерофеев В. В. Метаморфоза одной литературной репутации: Маркиз де Сад, садизм и XX век // Вопросы литературы. 1973. № 6.

Загурская Н. Эпистола из камеры vs. Философии в будуаре. В кн.: Сад Д. А. Ф. де, маркиз. Письма вечного узника. М.: ЭКСМО, 2005.

Левер М. Маркиз де Сад. Ил., Биогр. / Пер. с фр. Е. Морозовой. М.: Лацомир, 2006.

Максимов В. Между рококо и романтизмом: По ту сторону добра и зла // Сад Д. А. Ф. де, маркиз. Насмешка судьбы. СПб.: Азбука-Классика, 2001.

Маркиз де Сад и XX век: Сборник Пер, с фр. Сост., вступ. ст. и коммент. М. Рыклина. М.: РИК «Культура», 1992.

Мерсье Л. С. Картины Парижа/ Пер. с фр. М.: Прогресс-Академия, 1995.

Томас Д. Маркиз де Сад: Ил. Биогр. / Пер. с фр. А. Васильковой. М.: Крон-Пресс, 1998.

Энафф М. Маркиз де Сад: Изобретение тела либертена / Пер. с фр. Н. Мовниной. СПб.: Издательский Центр «Гуманитарная Академия», 2005.

НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Apollinaire G. L'Oeuvre du marquis de Sade. P.: Bibliotheque des curieux, 1909.

Barthes R. Sade, Fourier, Loyola. P.: Seuil, 1971.

Blanchot M. Lautreamont et Sade. P.: Minuit, 1963.

Fauville H. La Coste, Sade et Provence. Aix-en-Provence: Edisud, 1984.

Heine M. Le Marquis de Sade. P.: Gallimard, 1950.

Laborde A. Les infortunes du marquis de Sade. P.: Champion, 1990.

Laborde A. Sade romancier. Neuchatel: A la Baconniere, 1974.

Laugaa-Traut, F. Lectures de Sade. P.: Aimand Colin, 1973.

Le Brun A. Sade, aller et détours. P.: Plon, 1989.

Le Brun A. Soudain un bloc d'abymes, Sade. P.: Pauvert, 1986.

Didier B. Sade: une ecriture du désir. P.: Denoel/Gonthier, 1976

Klossowski P. Sade mon prochain. P.: Seuil, 1947.

Leiy G. Vie du marquis de Sade avec un examen de ses ouvrages. P.: Gallimard, 1952-1957.

Lever M. Les Buchers de Sodome. P.: Fayard, 1985.

Pauvert J.-J. Sade vivant: En 3 vol. P., Robert LarTont. T, 1: Une innocence sauvage. 1740—1777. 1986. T. II: «Tout ce qu'on peut concevoir dans ce genre-là..». 1777—1793; 1989. T. Ill: Cét ecrivain à jamais célèbre... 1793-1814;

1990.

Roger Ph. Sade. La Philosophic dans le pressoir. P.:Grasset, 1976.

Sade: Ecrire la crise. /Ed. M. Camus, Ph. Roger. P.: Belfond, 1983.

Sade//Revue «Europe». 1972. Octobre.

Soller Ph. Sade contre l'être supreme precedé de Sade dans le temps. P.: Gallimard, 1996,

Thomas Ch. Sade. P.: Payot, 1978; La Reine scelerate. P.: Editions du Seuil, 1989.

ИЛЮСТРАЦИИ



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long, sweeping tail, characteristic of the 18th-century French aristocracy.

Донасьен Альфонс Франсуа де Сад в возрасте 17 лет. Единственный сохранившийся прижизненный портрет работы Ван Лоо.



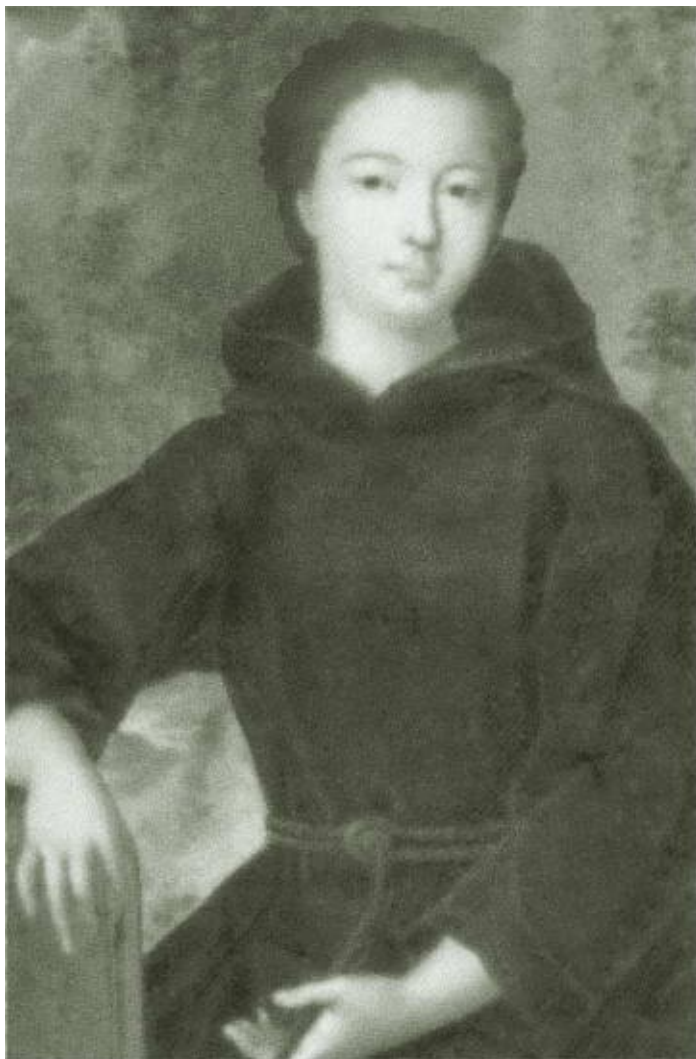
Жан Батист Франсуа Жозеф де Сад, отец маркиза. Портрет работы Ж.-М. Наттье.



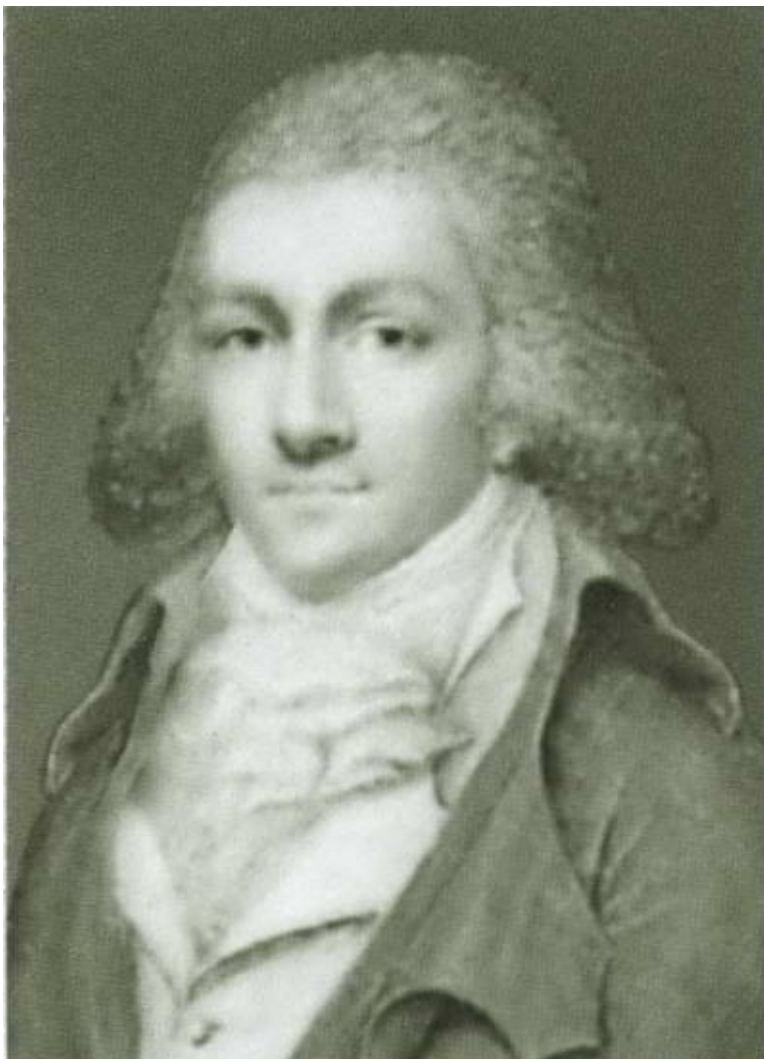
Мари-Элеонор де Майе де Карман, мать маркиза. Неизвестный художник. XVIII в.



Лор де Нов, она же Лаура, прославленная Петраркой. Неизвестный художник.



Луиза-Анн де Бурбон, прозываемая мадемуазель де Шаролэ. Портрет, приписываемый Наттье.



Луи Мари де Сад. Миниатюра неизвестного художника.



Луи Анри де Бурбон, 7-й принц Конде. Портрет, приписываемый Фрагонару.



Принцесса Каролина-Шарлотта фон Гессен-Райнфельдская. Портрет работы Ж. М. Рыбу.



Замок Конде в Шантийи. Современный вид.



Двор Конде в Конде-ан-Бри, где в 1814—1983 годах проживали потомки маркиза де Сада.



Авиньон. Фасад особняка Вильнёв-Мартиньян, принадлежавшего тетушке маркиза. В настоящее время здесь расположен музей Кальве.



Замок Соман.



Развалины Ла-Коста, любимого замка маркиза.



Дом в Мазане. В настоящее время в нем расположен отель.



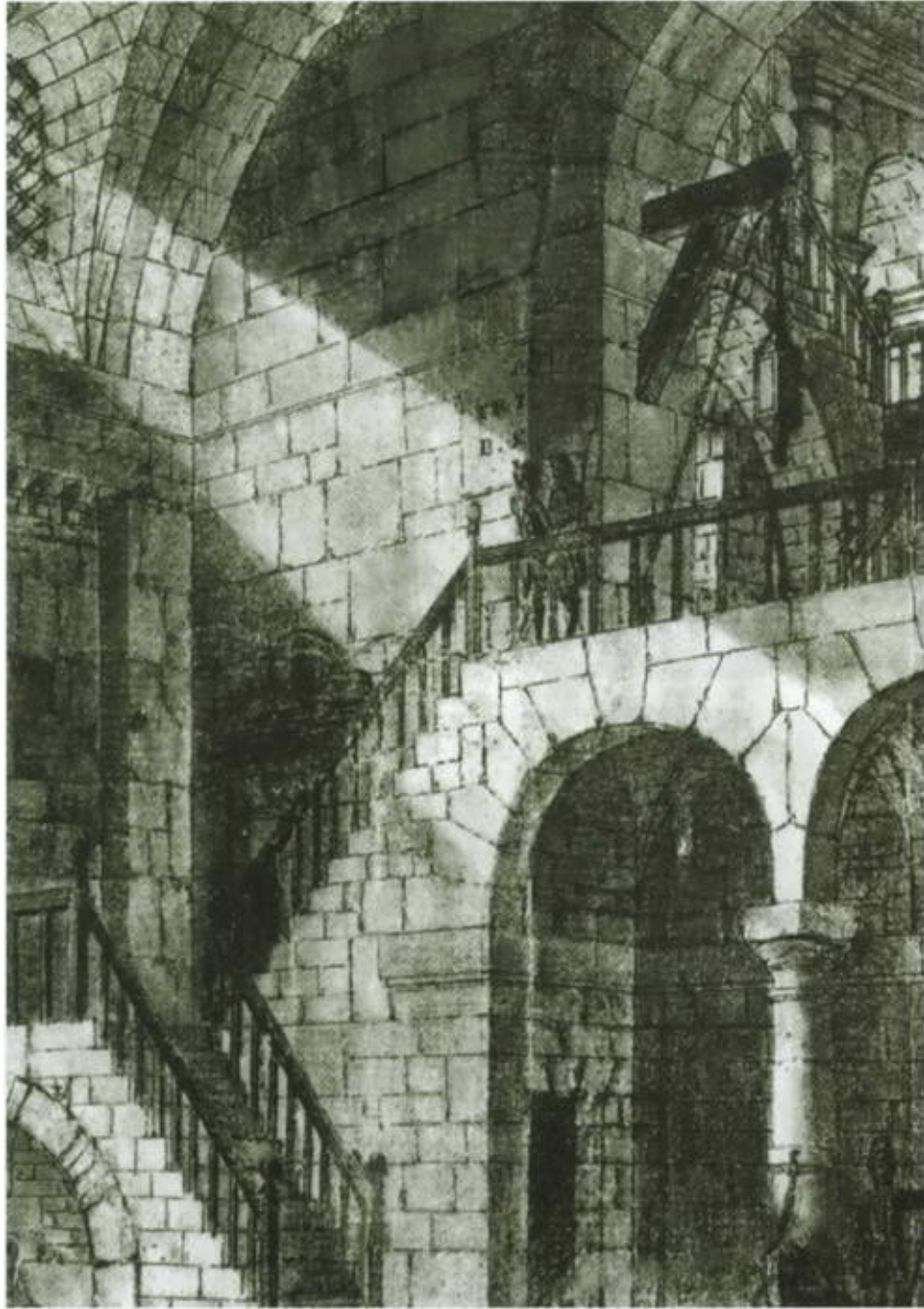
Гостиница в деревне Валигьер, в которой останавливался де Сад со своими тюремщиками по дороге из Экса в Париж. Современный вид.



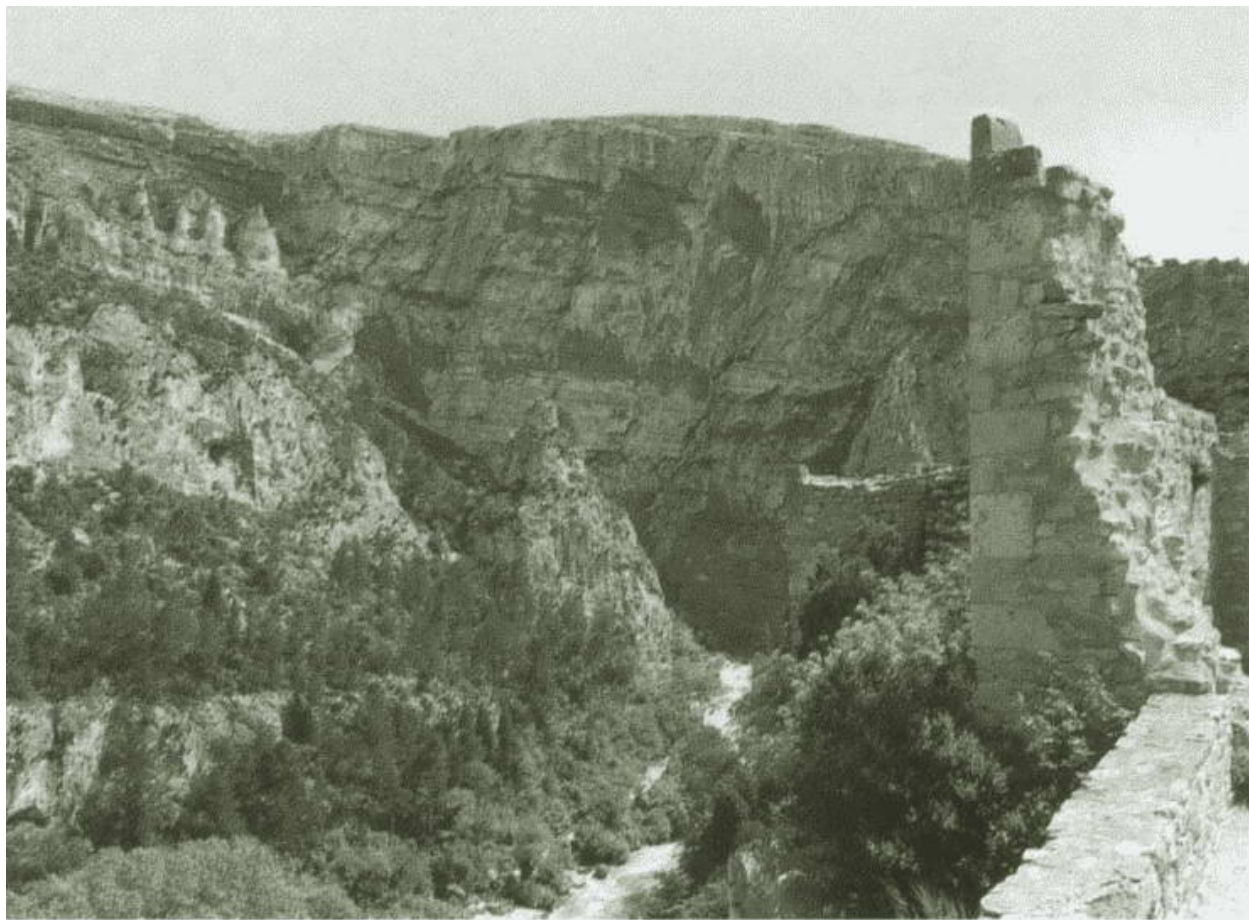
Крепость Пьер-Анлиз в 1789 году.



Донжон Венсенского замка. Отмечено окно камеры, в которой был заключен де Сад.



Бастилия в XVIII веке. Интерьер.



Воклюз. Водопад, подле которого Петрарка сочинял свои знаменитые сонеты.



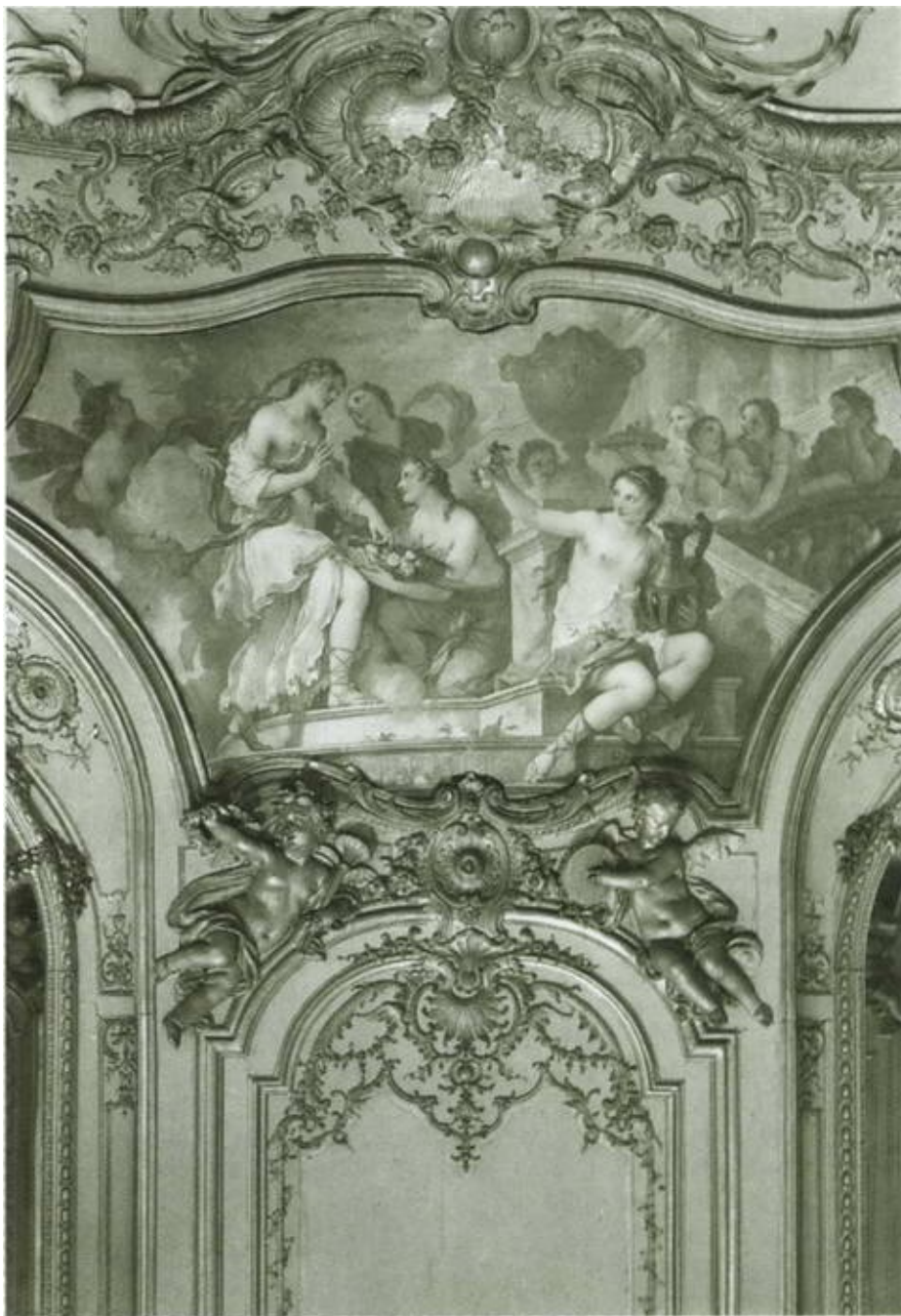
Вид площади Людовика XV в 1775 году. В настоящее время площадь Согласия.



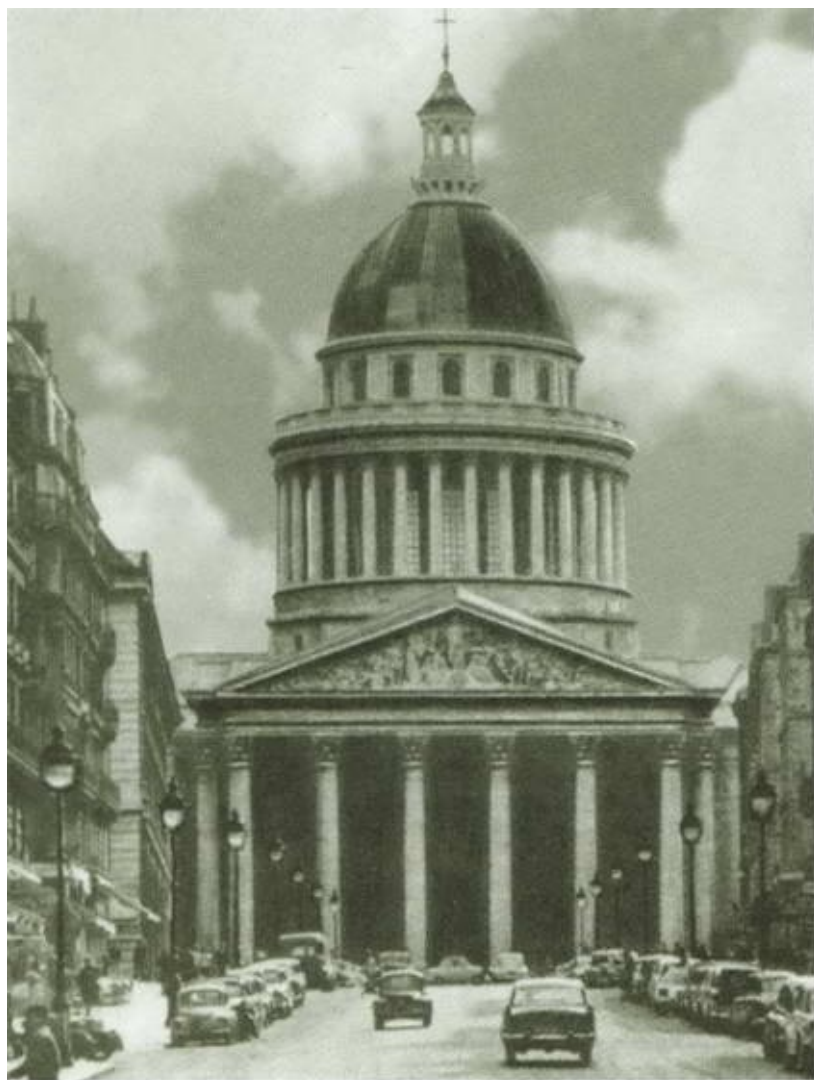
Теруань де Мерикур



Дом XVIII века на улице Булуар. На этой улице в 1790 году де Сад жил в одной гостинице с Теруань де Мерикур.



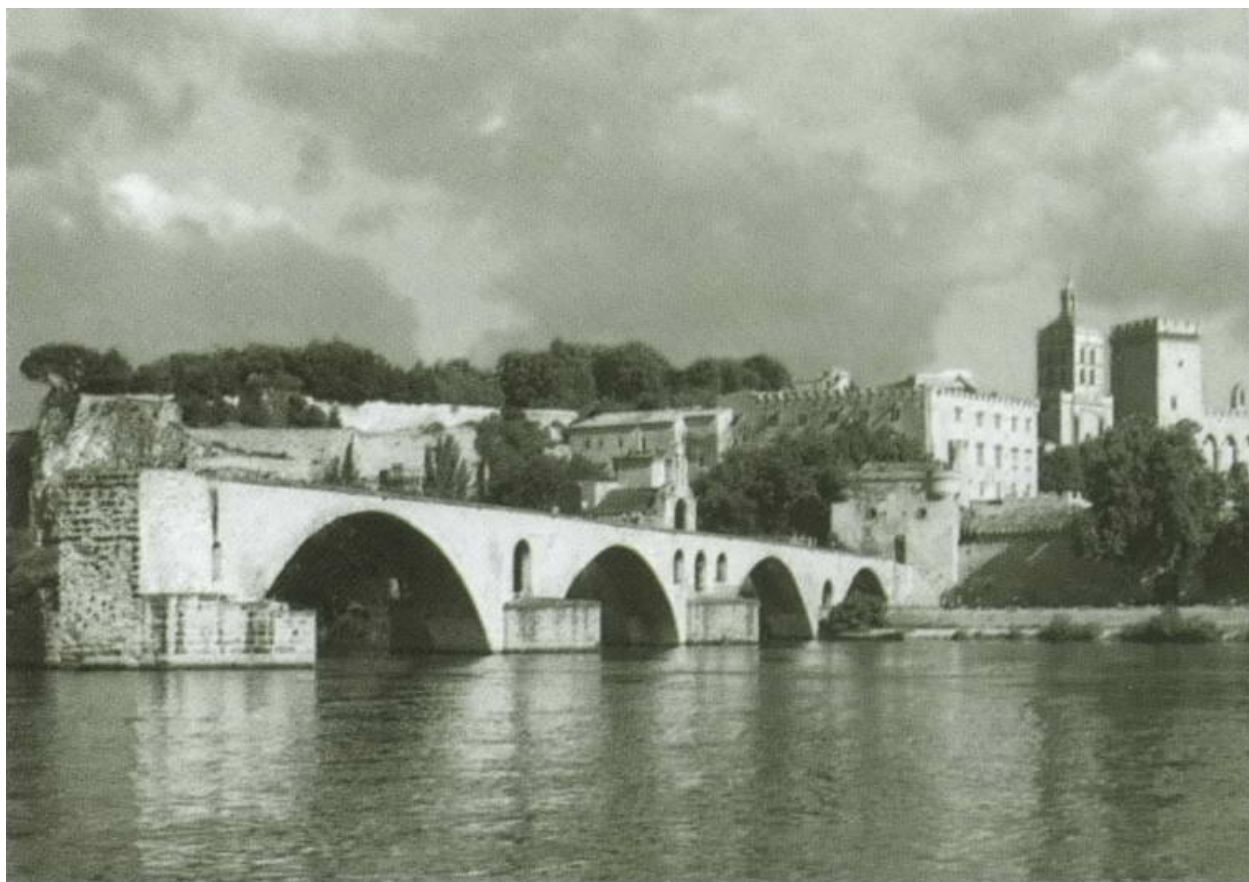
Галантный сюжет. Плафон овального салона особняка Субизов. XVIII в.



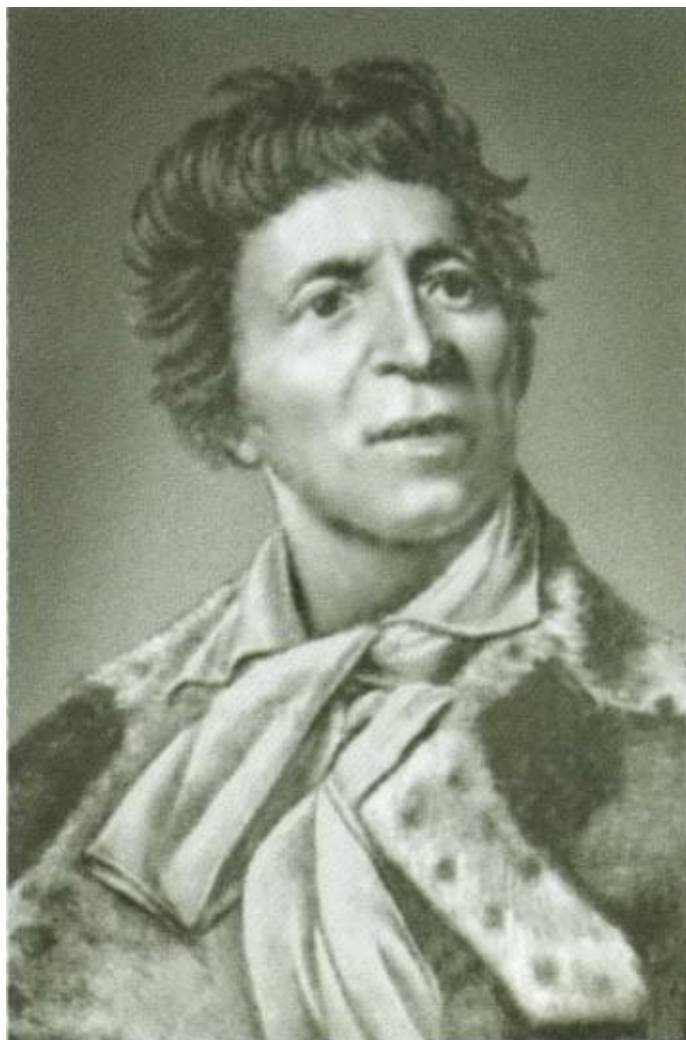
*Пантеон (бывший собор святой Женеьевы), ставший усыпальницей великих людей Франции.
Современный вид.*



Заснеженные Альпы, отделяющие Францию от Италии. Рисунок начала XIX в.



Знаменитый Авиньонский мост. В 1177 году авиньонский висконт Луи де Сад начал финансировать его строительство, а в 1355 году Юг де Сад завещал на ремонт моста две тысячи золотых флоринов.



Жан Поль Марат.



Граф Оноре Габриэль Рикеттиде Мирабо.



Замок Мадрид. XVIII в.



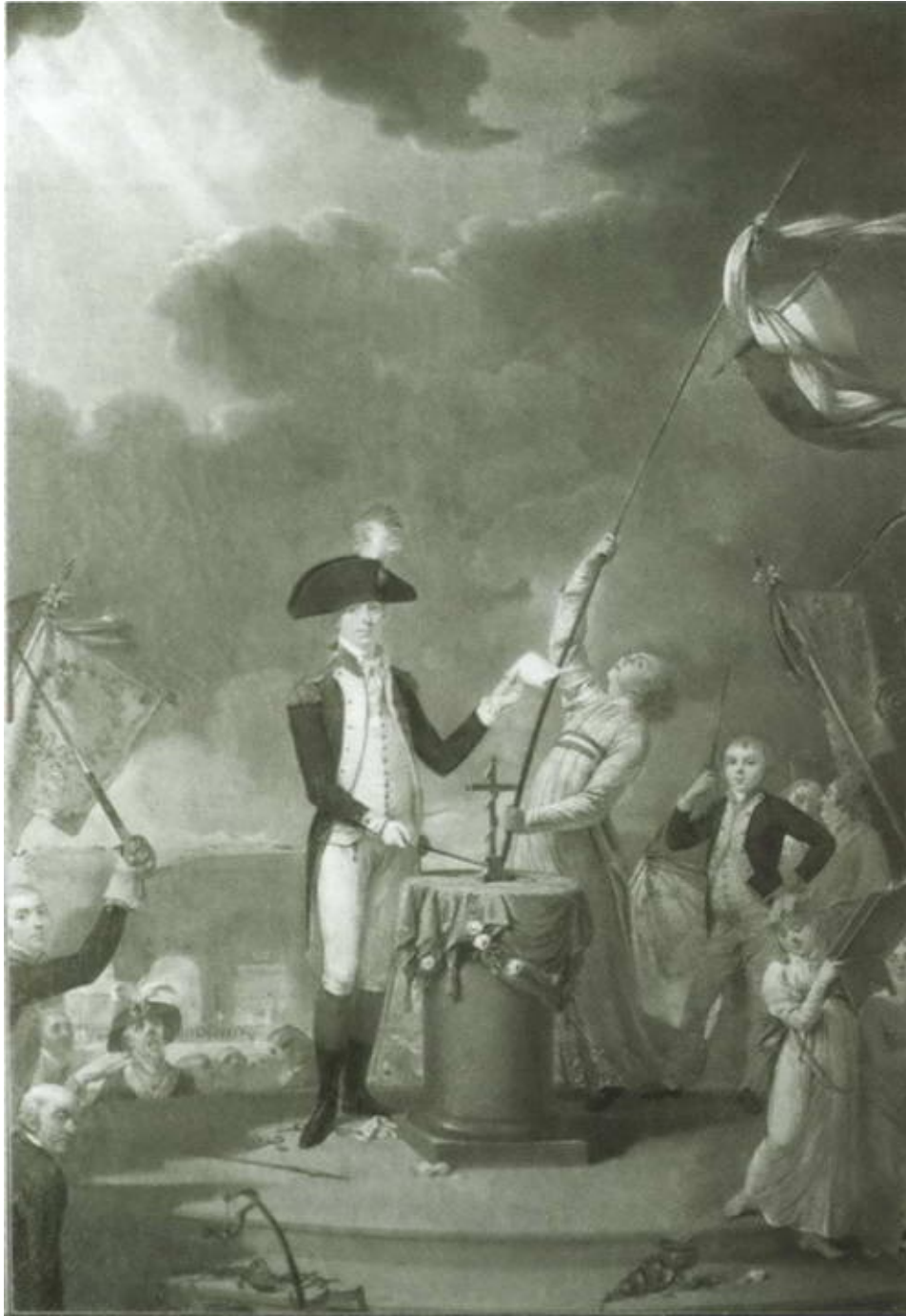
Максимилиан Робеспьер.



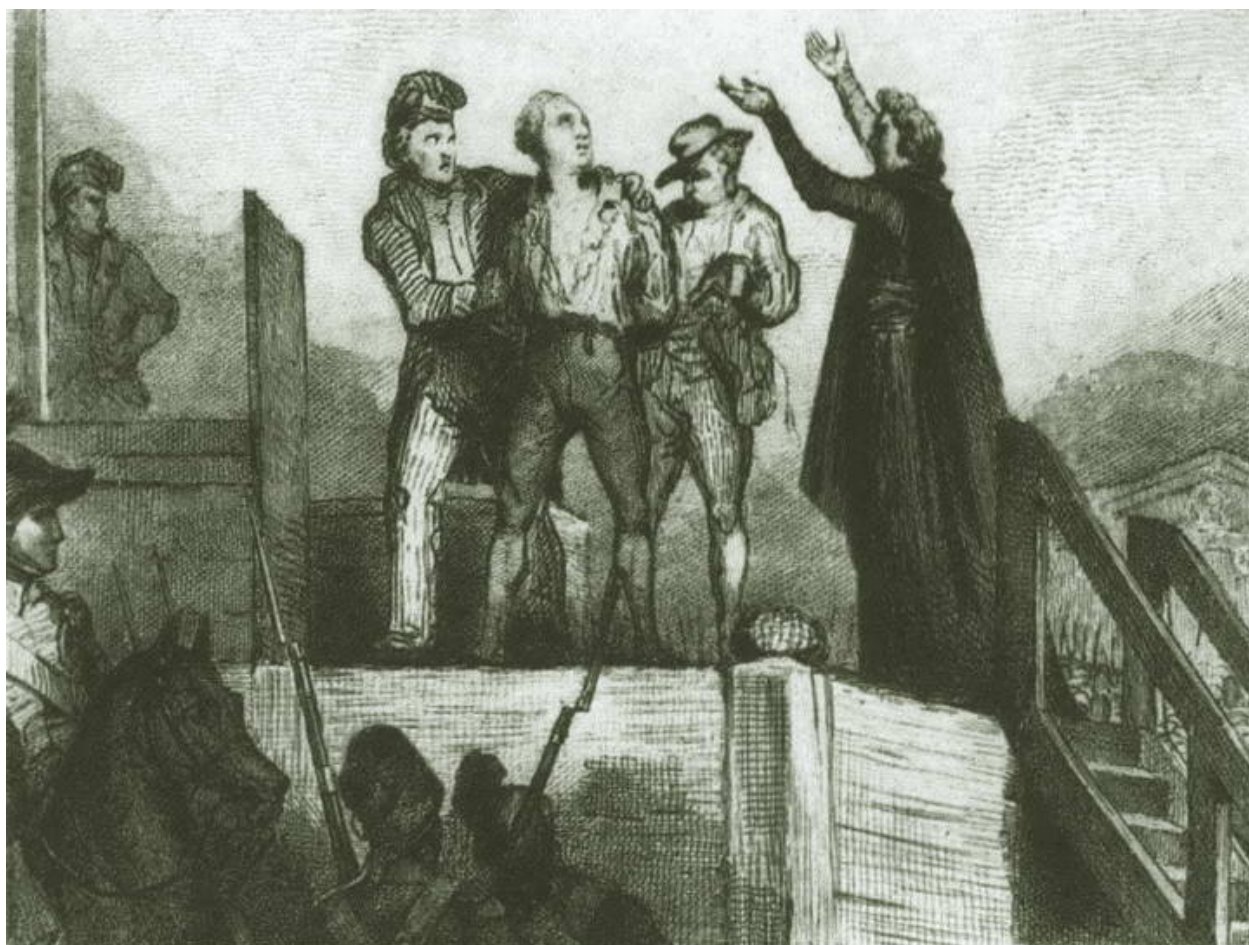
Луи Мишель Лепелетье де Сен-Фаржо.



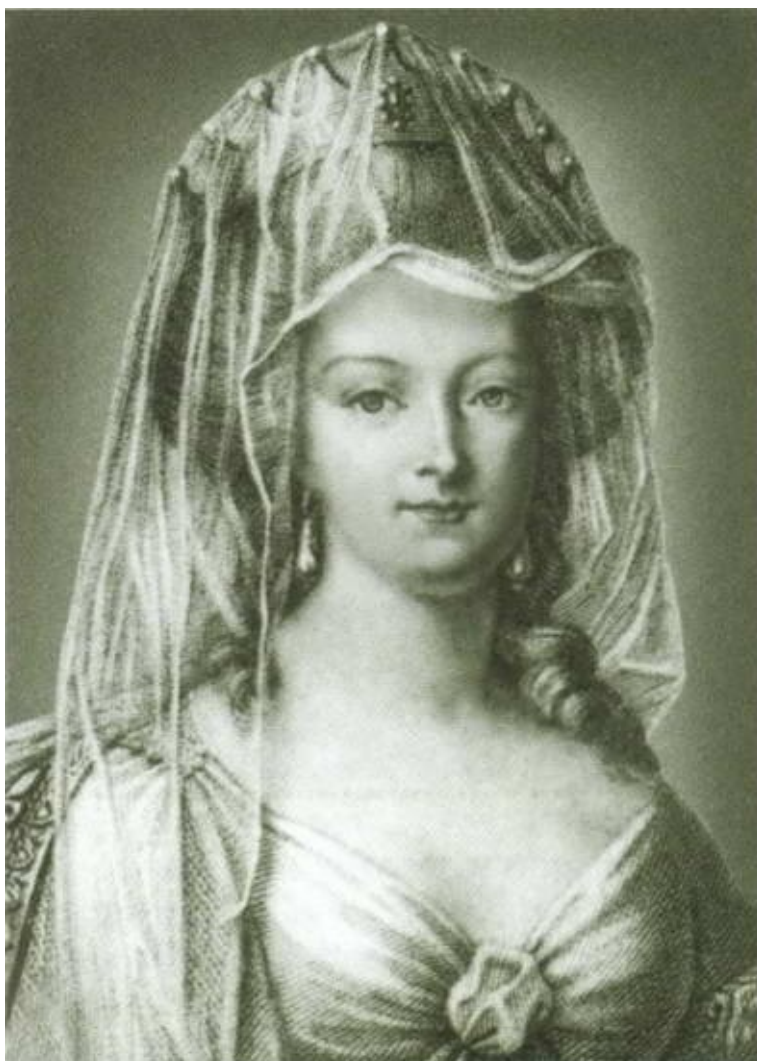
Любопытная. Художник Ж. Рау. XVIII в.



*Генерал Лафайет приносит присягу во время праздника Федерации на Марсовом поле.
Неизвестный художник. XVIII в.*



Людовик XVI на эшафоте (21 января 1793 года).



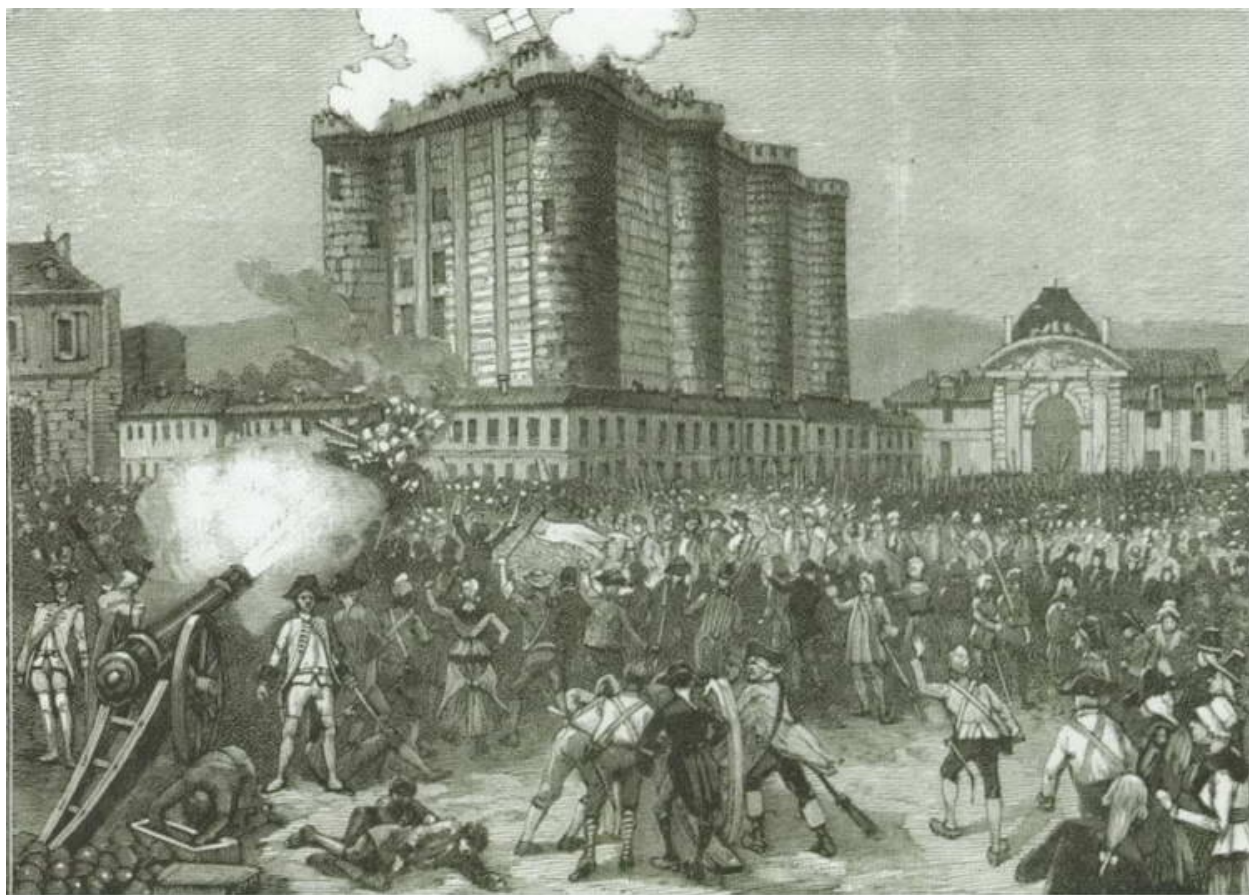
Мария-Антуанетта, королева Франции.



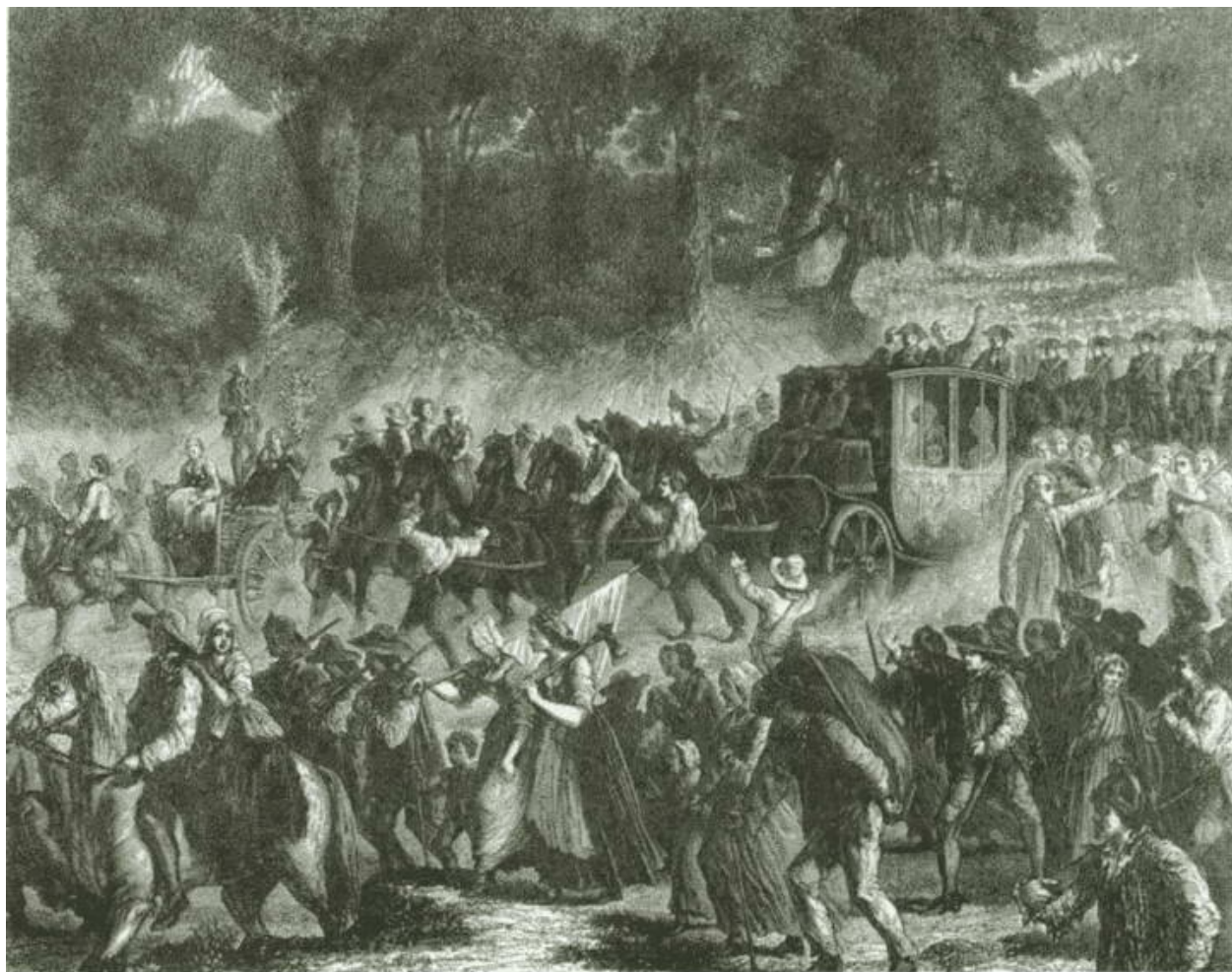
9 термидора. Последние жертвы Террора.



Заседание тюремного трибунала (сентябрь 1792 года). Рисунок Лесюера.



Взятие Бастилии.



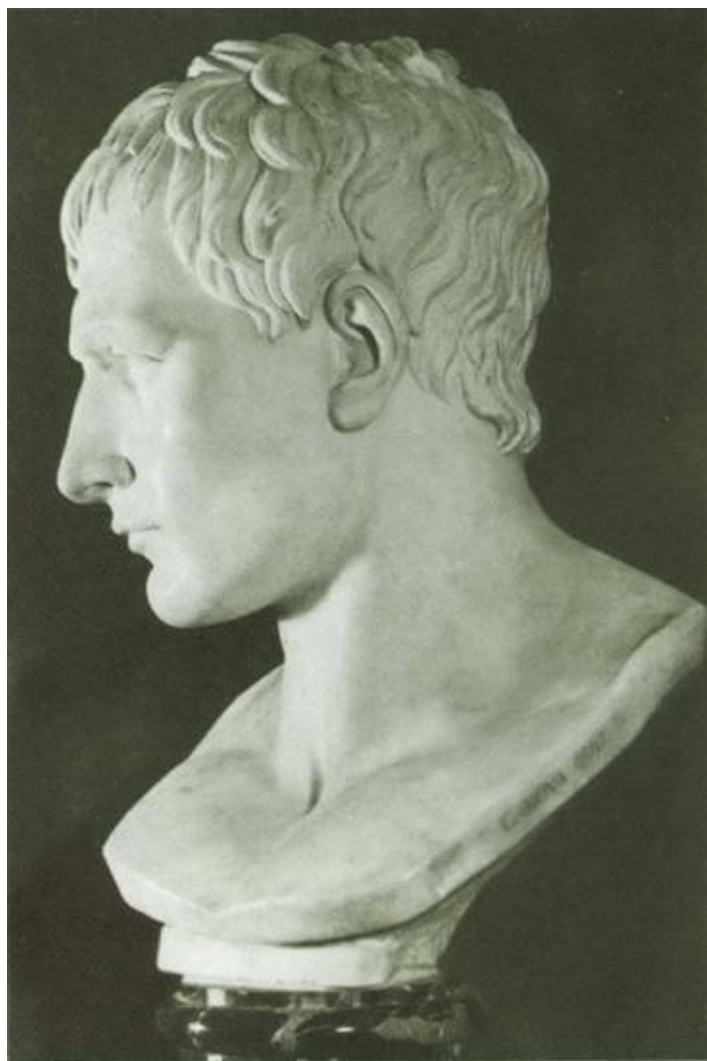
Возвращение королевской семьи в Париж.



Праздник Федерации на Марсовом поле.



Праздник Верховного Существа на Марсовом поле.



Наполеон Бонапарт. Бюст работы Кановы.



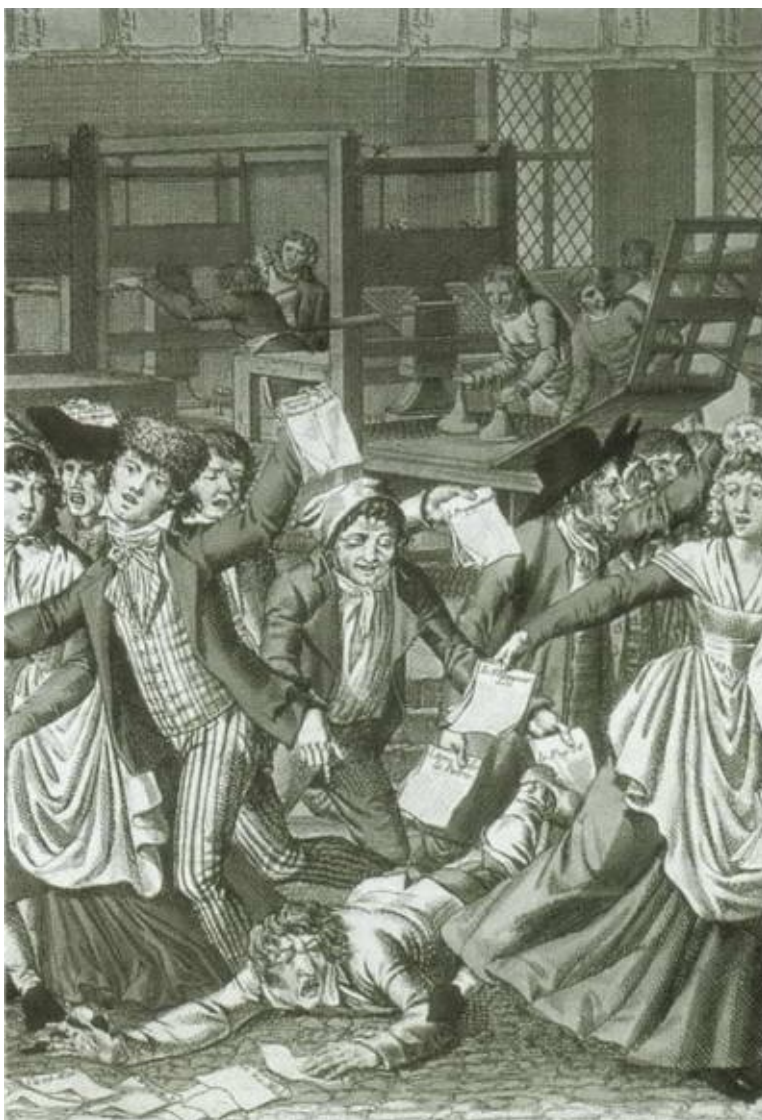
Прогулка в садах Пале-Рояля.



Памятник на месте рва в монастырском саду, где закапывали тела гильотинированных на площади Поверженного Трона. Современный вид.



Монастырь Пиктюс в XVIII веке.



Свобода прессы. Гравюра XVIII в.



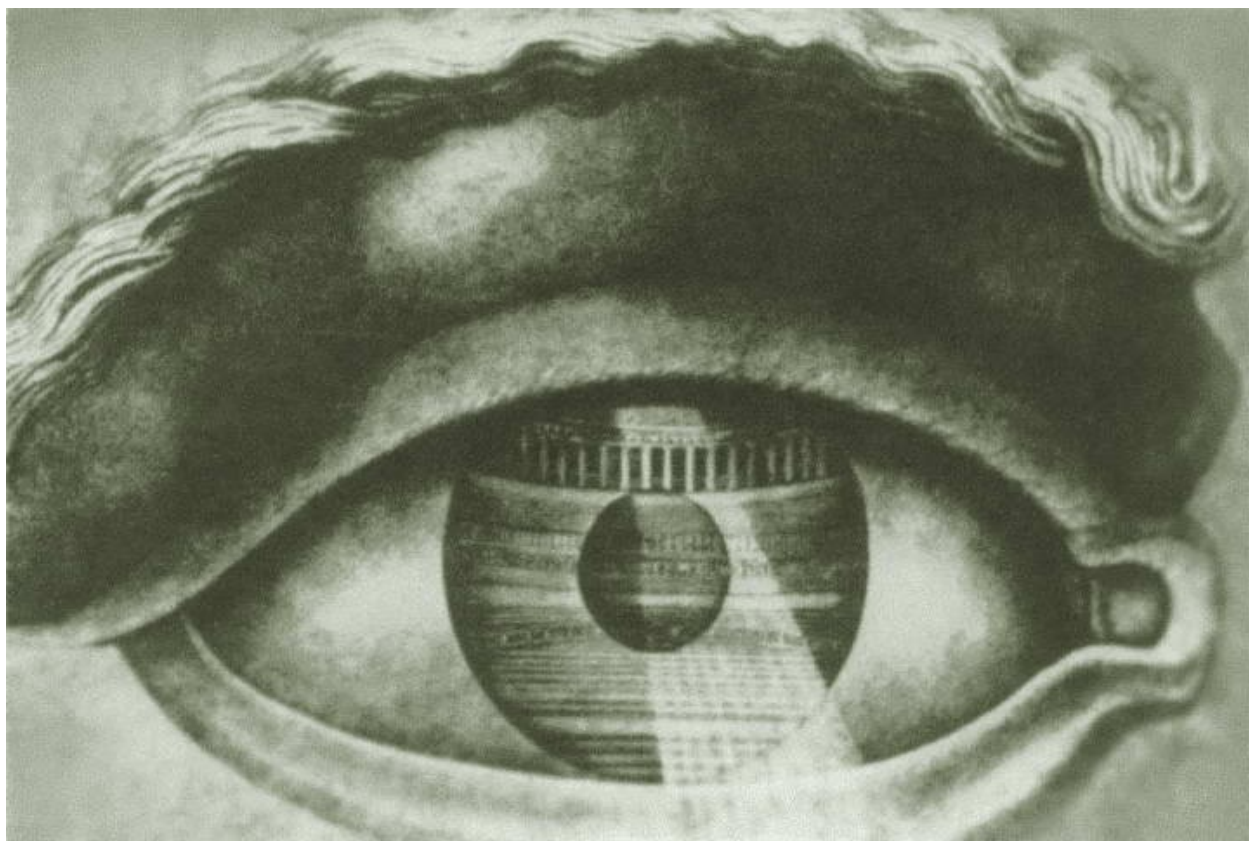
Присяга Республіке. Рисунок Лесюера.



Извержение Везувия в 1779 году. Художник Ж.-А. Волер.



Гильотина. Метафора пристрастий маркиза.



Символическое изображение театрального зала, вписанного в человеческий глаз. Рисунок К.-И. Леду.

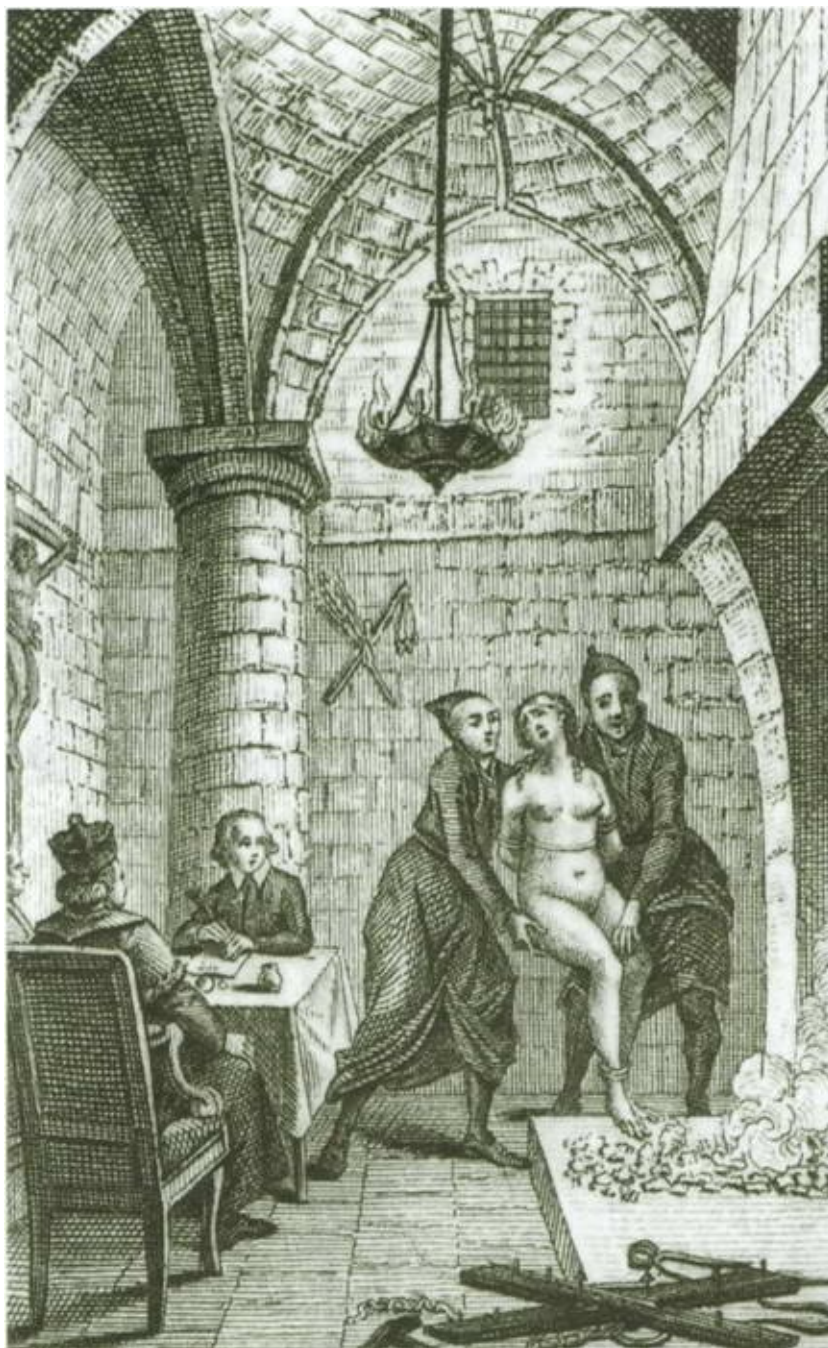


Иллюстрация к роману «Алина и Валькур». 1795 г.



Иллюстрация к роману «Новая Жюстина». 1797 г.



Садический сюжет.



Иллюстрация к роману «История Жюльетты». 1797 г.



Иллюстрация к роману «Алина и Валькур». 1795 г.

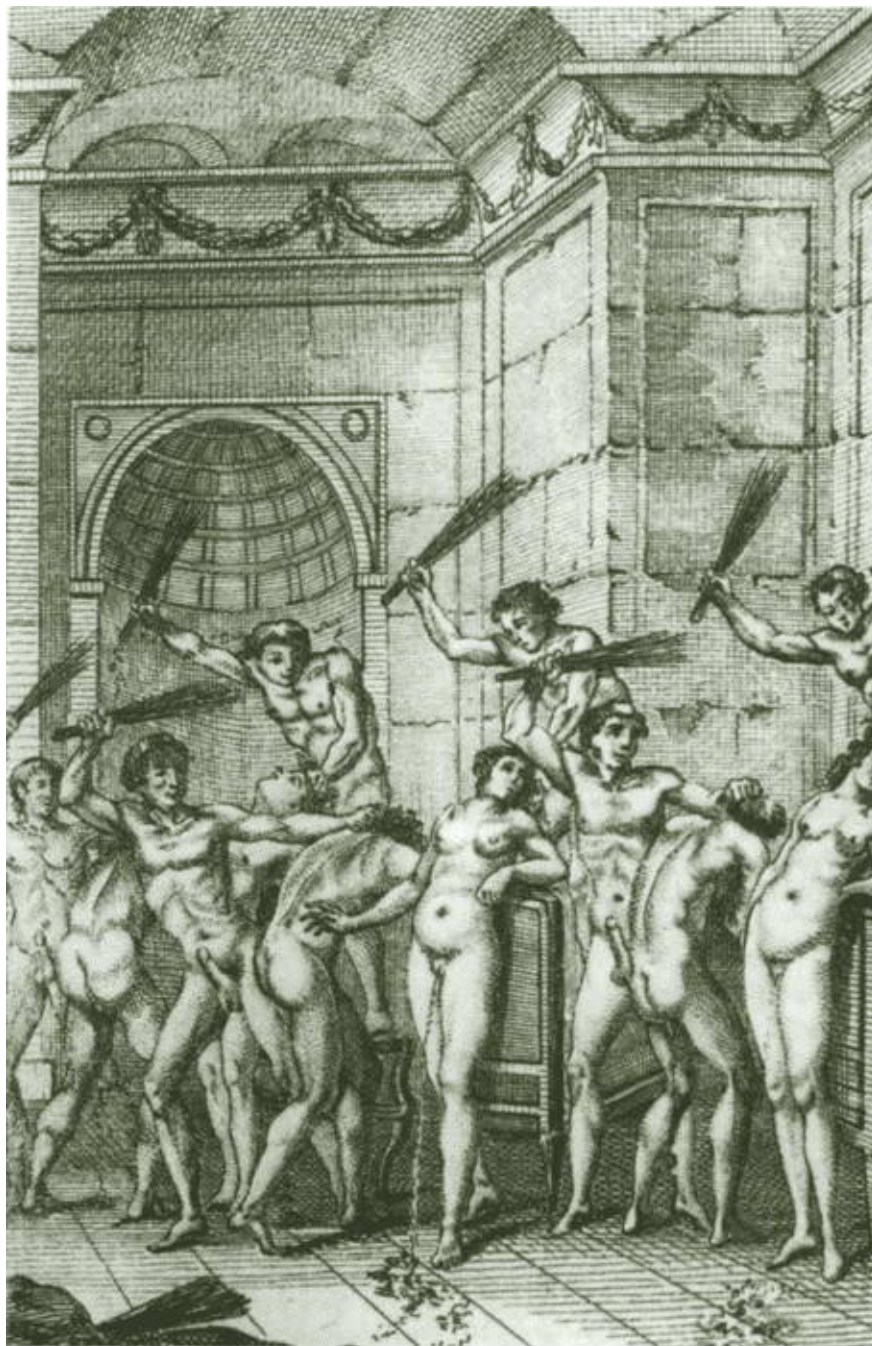
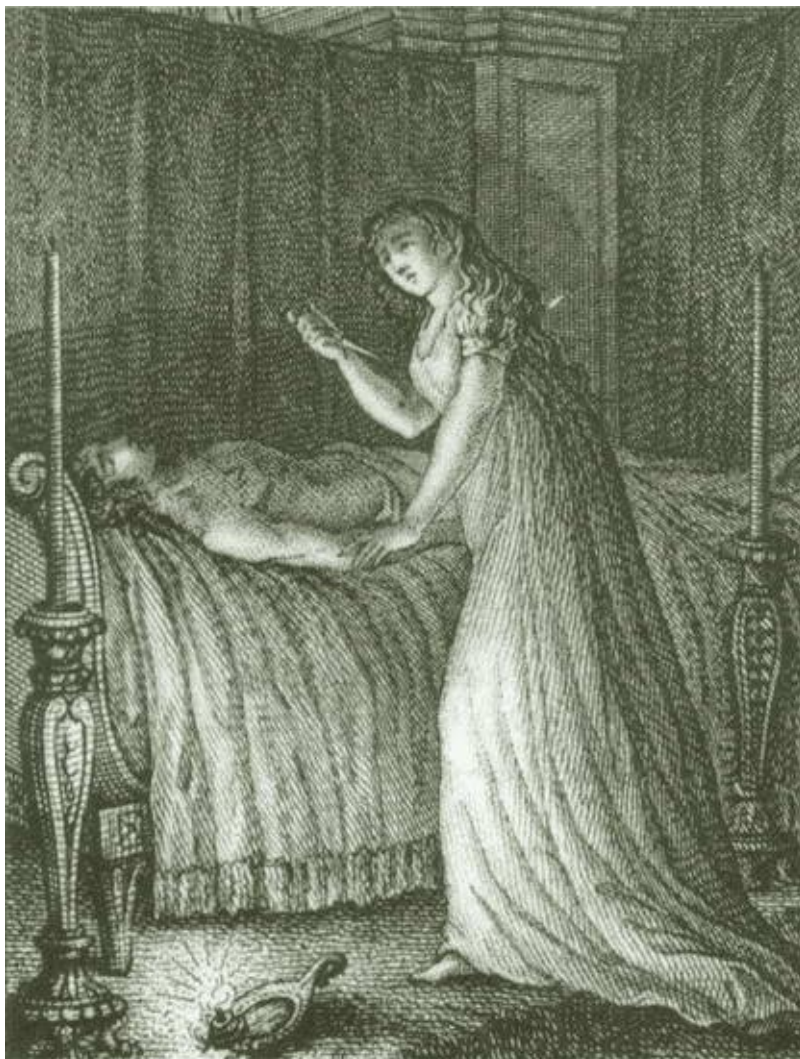
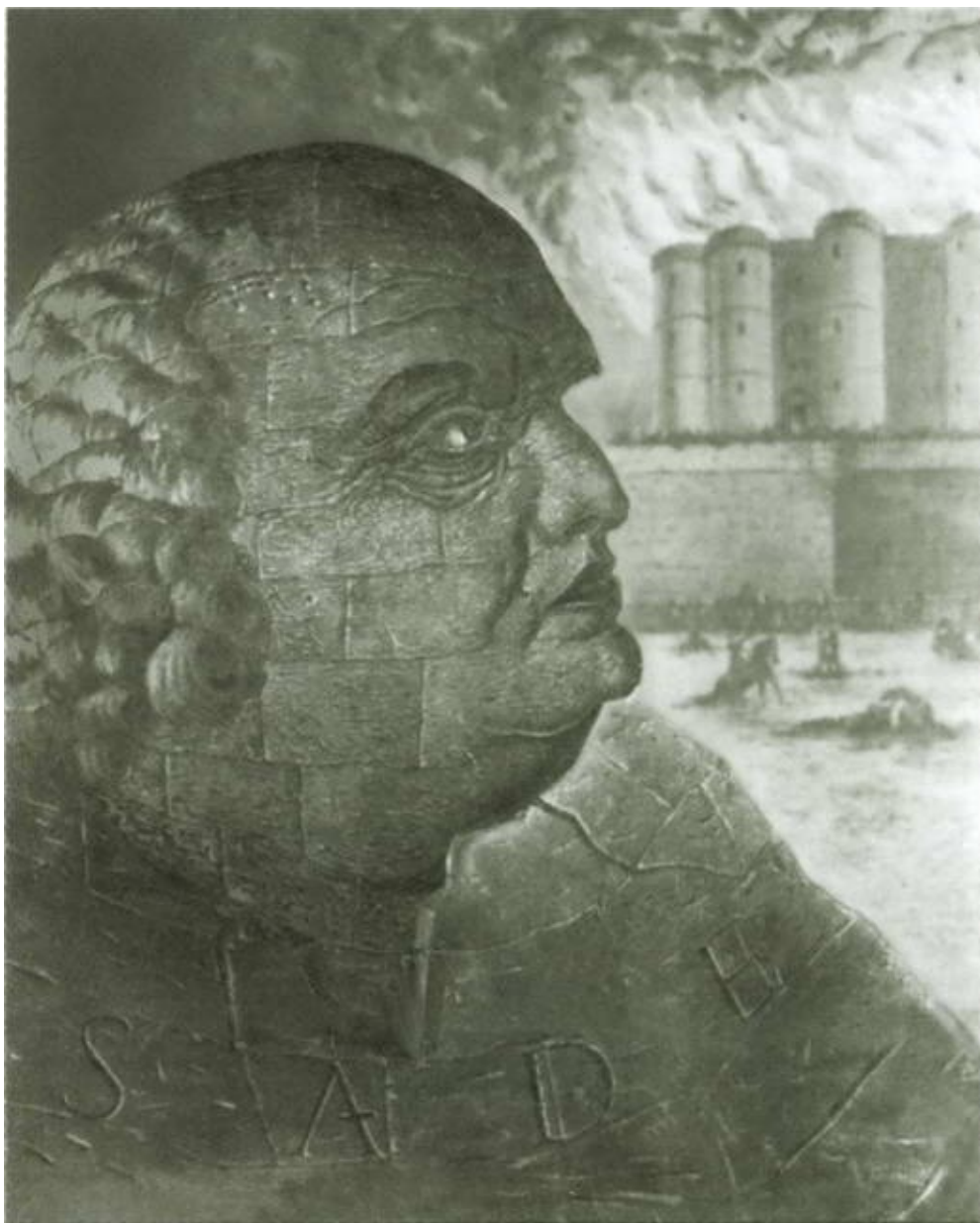


Иллюстрация к роману «Новая Жюстина». 1797 г.

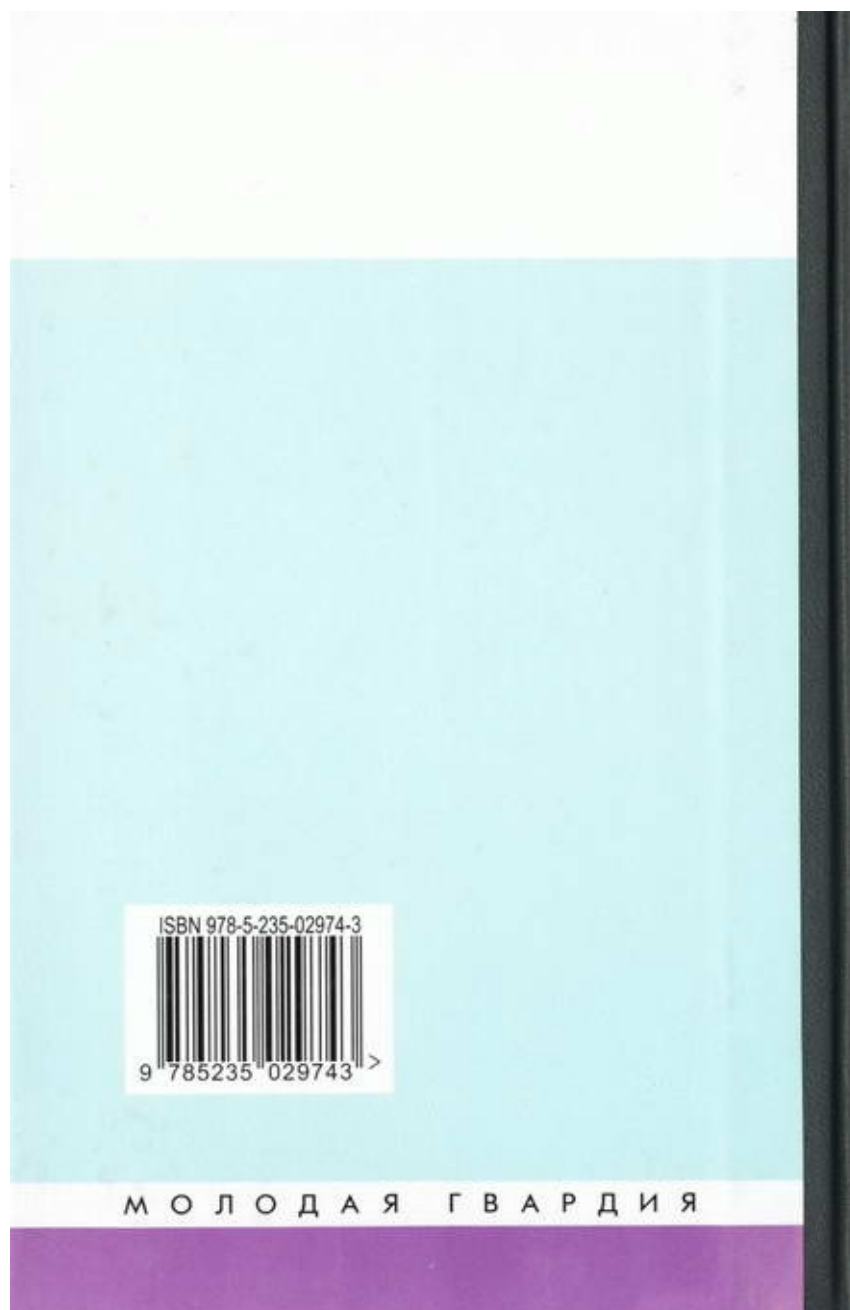




Иллюстрации к новеллам из сборника «Преступления любви». 1800 г.



Портрет де Сада, созданный Мэн Реем. 1938 г.



notes

Примечания

Старый порядок — так во французской историографии называют период с XVI в. и до Французской революции 1789 г.

Итальянское имя Лаура (*Laura*) по-французски звучит как Лор (*Laure*).

Регент Филипп Орлеанский правил Францией с 1715 по 1723 г.

Анн-Проспер носила фамилию деда с отцовской стороны — Жака Рене Кордье де Лонэ.

Основанная в XII в. лионским купцом Пьером Вальдом секта вальденсов проповедовала добровольную бедность.

1 марта 1562 г. в местечке Васси, неподалеку от Жуанвиля, солдаты герцога Гиза разогнали происходившее в амбаре собрание протестантов.

От греч. *κόπρος* — помет, кал и *φάγος* — пожирать.

Гильем IX, герцог Аквитанский, седьмой граф де Пуатье (1071— 1126) вошел в историю литературы как первый трубадур.

Картерон (имел прозвища Юность и Мартен Кирос) скончался 24 мая 1785 г. после тяжелой болезни.

Один машинописный лист был приравнен к 1500 знакам, включая пробелы.

«Заговором в Амбуазе» именуют вооруженное выступление дворян-протестантов в 1560 году, вызванное политикой гонений на их единоверцев, проводимой братьями де Гизами, узурпировавшими власть при малолетнем короле Франциске П. Заговорщики были схвачены и казнены.

Отвратительный, гнусный, недостойный (*фр.*). «Ecrasons l'infâme» (раздавим гадину), — говорил Вольтер о нетерпимости и суеверии.

В «Аду», как назывался спецхран Французской Национальной библиотеки, наряду с сочинениями де Сада хранились порнографические романы и Ретифа де ла Бретона, и Мирабо.

Перевод О. Воздвиженской.